



Журнал
Редактор Евгений Беркович

СЕМЬ
ИСКУССТВ

Наука

Культура

Словесность

2/2013

Журнал
«Семь искусств»

Февраль 2013

Редактор и составитель
Евгений Беркович

Художник Дорота Белас

2013

Журнал

«Семь искусств»

Февраль 2013

© Евгений Беркович (составление и редактирование)

© Дорота Белас (оформление)

Компьютерная вёрстка и техническое редактирование
Изабеллы Побединой

Ганновер

Издательство «Общества любителей еврейской старины»

Содержание

Моисей Каганов	
Эпизоды из жизни физика-теоретика.....	5
Игорь Чубаров	
В.Н.Латышев	33
Елена Матусевич	
Источники петровской утопии	48
Игорь Ефимов	
Опять о Пушкине	62
Эстер Пастернак	
«Как в наполненный музыкой дом...»	67
Борис Тененбаум	
Последние 292 дня Тысячелетнего Рейха.....	74
Семён Талейник	
Парусник с именем ведьмы.....	97
Александра Куликова	
Российская Неделя Искусств	108
Лев Мадорский, Анатолий Зак	
Удивительные истории о музыке	115
Светлана Богданова	
Интервью с Оскаром Борисовичем Фельцманом	129
Артур Штильман	
Н.В.Подгорный в Большом театре	136
Надежда Кожевникова	
Коллекционеры	146
Тимур Раджабов	
Охалка света	153
Лариса Миллер	
«Стихи гуськом»	161
Лорина Дымова	
Что нас заставляет?.....	183
Игорь Гельбах	
Мастерская.....	185
Евгений Брейдо	
Тихий Институт	208
Борис Суслович	
Инфаркт	238

Зоя Мастер	
Лекарство от мигрени.....	241
Эзра Бускис	
Отрывки из книги “Лучше, чем когда-либо”	255
Конрад Берковичи	
Прибыльная поэзия. Перевод и предисловие Марка Авербуха.....	267
Франсуаза Саган	
Два рассказа. Перевод Эдуарда Шехтмана.....	278
Илья Корман	
«Маленький лорд» – версия XX века.....	291
Михаил Юдсон	
Раздвоение лика. Ури Шахар. Мессианский квадрат	310
Соломон Воложин	
Почему я прав.....	315
Ася Лapidус	
Возле казармы в свете фонаря.....	330
Виктор Гопман	
На крайнем Западе Европы	337
Об авторах	352

Моисей Каганов

Эпизоды из жизни физика-теоретика

Главы из книги*

Памяти Элочки



этой книжке – научная автобиография Моисея Исааковича Каганова, доктора физико-математических наук, профессора – физика-теоретика. М.И. Каганов – ученик академика Ильи Михайловича Лифшица. 21 год Моисей Исаакович работал в Харькове: в Физико-техническом институте АН УССР и в Харьковском государственном университете, а 24 года – в Москве: в Институте физических проблем им. П.Л. Капицы РАН и в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. Работы М.И. Каганова посвящены, главным образом, теории конденсированного состояния вещества.

Предисловие ко второму изданию

После окончания университета прошло более шестидесяти лет. Уже семнадцать лет я пенсионер. В первые пенсионные годы продолжал работать. Даже придумал формулу: “Работаю, но не служу”. Написал несколько обзоров, научно-популярных статей, даже учебник по физике твёрдого тела (совместно с проф. Эберхардом Егером). Он вышел в 2000 году в Германии в издательстве Harry Deutch. Время шло. Постепенно перешёл к воспоминаниям. Вспоминал свою жизнь, вспоминал родителей, описывал условия жизни в Советском Союзе. Моя научная и преподавательская деятельность служит как бы фоном. Но была она не только фоном. То, чем я занимался и что, стоит отметить, давало мне возможность безбедно (по советским

* Книгу М.И. Каганова "Эпизоды из жизни физика теоретика" можно приобрести в интернет магазине, для чего следует обратиться по адресу: <http://www.lulu.com/shop/moisey-kaganov/epizody/paperback/product-20279518.html>

меркам) существовать, всегда было одной из важных составляющих моей жизни. Я любил свою работу. Не был фанатом. Научная работа не застилала мне Божий свет, но не представляю себя без теоретической физики: без решения теорфизических задач, без чтения лекций, посещения семинаров и конференций, общения со студентами, аспирантами и значительно более опытными коллегами, которых, даже если они были моложе меня (а такое бывало нередко), воспринимал как учителей. Понимаю, что моя жизнь могла сложиться иначе. Я выбрал то, что сейчас, при подведении итогов, считаю своим призванием. Иногда выбор был сознательным, иногда совершался волею судьбы. Уверен, сложись моя жизнь иначе, я был бы не я. Каким: хуже, лучше, успешней? Понятия не имею. Не могу представить себе себя кем-то другим.

Наконец, главное признание: я доволен своей судьбой.

45 лет официальной трудовой деятельности делятся на две приблизительно равные части: 21 год я работал в УФТИ и преподавал в Харьковском университете, а 24 года работал в ИФП и преподавал в Московском университете. К моменту переезда в Москву был уже сравнительно давно доктором физико-математических наук и профессором. И в Харькове, и в Москве всегда имел учеников: под моим руководством студенты защищали дипломные работы, а аспиранты – кандидатские диссертации. Сколько человек имею право считать своими учениками – не знаю, не подсчитывал. Много. Некоторые из них стали крупными учёными. Не стесняюсь подчеркнуть, более известными, чем я. Радуюсь их успехам.

Давно хотел написать свою научную биографию. Не получалось. Побудили преодолеть инерцию А. Ермолаев и В. Ульянов – мои молодые коллеги по Кафедре теоретической физики имени академика И.М. Лифшица Харьковского Государственного университета (ХГУ). Раньше Харьковский университет носил имя Горького, теперь ему вернули имя основателя В.Н. Каразина.

А.М. Ермолаев и В.В. Ульянов написали и издали небольшую брошюру обо мне. Она издана в серии брошюр о профессорах ХГУ¹. Серия посвящена 200-летию университета. Прочитал посвящённую мне брошюру и мне стало стыдно: им не

¹ Она вышла даже двумя изданиями. Второе издание, более торжественное, приурочено к моему 90-летию. Испытываю дополнительную благодарность к Саше Ермолаеву и Володе Ульянову.

лень было писать обо мне, а я никак не соберусь описать свой научный путь. Написал небольшую брошюру “Эпизоды из жизни физика-теоретика”. Она была издана: 50 экземпляров, 77 страниц небольшого формата (Харьков, 2003). Для этого издания брошюру несколько переработал, кое-что добавил, кое-что не внёс. Не воспроизвожу я очерков А.М. Ермолаева и В.В. Ульянова, которые есть в первом издании. В издании автора они были бы неуместны, хотя их содержанием и тоном я был искренне тронут.

До университета и в университете

Я окончил школу в 1939 году в Киеве, куда мы переехали из Харькова за несколько лет до этого вслед за столицей Украины (УССР, чтобы быть точным).

Странно, но я не помню, кто у нас в старших классах школы преподавал физику. Наверное, если бы поговорил с кем-либо из своих соучеников, сразу бы вспомнил. Но поговорить не с кем. Как возник мой интерес к физике? В семье физиков не было. Думаю, интерес к физике зародился благодаря чтению научно-популярной литературы. Хорошо помню, что в школе прочитал “Солнечное вещество” Бронштейна. Трепетное отношение к этой книге осталось на всю жизнь. Перечитал её взрослым, когда она была переиздана в библиотечке “Квант”, и моё отношение не только не изменилось, но укрепилось. Серьёзный интерес к физике, как к возможной и желанной профессии, по-моему, пробудили у меня две книги по атомной и ядерной физике: книга Антона Карловича Вальтера “Атака атомного ядра” и книга Михаила Израилевича Корсунского, название которой забыл. Потом, во взрослой жизни, я был и с Вальтером, и с Корсунским не только знаком, но, когда я оказался сотрудником Украинского физико-технического института АН УССР (УФТИ), у меня с ними установились товарищеские отношения. Книги Вальтера и Корсунского убедили меня: Харьков – Мекка современной физики. Я благодарен Вальтеру и Корсунскому за то, что они помогли мне сделать правильный выбор.

Забавные возникают параллели. Когда Михаил Израилевич Корсунский переехал из Харькова в Алма-Ату, его квартира в уфтийском дворе досталась мне, а когда я переехал в Москву, то после смерти Антона Карловича Вальтера его семья заняла ту же квартиру.

Прочитав книги Вальтера и Корсунского, по-видимому, решил выступить на физическом кружке, хотя, признаться, не помню, был ли такой. Но что помню точно, так это то, что я написал какое-то сочинение (скорее всего, доклад), изложив те

сведения о строении материи, которые усвоил из прочитанного. Учитель (возможно, учительница), прочитав мой “труд”, повел меня в Институт физики (теперь понимаю, что принадлежал он Академии Наук УССР, потом я в нём бывал). Мы попали к кому-то – ну просто хрестоматийному учёному: академическая ермолка и белая бородка клинышком были из другого, невиданного мною мира. Что он сказал, не помню. Наверное, посоветовал учиться. Был он предельно доброжелателен. Это запомнил навсегда.

Наверное, в нашей школе не было физического кабинета. В памяти не сохранилось, чтобы я делал хоть какой-либо самый захудалый эксперимент. И дома никакими опытами или поделками никогда не занимался. Не знаю, когда я узнал, что физик может быть либо экспериментатором, либо теоретиком. Помоему, *всегда* я хотел быть теоретиком.

Я окончил Физико-математический факультет Харьковского университета в 1949 году, а поступил в университет в 1939. То, что между поступлением и окончанием прошло 10 лет, легко объясняется: большую часть этого десятилетия я провёл на военной службе. В тот год, когда я поступил в университет, закон о воинской обязанности изменили, и студенты 1-го курса были призваны. Я попал в Береговую оборону Черноморского флота. Потом война и демобилизация в конце 1945 года.

Время с конца 1939 года до начала 1946 надо отнести к периоду “До университета”, хотя несколько месяцев в 1939 году я провёл в университете. Они укрепили моё желание стать физиком-теоретиком. Поступил я на Физико-математический факультет Харьковского университета без экзаменов: окончил школу, имея по всем предметам *отлично*. Медалей тогда не выдавали, но аттестат отличника имел золотую рамку. Так и говорилось: “Окончил с аттестатом в золотой рамке”.

Одно из первых острых впечатлений от пребывания в университете в 1939 году – математика. На первом курсе физики не было вообще. Но математика читалась в виде трёх курсов разными преподавателями: математический анализ, аналитическая геометрия и высшая алгебра.

В декабре меня уже отправили по месту призыва, но три с половиной месяца в университете до сих пор вспоминаются как сплошной праздник. К радости познания (не боюсь несколько напыщенного выражения) добавлялась радость новых знакомств, кратких романов, а обостривший все чувства страх, что всё это вот-вот кончится, делали радость ещё острее.

Попав в Береговую оборону Черноморского флота, я радовался, что буду служить немного меньше, чем если бы меня

“забрили” в плавсостав. Но каждый день, проведённый на службе, особенно до начала войны, воспринимался как бессмысленно теряемое время. Конечно, я понимал, что, находясь на службе, по-настоящему заниматься невозможно. Но хотелось хотя бы не потерять связь с университетом. Для этого стал заочником Харьковского университета. Дважды приезжал на сессии (второй раз за неделю до начала войны). Когда было свободное время, пытался решать задачи. Но, когда после конца войны демобилизовался, всё пришлось начинать сначала. Все попытки не потерять годы вне университета ни к чему не привели. Всё время вынужденного перерыва в учёбе я мечтал о том моменте, когда вернусь в университет. Одна из задач, которую я перед собой ставил, находясь на военной службе, была проста по своей постановке, но не всегда её было просто решить. Я делал всё возможное, чтобы не угодить в офицеры. Мне это удалось. И посчастливилось демобилизоваться вскорости после окончания войны. Вернулся в Харьков в конце 1945 года.

Наступил долгожданный момент: снова я студент университета. Здание на площади Дзержинского ещё не функционировало. Харьковский университет располагался на Университетской горке. Вспоминая годы своей учёбы, мысленно возвращаюсь именно туда.

Ощущение потерянного времени было острым. Решил перескочить через курс. Уверен, не мог бы этого осуществить, занимаясь в одиночестве. К счастью, мой сокурсник Витя (Виктор Моисеевич Цукерник²) и я с первого экзамена и до последнего занимались вместе и всё вместе сдавали. Вместе и “перескочили”. Для наших биографий это оказалось важным. Антисемитская кампания после 49-го года усилилась, и, несомненно, ни Витя, ни я не были бы приняты в УФТИ. Приняты мы были в разные отделы. Я – в отдел, руководимый И.М. Лифшицем, Витя – в отдел В.Л. Германа. Теоретделов в УФТИ в те годы было три: по числу физиков-теоретиков – докторов наук в Харькове. Теоретическими отделами руководили Александр Ильич Ахиезер, Вениамин Леонтьевич Герман и Илья Михайлович Лифшиц.

Когда от УФТИ отделилось несколько отделов и был образован Институт радиоэлектроники АН УССР (ИРЭ), Герман со своим отделом перешёл в ИРЭ. То, что мы поторопились с окончанием университета, несомненно, принесло плоды. Особенно мне: “кадровые волнения” Витю не обошли стороной:

² 24 мая 2012 г. после тяжёлой изнурительной болезни Витя Цукерник умер в г. Реховот (Израиль).

через короткое время, не называя причины, его уволили, и на несколько лет он, талантливый физик-теоретик, был оторван от творческой работы.

Укоротить время пребывания в университете посоветовал нам В.Л. Герман. Я был с ним знаком, так как он и мои родители всю эвакуацию провели вместе в Кзыл-Орте.

Моё непосредственное знакомство с В.Л. Германом и его роль в нашем решении укоротить пребывание в университете достойны описания.

Однажды, вскорости после моего возвращения в Харьков мы с папой ходили по магазинам. Уверен, надо было купить нечто необходимое. Купили ли... Не думаю. А вот в книжный магазин заглянули и купили пятитомный курс физики Хвольсона. Будущий физик, я то есть, тащу пять томов домой. Нас останавливает мужчина, папа нас знакомит. Я: “Мусик”. Он: “Веня”. Папа разъясняет, кто есть кто. Веня, Вениамин Леонтьевич Герман – профессор Харьковского университета и заведующий одним из теоретических отделов УФТИ, увидев у меня Хвольсона, сказал: “На полке хорошо смотрится, но заглянете в него вряд ли”. Так и было. В своё оправдание скажу, что и на полке у В.Л. Германа тот же пятитомник был. Навсегда мы остались друг для друга Веней и Мусиком, хотя примерно через три года я слушал лекции профессора Германа по квантовой электродинамике.

Сдав несколько раньше, чем полагалось, экзамены за первый курс, мы, Витя и я, не знали, чем заполнить лето. Решили подработать, но с умыслом: пополнить свои знания по физике. Подумали, что хороший способ – поработать в УФТИ лаборантами. Хотел посоветоваться, как устроиться в УФТИ. Обратился (может быть, мы обратились – не помню) к В.Л. Герману. Когда сказал Вене, чего нам хочется, Веня ответил, что физике не учатся, как сапожному мастерству, бегая за водкой для мастера. “Надо побыстрее окончить университет и начать работать по специальности”, – добавил он. То, что это возможно, он знал хорошо, так как сам окончил университет, перепрыгнув через курс. Мы решили последовать совету Вени. Уже летом мы начали сдавать экзамены за второй курс.

Отвлекаться на описание трудностей послевоенной жизни в разрушенном войной Харькове не хочется, хотя трудностей хватало. Лучше вспомню тех, кто читал нам лекции (простите за случайный порядок).

Лекции по теоретической физике читали И.М. Лифшиц, А.И. Ахиезер, В.Л. Герман. К.Д. Синельников прочёл несколько лекций по истории физики. Общую физику читал А.С. Мильнер.

Разные разделы математики читали разные лекторы. Математический анализ – М.Н. Марчевский, аналитическую геометрию – Д.З. Гордевский, высшую алгебру – В.В. Никишов, математическую физику – Н.С. Ландкоф, теорию функций комплексного переменного – В.К. Балтага и А.Я. Повзнер.

“Перескочив” через курс, мы с Витей Цукерником оказались в числе нескольких человек, которые, как и мы, хотели заниматься теоретической физикой. Было нас пятеро (кроме В. Цукерника и меня, А. Ситенко, В. Шестопалов и Г. Таранова). Похоже, мы были первыми выпускниками Физико-математического факультета Харьковского университета по специальности “теоретическая физика”.

Хотя почти всё время, проведённое в университете, мы готовились к сдаче экзаменов, от занятий мы оба (по-моему, и Витя, и я) получали большое удовольствие. Чаще всего были хорошо подготовлены и заслуженно получали пятёрки. Но были и поблажки. Я не сдавал химию. Мне просто подарили оценку. У Вити химия, если не ошибаюсь, была сдана в Строительном институте, где он провел один год перед поступлением в университет. До предела либерально отнеслись к нам преподаватели психологии и педагогики. После коротких бесед, во время которых говорили главным образом преподаватели, мы получали желанную отметку и возвращались к занятиям основными предметами. Со сдачей экзамена по английскому языку я тянул почти до защиты диплома. И, если не путаю, совсем забыл, что английский не сдан. Когда об этом вспомнили, сдачу провели в ускоренном темпе. По некоторым предметам лекций мы не слушали. На том курсе, с которого мы ушли, что-то ещё не читали, а на том курсе, куда перешли, уже прочитали. Готовились самостоятельно. До сих пор помню: оценки по теории вероятности и по дифференциальной геометрии мы получили не за фактическое знание, а доказав, что можем разобраться в том, о чём нас спрашивают. К нам и к нашему желанию перескочить через курс все относились доброжелательно: преподаватели, и, что удивительно, даже администрация факультета. Но должен и хочу подчеркнуть, что главная причина успеха – сэкономленный год – совместные занятия с Витей. Абсолютно уверен, один бы я не осилил задуманное.

В 1946 году мне было 25 лет. Я был взрослее своих сокурсников и ненамного моложе своих учителей. Со многими из учителей у меня установились не вполне обычные отношения. Относится это, скорее, к послеуниверситетским годам, но речь идёт именно об учителях, о тех, кто нам преподавал. Ощущения

дистанции между учеником и учителем я не терял, но развивалась доверительная близость, которая в ряде случаев переросла в дружбу. Эту черту своей биографии я рассматриваю как подарок судьбы, подарок, полученный за счёт военной службы. Действительно, нет худа без добра.

Во время войны я вступил в Партию (тогда партия была единственной и писалась с большой буквы). Поэтому, когда я вернулся в университет, меня почти с первых месяцев загрузили так называемой общественной работой. Меня это не очень угнетало. Какие-то черты моего характера требовали “деятельности”. Сужу по тому, что всю жизнь до выхода на пенсию не ограничивался только сидением за письменным столом и чтением лекций. Где-то заседал, что-то организовывал, где-то представлял. Ко всем видам такой траты времени уже много лет назад начал относиться иронически. Придумал даже формулу: “Как много надо делать, чтобы ничего не делать”. Относил её и к себе самому. Но продолжал тратить время. Теперь его жалко.

Наука и жизнь

В названии раздела нет кавычек. Речь не идёт о журнале “Наука и жизнь”, хотя я несколько раз в нём публиковался. Об этом напишу в другом разделе. Здесь я хочу до описания конкретных эпизодов из своей научной биографии высказать ряд соображений о моём понимании предназначения и места науки. Не только в глобальном масштабе, но и в стране, где я прожил большую часть жизни. Хочу поделиться воспоминаниями о том, какое место занимала наука в моей жизни, а также попытаюсь трезво понять и оценить своё место в науке.

Несколько лет назад Лёва (Лев Ильич) Розоноэр и я, прочитав книгу Г. Харди “Апология математика”³ и поспорив о её оценке, записали свои соображения о науке. Назвали написанное “Диалог о науке”. Состоит он из трёх частей. Каждый из нас написал свою часть и вдвоём мы написали предисловие. “Диалог...” не публиковался.

Приведу высказывания из предисловия и из своей части. Они позволят мне перейти к более конкретным высказываниям.

³ Г. Харди, “Апология математика”. С предисловием Ч.П. Сноу. Перевод Ю.А. Данилова. Научно-издательский центр “Регулярная и хаотическая динамика (РХД)”, Ижевск, 2000. Л.И. Розоноэр – отец мужа моей дочери.

Харди откровенно признаётся: “Я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, потому что это единственное, что я умею делать хорошо”.

Отталкиваясь от этого высказывания, мы формулируем свою точку зрения (цитата из предисловия):

«Наверное, все согласятся: признание [Харди] вызывает определённое уважение: Харди не пытается “облагородить” свои чувства, не стремится сделать вид, что им руководят высокие побуждения. Он, похоже, именно так и думает.

Стимулы, которые привели Харди к выбору для себя профессии математика, заставляют задуматься о жизненном пути научного работника. Вместо того чтобы давать свою оценку точке зрения Харди, приведём высказывание Эйнштейна⁴:

“Храм науки – строение многосложное. Различны пребывающие в нём люди и приведшие их туда духовные силы. Некоторые занимаются наукой с гордым чувством своего интеллектуального превосходства; для них наука является тем подходящим спортом, который должен им дать полноту жизни и удовлетворение честолюбия. Можно найти в храме и других: плоды своей мысли они приносят здесь в жертву только в утилитарных целях. Если бы посланный Богом ангел пришёл в храм и изгнал из него тех, кто принадлежит к этим двум категориям, то храм катастрофически опустел бы. Всё-таки кое-кто из людей как прошлого, так и нашего времени в нём бы остался. К числу таких людей принадлежит наш Планк, и поэтому мы его любим”.

Процитированное не оставляет сомнений в том, какова позиция Эйнштейна. Интересно, что через 14 лет в своём предисловии к книге Макса Планка Эйнштейн почти дословно повторил свои слова. Сопоставляя слова Эйнштейна со сказанным Харди, можно подумать, что Эйнштейн дискутирует именно с Харди.

Что же, по мысли Эйнштейна, привело в храм науки тех, кого ангел не изгнал бы из храма? Останется тот, кто “стремится каким-то адекватным способом создать в себе простую и ясную картину мира”».

Конец цитаты.

Несколько фраз из моей части “Наука, учёный, научное сообщество” (так я её назвал):

⁴ А. Эйнштейн, “Собрание научных трудов”, том 4, стр. 39. Москва, “Наука”, 1967.

“Задача науки – постижение мира. Интуитивно мир воспринимается как единое целое. ...Изучение мира требует его расчленения. ... Не расчленив, не разобрав мир, как ребёнок разбирает заинтересовавшую его игрушку, познать мир невозможно. Или современная наука не умеет.

Профессионалы, как правило, заняты отдельными конкретными научными дисциплинами”.

Наука, действительно, ставит перед собой величественные задачи, но, пытаясь применить эти слова к себе, прекрасно понимаю, что выгляжу смешно. Даже слово “учёный” неудобно произносить о себе: “Я – учёный!”, – не звучит. Лучше: “Я – научный работник”. А если надо уточнить, называют специальность. Я вот – физик-теоретик.

Следующая цитата (из моей части) звучит менее торжественно:

«...научное представление о мире превратилось в сумму представлений о его частях. Используемый образ “картины мира” правильной было бы заменить “альбомом”, состоящим из многих “картин”. Ещё точнее – на “атлас”, в котором каждой дисциплине принадлежит одна или несколько “карт”...»

Наше научное представление о мире похоже на знакомство с географией по географическому атласу, не все условные обозначения в котором мы понимаем».

И ещё:

«Характерной чертой науки является строгая констатация границы между знанием и незнанием ... граница эта имеет весьма вычурную форму. У океана непознанного есть береговая черта. Но и на материке познанного множество “белых пятен”, постепенно заполняющихся знанием. Процесс заполнения белых пятен обычно не затрагивает положение береговой черты».

Я воспользовался цитатами, чтобы подчеркнуть: мои оценки предназначения науки устойчивы. Безграничное уважение и восхищение процессом познания, последовательного создания *простой и ясной картины мира* не покидает меня с юности. Знакомство с историей науки, понимание сделанного великими физиками усиливает уважение и восхищение. К этим чувствам добавляется понимание того, с каким трудом добывается истинно новое знание – то, которое вносит заметный вклад в картину мира.

Совсем скоро, через несколько строк, я от общих утверждений перейду к более конкретным, но две-три фразы должен ещё сказать.

Научная картина мира не исчерпывает *картины мира*. По ощущению многих научная картина мира игнорирует самое

главное – нечто непознаваемое, но играющее руководящую роль в Мире. Подавляющее большинство ощущающих существование чего-то, что играет в Мире руководящую роль, именует это Богом.

Я подобного ощущения не испытываю. Но глубоко уверен, есть и всегда будут вопросы, на которые каждый (более или менее осознанно) выбирает ответ для себя. Один такой вопрос я решаю сформулировать:

“Законы природы – естественное свойство материи или привнесены в Мир Богом?”

Ещё недавно отвечал (себе, конечно) вполне определённо: законы природы – естественное свойство материи, понимая, что это – *мой выбор, моя вера*. Никогда не считал такую точку зрения более предпочтительной, чем противоположную. И сейчас не считаю. Более того, сейчас, пытаясь разобраться в своих чувствах, ощущаю некую растерянность. Возможно, отсутствие объективного ответа делает этот вопрос и подобные ему бессмысленными⁵, хотя мне совершенно очевидно, что для каждого из людей и для человечества в целом ответы на подобные вечные вопросы бесконечно важны. В поисках истины каждый выбирает свой путь. Отнюдь не для всех наука – помощник в выборе пути. Собственный опыт, философия, размышления – думаю, более надёжные помощники.

Опустимся на грешную Землю.

Используя географическую аналогию, могу сказать, что всю свою научную жизнь провел в стране, называющейся *Квантовая теория твёрдого тела*. Это – огромная страна с федеративным устройством. Провинции, подчиняясь строгим федеративным законам, ведут сравнительно независимое существование. В развитие двух провинций, мне думается, есть и мой вклад. Большинство моих и с моим участием работ посвящены электронной теории металлов и теории магнетизма. Я не забыл о своих работах по теоретической электронике и по теории сверхтекучести и не разочаровался в них. Просто их немного.

Квантовая теория твёрдого тела в её современном облики обособилась в конце 20-х, в начале 30-х годов прошлого века⁶. И при этом до сих пор на её территории существуют белые

⁵ Слова “бессмысленный вопрос” в данном контексте означает только невозможность ответить так, как принято отвечать на научные вопросы. Никакого порицания они не несут (см. дальше).

⁶ В этой фразе речь идёт только о том, что в те годы было выяснено: свойства твёрдых тел нельзя понять без квантовой

пятна. Иногда понимание – ликвидация одного из белых пятен – сопровождается формулировкой новых вопросов, возникают новые задачи, новые белые пятна. Не знаю, имеет ли этот процесс естественный конец. Не думаю.

Мои работы, надеюсь, добавляли нечто в знание о мире, что без большой натяжки даёт мне право сказать: своими работами я принимал участие в создании *простой и ясной картины мира*. Но, решая конкретные задачи, надо признаться, занимался подробностями, интересными тем, кто был и является “жителем той же провинции”, что и я. Работы были не только интересными, но, по меньшей мере иногда, смею сказать, важными. Развитие науки имеет свою логику. Следование ей поощряется научным коллективом. Каждый знает, что без такой поддержки приходится трудно. На протяжении всей своей научной жизни в подобной поддержке мне не было отказано, хотя не могу сказать, чтобы мои работы кого-то приводили в восторг. Я не получал престижных премий, не стал членом Академии наук. Мои результаты оценивались присвоением научных степеней и званий, а работы публиковались в ведущих журналах. И, наконец (это, пожалуй, наиболее ощутимо), многие годы я имел возможность работать в институтах, принадлежащих к числу лучших научных учреждений страны.

Моя оценка своих работ – не сетование и не похвальба, а констатация факта, понимание характера и уровня своей научной деятельности. Не стоит думать, что это понимание мешало мне получать удовольствие от работы. Каждая новая работа, каждая новая решённая задача – новая радость. Но ещё большую радость, иногда доходившую до наслаждения, я испытывал от самого решения задачи.

Однажды на учёном совете Института физических проблем выступил Яков Борисович Зельдович (он тогда заведовал теоретическим отделом ИФП, заняв этот пост после смерти Ильи Михайловича Лифшица). Зельдович решил поделиться с коллегами соображениями о стимулах научного творчества. На такие общие темы выступления были очень редки. Может быть, поэтому запомнилось сказанное. По Зельдовичу, задача науки – удовлетворять потребность людей в знании. Мысль его выступления близка приведенным словам Эйнштейна. Правда,

механики и квантовой статистики. Теорфизический аппарат квантовой теории твёрдых тел за последовавшие годы существенно изменился. И, естественно, многие явления были объяснены, а многие и открыты после.

сформулирована она была в другом ключе, с упором на другое. Приблизительно так: люди имеют *потребность* в увеличении знания о Мире. Эту потребность удовлетворяет наука. Руководство страны *обязано* обеспечивать удовлетворение этой потребности. Выступление мне понравилось.

После конца заседания, в теоротделе я спросил у молодого талантливый сотрудника, понравилось ли ему выступление Зельдовича. “Понравилось”, – сказал мой собеседник, но признался, что, когда он работает, более отчётливую радость испытывает не столько от приобретения нового знания, сколько от того, что получается так, как *должно* получиться. Кажется, добавил: “...что сокращается всё, что должно сократиться...” Или что-то в этом роде.

Мой молодой коллега, мои друзья-физики и я сам – все мы редко позволяем себе о своей работе, да и о работе своих коллег, говорить торжественным языком. Используем его тогда, когда для торжественных слов есть естественная причина: защита диссертации, получение престижной премии, юбилей и, наконец, панихида.

Одна из удивительных удач моей жизни состоит в том, что всю свою жизнь после военной службы я занимался любимым делом. К этому надо добавить, что в конкретном выборе тем исследования я был свободен. Об этом расскажу несколько подробнее не сейчас.

Мечтая о будущей профессии, я не задумывался ни о том, какова будет моя зарплата, ни о месте, которое занимает физика и вообще наука в нашей стране. Понимание, что мне повезло, пришло позже. Я не только выбрал своей профессией любимое дело и не разочаровался в выборе, но и выбрал его вовремя. Всё благоприятствовало моему выбору. С 40-х годов научные работники, особенно имеющие научные степени и звания, находились в несколько привилегированном положении. Физика была модна. Физические институты хорошо финансировались, помогала холодная война: старались не отстать от США. Но не только в этом дело. Обстановка в тех институтах, где я работал, разительно отличалась от обстановки в обычном советском учреждении. В наибольшей мере это относится к Институту физических проблем, но и УФТИ был замечательно приспособлен для научной работы, особенно, конечно, для физика-теоретика, который до эры компьютеров чувствовал себя независимым от традиционного “советского кабака”.

Экспериментаторам было значительно хуже: поставка оборудования всегда опаздывала, невозможно было раздобыть

современные приборы и материалы. С какой завистью знакомые экспериментаторы обращали моё внимание на отличие оборудования, описанного в статьях зарубежных коллег, от того, с чем имели дело они! Вспоминаю трагикомический эпизод, происшедший в Институте физических проблем. Институт посетила группа молодых физиков из Голландии. Их водили по всему институту, всё показали, обо всём рассказали. После этого они собрались в зале, и те, кто водил экскурсию, подведя итоги, ожидал слов благодарности от молодых людей. Неожиданно поднялся один из участников и резко сказал, что не стоило им морочить голову, надо было их предупредить, что институт секретный, что показать им ничего не могут. Зачем было показывать им старое оборудование. На таких приборах невозможно сделать те прекрасные работы, из-за которых они решили познакомиться с Институтом физических проблем. Большого труда стоило убедить недоверчивых голландцев, что им показали то самое оборудование, на котором сделаны понаравившиеся им работы.

У меня же, как и у всех физиков-теоретиков, было всё, что нужно: библиотека со свободным доступом к книжным полкам; в библиотеке – все главные физические журналы и выходящие в мире книги, заказ на получение которых мы осуществляли самостоятельно. Правда, эта сказочная, как теперь кажется, ситуация не была долговечной. Из-за недостатка валюты возникли существенные ограничения. Отнюдь не всегда они вводились разумно.

По стране прокатывались идеологические кампании, иногда – откровенно антисемитские. По многим свидетельствам физика от разгрома, аналогичного лысенковщине, защитило то, что для создания атомного оружия нужны были ученые-физики.

Конечно, проявления государственного антисемитизма ощущались. Физика и физики не жили вне государства. Невозможность устроиться на работу, пусть не тебе, но твоим детям, избравшим ту же профессию, а за несколько лет до того – невозможность для них поступить в желанное учебное заведение – туда, куда тянет, увольнения под предлогом лишения допуска к работе по секретной тематике, почти полное запрещение выезда за пределы СССР – всё это не просто ощущалось, а отравляло жизнь. К счастью для меня, не всегда, а тогда, когда я сталкивался с проявлением антисемитизма непосредственно. Прежде всего, по отношению ко мне и к моим близким. Но не только...

И ещё.

Ходила поговорка: “Лучше всего не думай! Подумал – не говори! Сказал – не пиши! Написал – не печатай! Напечатал – кайся!”

В своей профессиональной деятельности я мог думать, говорить, писать и печатать всё, что считал правильным и разумным. И каяться не приходилось никогда. Эту особенность нашей профессии я никогда не забывал. И не только я. С каким жаром те из нас, у которых дети мечтали стать гуманитариями, отговаривали их и, по сути, заставляли их идти на естественнонаучные факультеты или в инженерные институты...

Многим моим коллегам очень не хватало возможности непосредственных контактов с зарубежными учёными. Они тяжело страдали от “железного занавеса”. Конечно, и мне хотелось посмотреть мир, но, признаюсь, отсутствие контактов не мешало моей работе. Я имел вокруг себя коллег, многие из которых были опытнее меня. Они не отказывали мне в обсуждении моих работ. Больше 30 лет я работал под непосредственным руководством Ильи Михайловича Лифшица. Представить себе лучшего руководителя и учителя трудно. К этому надо добавить, что многие годы мы дружили...

В начале своего научного пути, с 1952 до 1962 года, почти все свои работы обсуждал с Львом Давидовичем Ландау и докладывал их на его семинаре.

Теперь, когда уже давно я не бываю на научных семинарах, с ностальгией вспоминаю семинары. Семинар Ландау я описал. Очерк есть в книге “Воспоминания о Л.Д. Ландау” (Москва, “Наука”, 1988). Я назвал семинар Ландау праздником науки. Семинар в Харьковском Доме учёных, которым руководил много лет Илья Михайлович, был еженедельным праздником науки для харьковских теоретиков. Сколько прекрасных работ было на этом семинаре доложено, сколько молодых людей получили на нём путёвку в жизнь. На семинаре царил доброжелательность в сочетании с бескомпромиссной оценкой работы и её результатов. Не помню ни одной обиды, хотя некоторые работы подвергались суровой критике. Стиль семинара определялся Ильёй Михайловичем, его манерой научного общения. Вроде, и удивляться нечему...

В советское время собрания почти любого уровня вызывали, как правило, резко отрицательные эмоции. Вспоминается рассказ Яшина “Рычаги”, в котором описано превращение думающих и разумно рассуждающих перед началом собрания людей в бездушные “рычаги”, повторяющие заученные бессмысленные лозунги, как только собрание открывается.

Моего коллегу, активно работающего физика – члена партии (как и я, с военных лет), по моему мнению не карьериста, избирают секретарём партийной организации института. Мы не были особенно близки, но он казался мне нормально мыслящим человеком, понимающим, что происходит в стране и в мире. И вот он в своей новой роли на партийном собрании. Я не узнаю его: слова, которые он произносит, я никогда от него не слышал, он поучает, будто ему открылась глубокая истина. В теоретическом отделе он бывает, но чуть реже. Здесь его трансформация мало заметна. Решаюсь с ним поговорить. Он не уходит от разговора. Не оправдывается, а жалуется: “Когда вижу перед собой полный зал, когда чувствую ответственность, взваленную на меня, ничего не могу с собой поделаться”. Партийные собрания и в физических институтах несли на себе клеймо тоталитаризма. А вот семинары и учёные советы разного уровня помогали на время абстрагироваться от обстановки в стране. Никаких славословий в адрес очередного вождя. Деловое обсуждение новых работ, рекомендация их в печать, без которой посылать новую работу было не принято. Изредка обсуждались планы на будущее или возникшие трудности. Последнее – совсем редко.

Те, кто жил в советское время, особенно в годы застоя, помнят, каким бичом были *приписки*. Были и есть физики, выдававшие желаемое за действительное. В литературе описаны наиболее скандальные случаи. В тех институтах, где мне пришлось работать, я лишь однажды встретился с заведомой припиской. Когда приписка была разоблачена, реакция учёного совета и начальства была вполне адекватной: автор понёс наказание. Конечно, возможны ошибки. И у теоретиков, и у экспериментаторов. Обнаружение ошибки во время доклада на семинаре – рутинное дело. Правда, не для автора неправильной работы. Но что поделаешь?! Неправильно, значит, надо сделать правильно! Если возможно, конечно.

Грустно вспоминать, но бывали случаи, когда справедливые замечания, сделанные на семинаре, игнорировались, а неправильная работа публиковалась без исправления. Иногда даже с благодарностью за обсуждение. К счастью, такое было редким исключением.

Бывает, что обнаружение ошибки воспринимается как событие и помнится долго. В очерке о Ландау я описал, с каким мастерством Ландау обнаружил ошибку у маститого учёного. Подчёркивал способность Ландау вникнуть в суть чужой и простой работы. Не меньшее впечатление произвёл и учёный, допустивший ошибку. Не было сомнений, что он тяжело пережил

случившееся. Это не помешало ему публично признать справедливость критики. Он специально пошёл вторично на семинар в ФИАН, где за день до семинара Ландау докладывал свою работу, чтобы разъяснить участникам фиановского семинара суть ошибки (со ссылкой на Ландау, естественно).

Перехожу к описанию эпизодов из своей жизни физика-теоретика.

Тематика длиной в жизнь

1949 год. Один из самых важных годов моей жизни. В начале года я женился, в середине года моя жена Элла и я окончили университет, в конце года родилась наша дочь Инна.

В конце 48-го и в первой половине 49-го годов мы (Витя Цукерник и я) делали две работы. Тему одной дал А.И. Ахиезер, тему другой – И.М. Лифшиц. Каждая из работ после её окончания должна была стать дипломной работой. Какая у кого, должен был решить жребий (буквально). Мне выпало защищать работу, тему которой предложил Илья Михайлович. Эту подробность не могу опустить: редко бывает, чтобы от случая столь непосредственно зависела дальнейшая жизнь. После того, как мы бросили жребий, мы “разделились”: каждый доделывал “свою” работу.

В 1950 году в 35-м томе Ученых записках ХГУ вышла наша статья по теме моей дипломной работы: “Распространение электромагнитных колебаний в неоднородных анизотропных средах”. Авторами справедливо указаны: наш руководитель И.М. Лифшиц и мы оба, М.И. Каганов, В.М. Цукерник (Труды физического отделения физико-математического факультета, том 2, стр. 41). Не помню, имела ли моя дипломная работа то же название, что статья.

Библиографическая справка побуждает сделать несколько замечаний.

В названии статьи отсутствует слово *поликристалл*, слова “неоднородная анизотропная среда” вызывают неправильные ассоциации: можно подумать, что тема статьи распространение электромагнитных волн в слоистых средах, например.

Илья Михайлович относился к нашим результатам серьёзно, но без особого увлечения. Дело в том, что Илью Михайловича не столько интересовал конкретный физический результат, полученный нами в работе, сколько аппарат вычисления усреднённых характеристик поликристаллов. К тому времени, как мы занялись усреднением уравнений Максвелла, содержащих тензора второго ранга, аппарат себя прекрасно проявил на примере более сложных уравнений теории упругости с

тензорами четвертого ранга. Теорией упругости поликристаллов под руководством Ильи Михайловича и с его участием занимались Л.Н. Розенцвейг и Г.Д. Пархомовский (ссылки в Списке трудов И.М. Лифшица, “Избранные труды”, том 1, стр. 545; Москва, “Наука”, 1987).

Учёные записки Харьковского университета не слишком доступное издание. Интернета и баз данных в те годы не было. Казалось, статья обречена на забвение.

Неожиданно для нас нашей работе была дарована длинная жизнь. Дело в том, что распространение электромагнитных волн (особенно радиоволн) во флуктуирующих средах интересовало значительно большее число физиков, чем распространение звуковых волн. Поликристалл – частный случай флуктуирующей среды. Одним из центров исследования взаимодействия радиоволн с флуктуирующими средами был ИРЭ АН УССР, теоретики которого – выпускники того же университета, что и мы. Многие из них прекрасно нас знали и знали наши работы, в частности, и ту, о которой идёт речь. Появились ссылки, появились просьбы выслать работу. Работу узнали. Часто это доставляло не столько радость, сколько беспокойство. Ксерокса ещё не было. Оттиски быстро разошлись...

В 2001 году в журнале Physical Review B (Phys. Rev. B, 2001, v. 63, p. 054202) вышла статья “Effective surface impedance of polycrystals under anomalous skin effect conditions”, авторы: Inna M. Kaganova, Moisey I. Kaganov. Между первой работой по теории поликристаллов, в которой я принимал участие, и этой работой прошло более 50 лет. Срок этот вместил практически всю мою творческую жизнь физика-теоретика.

Об импедансе и об аномальном скин-эффекте я расскажу позднее. Пока только хочу отметить, как важны “граничные условия” в научной биографии: воспоминания о *первой* работе породили новые работы.

Совсем неожиданное “применение” имела моя дипломная работа несколько лет назад. Я уже жил в Соединённых Штатах. Среди моих последних дипломников перед выходом на пенсию и отъездом из Москвы был Педро Контрерас из Венесуэлы. Мы с ним занимались электронной теорией металлов. Когда, окончив МГУ, Педро вернулся в Венесуэлу, он поступил на работу в Геофизический институт при нефтяной компании. Институт занимался ультразвуковой разведкой нефти и газа. Их интересовало всё, что связано с взаимодействием звуковых волн с поликристаллами. Педро знал о моём знакомстве с работами И. М. Лифшица и его учеников конца 40-х годов. Он был

инициатором моего приглашения в Каракас в качестве консультанта. Поездка состоялась. Кажется, моё участие в разработке программы исследований было полезно. Меня огорчило только одно: думая о поездке, мечтал попасть в Южное полушарие. Надеясь на школьное знание географии, не посмотрел на карту. Уже в Венесуэле выяснил, что экватор я не пересёк.

От электроники к теории твёрдого тела

После окончания университета я был принят в УФТИ. На его вывеске стояло: “Физико-технический институт Академии Наук СССР”. Но и я, и все физики знали, что хозяином института является какая-то секретная организация в Москве. Назначение в УФТИ я получал в Москве, в некоем здании на улице Солянка. В само здание я ни разу не попал. Работник отдела кадров в военной форме общался со мной через окно. Я стоял во дворе. В течение нескольких дней я доказывал ему, что он сам (я знал его фамилию) подписал моё назначение в УФТИ.

Знал я, конечно, что УФТИ принимает участие в решении задач, связанных с созданием атомного оружия, понимал, что задачи самые разнообразные. В 40-х – 50-х годах одной из важнейших разработок УФТИ был линейный ускоритель. Основное теорфизическое обеспечение осуществлял отдел, которым руководил А.И. Ахиезер. Считалось, что наш отдел, руководимый И.М. Лифшицем, куда я был принят на должность младшего научного сотрудника, тоже должен заниматься ускорителем. Сотрудников в отделе, кроме меня, было ещё двое: Липа Натанович Розенцвейг (о нём я уже упоминал) и математик Полина Борисовна Найман.

Мои попытки заняться теорией ускорителей заряженных частиц к успеху не привели: ничего не получалось. Хорошо помню попытки оценить экранирование электромагнитного поля. Для этого было необходимо рассчитать структуру поля вблизи какой-то сеточки. Было очевидно, что расчёт никому не нужен, так как экспериментаторы умеют подбирать сеточки, необходимые для экранировки, без нас, теоретиков.

Как оказалось, важнее было выяснить, какой поток заряженных частиц выдержит сетка. Дело в том, что от ударов частиц она разогревалась и могла расплавиться. Мы (Л. Н. Розенцвейг и я) решили эту задачу. Она достаточно проста. Заинтересовало меня и поэтому, наверное, запомнилось то, что важную роль играло тепловое излучение, так как сетка располагалась в вакууме. Запомнилось ещё, что на этой задаче я

убедился в том, как существенно уметь разумно обезразмерить задачу.

Когда через много лет появились счетчики заряженных частиц, в которых основным элементом служит трёхмерная сетчатая конструкция, я вспомнил свою первую успешную попытку заняться ускорительной тематикой.

Никто из нас, включая Илью Михайловича, не знал, чем заняться в этой нужной для престижа УФТИ области. Рассказал о поиске темы Якову Борисовичу Файнбергу – сотруднику не нашего отдела, а отдела А.И. Ахиезера. Яша посоветовал мне заняться взаимодействием заряженных частиц с *замедляющей* средой.

Подчеркнём, чтобы не возникло недоразумения: замедлять надо не частицы, их-то надо ускорять. Замедлить надо электромагнитные волны. Как частицы ни ускорь, двигаться быстрее света или даже со скоростью света они не могут. Чтобы частицы не отставали от ускоряющего их электрического поля, надо, чтобы электромагнитные волны двигались со скоростью, меньшей скорости света в вакууме. В ускорителе для этого существуют всякие приспособления. Но Яков Борисович обратил моё внимание на то, что замедления электромагнитных волн можно достичь иначе: нагрузив волновод диэлектриком. При исследовании взаимодействия заряженных частиц с электромагнитными волнами способ их замедления не слишком важен. Это позволяет идеализировать задачу, заменив реальный ускоритель волноводом, заполненным диэлектриком.

Некоторое время моей основной тематикой была теория взаимодействия заряженных частиц с электромагнитными волнами в бесконечном цилиндрическом волноводе, который заполнен однородным, *анизотропным* диэлектриком. Как могут проходить через него частицы, никого не интересовало. Было понятно, что рассматривается модель. Диэлектрику я приписал анизотропию, чтобы приблизиться к реальности: ускоритель анизотропен и обладает осевой симметрией. Исползованная модель легко допускает дальнейшее приближение к реальности. Например, чтобы заряженные частицы могли двигаться через волновод, его ось и её окрестность можно освободить от диэлектрика, считая, что в диэлектрике есть цилиндрический канал вдоль оси волновода. В 50-х годах много выходило теоретических работ, развивающих исползованную мною модель. В некоторых я принимал участие, но отнюдь не во всех.

В подобных задачах существует своеобразная иерархия подходов в описании пучка заряженных частиц:

– можно исследовать взаимодействие отдельной частицы с волнами в диэлектрике,

– можно считать, что частицы пучка движутся с общей средней скоростью (гидродинамическое приближение),

– можно, наконец, описывать пучок по законам физической кинетики, с помощью кинетического уравнения Власова.

Работы, использующие эти подходы при описании частиц, составили содержание кандидатской диссертации. С её защитой я долго тянул, так как мои интересы вскоре переместились в теорию твёрдого тела.

В теорию твёрдого тела я пришёл с “багажом”, который состоял из умения описывать взаимодействие частиц и волн. Кроме того, освоил кинетическое уравнение Больцмана, правда, в его простейшей форме, когда столкновительный член играет незначительную роль. Дело в том, что в тех задачах, которые я решал, наибольший интерес представлял случай больших частот, когда пучок можно было считать бесстолкновительной плазмой.

Мы хорошо знали не только критические замечания Ландау и др. в адрес Власова, но и знали как “делать правильно”, с большим уважением относились к явлению, которое получило название *затухание Ландау*. Сейчас, по прошествии многих лет видно, что мы не переоценивали значение затухания Ландау. Много, сделанное мною, и не только мною, в электронной теории металлов по своей природе должно быть отнесено к кругу явлений, из которых простейшее, а, следовательно, наиболее фундаментальное – именно затухание Ландау. К таким явлениям, в частности, относятся аномальный скин-эффект и бесстолкновительное затухание звука в металлах.

Ещё одно важное обстоятельство.

При изложении физической кинетики в учебниках того времени основное внимание уделяли вычислению основных кинетических коэффициентов, исходя из квантовых расчётов диссипативных механизмов. Так было вплоть до 1979 года, до выхода из печати “Физической кинетики” Е.М. Лифшица и Л.П. Питаевского – 10-го тома Курса теоретической физики Ландау и Лифшица: в “Физической кинетике” много внимания уделено плазме, в частности, и бесстолкновительной.

Работы по теоретической электронике приучили меня к мысли о том, что в физической кинетике есть класс задач, основной интерес в которых не связан с исследованием диссипативных процессов. Более того, диссипативные процессы являются мешающим обстоятельством, а важные результаты

обнаруживаются в бесстолкновительном или близком к нему режиме. Теория гальваномагнитных явлений в металлах, связавшая зависимость компонент тензора сопротивлений от магнитного поля с электронным энергетическим спектром, служит примером теории, в которой результаты тем отчётливей, чем роль диссипативных процессов меньше. Это так и для теории аномального скин-эффекта.

Мой уход из теоретической электроники и переход в теорию твёрдого тела связан, как мне теперь представляется, с двумя обстоятельствами. Во-первых и прежде всего, с тем, что квантовая теория твердого тела очень интересовала Илью Михайловича. Во-вторых, я все больше узнавал об экспериментах, которые делались в Криогенной лаборатории УФТИ. Интерес к твёрдотельной тематике поддерживался разнообразными экспериментами, которые производились в отделе, руководимым Б.Г. Лазаревым.

Связь основных работ по электронной теории металлов, выполненных под руководством и при участии Ильи Михайловича Лифшица, с исследованиями уфтийских криогенщиков описана мною в статье “К истории электронной теории металлов (УФТИ, 50-е годы)”. Она была впервые опубликована в брошюре об-ва “Знание” “Илья Михайлович Лифшиц” (Москва, 1987; статья вошла и в мою книгу “Школа Ландау. Что я о ней думаю”, Троицк, “Тривант”, 1998, стр. 240).

Первой статьёй, в которой я воспользовался знаниями, накопленными во время работы по теории ускорителей, была наша работа “Кинетика разрушения сверхпроводимости полем высокой частоты” (И. М. Лифшиц, М. И. Каганов. ДАН СССР, 1953, т. 90. № 4, стр. 519). Эта статья – продолжение двух работ Лифшица, опубликованных раньше (одна – в ЖЭТФе, 1950, т. 20, вып. 9, стр. 834, другая – в ДАН СССР, 1953, т. 90, № 3, стр. 363). Во всей теории важную роль играет распределение электромагнитного поля в слое нормального металла, возникающего на поверхности образца за счёт разрушения сверхпроводимости. В зависимости от частоты колебания магнитного поля и величины длины свободного пробега электронов в слое нормального металла осуществляется либо нормальный скин-эффект, либо аномальный. Нами (Ильёй Михайловичем и мною) рассмотрен последний случай.

Я был привлечен к работе, в которой на начальном её этапе не принимал участия, как “знаток” теории аномального скин-эффекта. Об аномальном скин-эффекте я впервые узнал от А. А. Галкина, который вместе со своими учениками занимался

свойствами нормальных и сверхпроводящих металлов в переменных электромагнитных полях при низких температурах.

Теория аномального скин-эффекта тогда исчерпывалась работой Ройтера и Зондхаймера (G.E. Reuter, E.H. Sondheimer, Proc. Roy. Soc. A, 1948, v. 195, p. 336). Не было ещё ни работы А.Б. Пиппарда, ни нашей с М.Я. Азбелем.

При всём различии объектов (электроны металла и пучок заряженных частиц в ускорителе) методы решения некоторых задач физической кинетики, как я уже отмечал, очень близки. Надо только помнить, что *некоторых*, а отнюдь не всех. Речь идёт о тех задачах, в которых достаточно τ -приближения, либо можно вовсе пренебречь столкновениями. И в теоретической электронике, и во многих задачах электронной теории металлов дело обстоит именно так. Именно поэтому я и оказался хорошо подготовленным к решению многих задач электронной теории металлов.

Задачи теоретической электроники навсегда привили мне любовь к макроскопической электродинамике. Видно это по большинству моих работ, особенно по теории магнитных явлений, но о них я расскажу позже.

Сейчас о двух давних работах из области электродинамики сплошных сред. Обе работы не только доставили мне удовольствие когда-то, но удовольствие сохранилось до сих пор.

Первая: “Влияние термоэлектрических сил на скин-эффект в металлах” (М.И. Каганов, В.М. Цукерник, ЖЭТФ, 1958, т. 35, стр. 474). В виде задачи она вошла в “Электродинамику сплошных сред” Ландау-Лифшица (Москва, “Наука”, 1982, стр. 288). Идея работы проста. Пусть поверхность металла не совпадает с плоскостью симметрии кристалла. Тогда при падении электромагнитной волны на металл переменное электрическое поле имеет компоненту, перпендикулярную поверхности, а термоэлектрическая сила порождает поток тепла и градиент температуры. Решение задачи о скин-эффекте усложняется: к уравнениям Максвелла надо добавить уравнение теплопроводности и систему уравнений решать совместно, учитывая граничное условие для температуры. Оно зависит от того, с чем соседствует поверхность металла. Мы решили сформулированную задачу и получили выражения для импеданса и глубины скин-слоя. Все характеристики содержат термоэлектрический коэффициент Томсона. В случае хороших металлов поправки к обычным формулам малы, но для полуметаллов и вырожденных полупроводников значительны.

Идея второй работы ещё проще.

В случае ферромагнитного металла выражение для глубины скин-слоя δ содержит магнитную проницаемость μ – функцию частоты ω :

$$\delta = c / [2\pi\sigma\mu(\omega)\omega]^{1/2},$$

σ – удельная электропроводность, c – скорость света. При той частоте, при которой магнитная проницаемость $\mu = \mu(\omega)$ обращается в ноль, скин-глубина равна бесконечности, а металлическая пластина обладает селективной прозрачностью. Явление было названо *антирезонансом* и предсказано в короткой заметке (М.И. Каганов, ФМиМ, 1959, т. 7, стр. 288). В 1969 году селективная прозрачность магнитных пластин была экспериментально обнаружена в ИФП Б. Гейнрихом и В.Ф. Мещеряковым – сотрудниками А.С. Боровика-Романова (Письма в ЖЭТФ, 1969, т. 9, стр. 618), и я более подробно, чем в ФМиМ, изложил теорию в статье “Селективная прозрачность ферромагнитных плёнок” (Письма в ЖЭТФ, 1969, т. 10, стр. 336).

При исследовании взаимодействия частиц с волнами большое внимание привлекает черенковское излучение. Теория черенковского излучения оставила заметный след в моей научной биографии. На мою работу “Движение заряженной частицы в анизотропном диэлектрике с осевой симметрией” (ЖТФ, 1953, т. 23, стр. 507) была ссылка на стр. 448 первого издания “Электродинамики сплошных сред” (правда, с опечаткой: напечатано ЖЭТФ вместо ЖТФ). Во втором издании ссылку я не обнаружил. Особенно существенной мне представляется совместная работа с А. Г. Ситенко “О потерях энергии заряженной частицей, движущейся в анизотропной среде” (ДАН СССР, 1955, т. 100, стр. 681). В этой работе нам удалось (не без подсказки Ландау) разделить потери энергии на черенковские и поляризационные. При движении частицы в анизотропной среде это оказалось не вполне тривиальной задачей при том методе расчёта потерь, который мы использовали. В Доклады Академии Наук эта работа была представлена Л. Д. Ландау.

В 1958 году мы с В.Г.(Витей) Барьяхтаром вычислили интенсивность черенковского излучения при движении частицы через ферромагнитный диэлектрик (ЖЭТФ, т. 35, стр. 766), чем подтвердили результат А.Г. Ситенко: интенсивность излучения в μ раз больше, чем при движении через немагнитную среду с тем же показателем преломления (μ , как и выше, – магнитная проницаемость). Для излучения волн радиодиапазона этот факт существен. Но, кроме того, мы учли гиротропию среды, частотную и пространственную дисперсию магнитной проницаемости,

обнаружили излучение медленными частицами и т. д. Вычисления проводились методом Ландау, то есть использовалось выражение для работы силы радиационного трения.

В работах по излучению заряженных частиц можно увидеть ссылку на монографию Н. Бора “Прохождение атомных частиц через вещество” (Москва, Изд-во иностр. лит-ры, 1950). В цитированной выше работе “Движение заряженной частицы в анизотропном диэлектрике с осевой симметрией” есть пояснение: ссылка, по сути, не на монографию Н. Бора, а на приложение редактора перевода Я.А. Смородинского. На двух страницах изложен предложенный Ландау метод расчета потерь энергии заряженной частицей, движущейся через вещество с постоянной скоростью v . Удобство метода Ландау в том, что он не требовал вычисления потока электромагнитной энергии, а использовал формулу для полных потерь энергии в единицу времени $-evE$, E – значение электрического поля в точке нахождения заряда. Разделение потерь: что есть черенковское излучение, а что – поляризационные потери, решается путём анализа дисперсионного уравнения для электромагнитных волн. Метод Ландау очень упрощает расчёт⁷.

Прежде, чем “расстаться” с работами по теоретической электронике, несколько эмоциональных замечаний.

На всю жизнь я сохранил глубокую признательность Я.Б. Файнбергу. В годы учёбы все задачи воспринимаются принадлежащими к одному из двух классов: те, которые решены, и нерешаемые. Предложенные мне Яковом Борисовичем задачи убедили меня, что есть задачи, которые *могу решить я*. Без понимания того, что такие задачи существуют, не может жить и работать ни один творческий работник. И физик-теоретик, конечно.

В середине 70-х годов, а, может быть, и в начале 80-х, когда я ощущал себя целиком “принадлежащим” теории твёрдого тела, на семинаре в Институте физических проблем появился сотрудник Института радиотехники и электроники, который выразил желание получить у меня консультацию. Я согласился, и

⁷ Использование этого метода при решении задач по черенковскому излучению – характерная черта харьковских работ того периода. Их преимущество не только в простоте, но и в возможности одновременно с интенсивностью черенковского излучения вычислить поляризационные потери. Теоретики ФИАНа, начиная с И. Е. Тамма и И. М. Франка, использовали другие алгоритмы расчёта.

мой новый знакомый, захватив с собой довольно объёмистую сумку, прошёл за мной в теоротдел. Когда мы приступили к разговору, выяснилось, что его интересы связаны с теорией лампы бегущей волны, а сумка полна журналами, в каждом из которых есть моя или моя с соавторами статья. Прошло много лет, а я до сих пор помню, как мне было приятно узнать, что мои давние работы интересны. Принесла ли пользу моя консультация, не знаю.

И последнее. Коллеги признавали меня специалистом по черенковскому излучению. В частности, это проявилось в том, что я был приглашён Учёным советом ФИАНа в качестве одного из официальных оппонентов по докторской диссертации Б.М. Болотовского – очень приятное воспоминание. Главным оппонентом на этой защите был И. Франк, получивший Нобелевскую премию по физике вместе с И.Е. Таммом и П.А. Черенковым за открытие черенковакого излучения.

Опоздал

Первой работой с моим участием по электронной теории металлов была работа по сверхпроводимости. Я уже упоминал это. Из теории сверхпроводимости достаточно было знать, что сверхпроводимость разрушается магнитным полем, когда оно превышает определённое критическое значение, а переход из сверхпроводящего состояния в нормальное – переход первого рода. И всё: чисто феноменологическая работа.

Сверхпроводимость была открыта в 1911 году. К началу 50-х годов, когда я делал первые шаги в физике металлов, накопилась огромная литература по физике сверхпроводников. Трудно было разобраться, какие результаты важны для будущей теории, а какие не представляют заметного интереса. По-моему, среди физиков, занимающихся металлами, не было ни одного, которого не интересовала дразнящая загадка микроскопической теории сверхпроводимости.

Существует анекдот о великом немецком математике Карле Вейерштрассе, которого спросили:

– Если после смерти вы попадёте в рай и предстанете перед Богом, что вы у Него спросите?

Говорят, он ответил, не задумываясь:

– Где расположены нули ζ -функции Римана?

А вот действительно происшедший случай.

Мой близкий друг и коллега Липа Натанович Розенцвейг умирал. Большую часть суток он находился в забытии. Я заходил к нему и, если он не спал, рассказывал новости. В какой-то из дней, вернувшись из Москвы (жил я тогда в Харькове), рассказал ему в

общих чертах услышанную мною на семинаре Ландау в ИФП теорию сверхпроводимости (потом она получила название теории Бардина – Купера – Шриффера; правда, доклад был Н.Н.Боголюбова, почему так получилось – отдельная история) – теорию, использующую взаимодействие электронов с фононами для образования электронных пар. На несколько секунд его лицо преобразилось. В таких случаях говорят – осветилось. И слабым голосом Липа произнёс:

– Я рад, что успел узнать природу сверхпроводимости.
Но я забегаю вперёд.

1950 год. Опубликована известная работа В.Л. Гинзбурга и Л.Д. Ландау “К теории сверхпроводимости” (ЖЭТФ, 1950, т. 20, стр. 1064). В ней построена феноменологическая теория поведения сверхпроводников вблизи точки перехода⁸. В аннотации сказано: “Проведено решение уравнений для одномерного случая (сверхпроводящего полупространства и плоских пластин)”. Я понимал, что изучить новую теорию лучше всего, решив на её основе какую-либо задачу. Используя работу Гинзбурга – Ландау, рассмотрел переход сферы и цилиндра в сверхпроводящее состояние. Расчёты оказались довольно громоздкими. Справившись с ними, свои результаты я сообщил Виталию Лазаревичу. Вскоре я получил письмо от Гинзбурга, в котором он написал, что, во-первых, эти же задачи решил В.П. Силин, и его статья послана в ЖЭТФ, а, во-вторых, что по-настоящему интересно было бы рассмотреть случай магнитного поля, нормального поверхности сверхпроводника. Понял, что опоздал, но не желая совсем “потерять” полученные результаты, отправил статью в Труды Физического отделения физико-математического факультета ХГУ им. А.М. Горького, 1952, т. 3, стр. 25).

Рассказал об этом эпизоде не в порядке борьбы за приоритет. Никаких оснований у меня для этого нет. Дело в другом. Под влиянием совета Виталия Лазаревича я попытался понять, как ведёт себя сверхпроводник в магнитном поле, нормальном к поверхности образца, и понял, что задача мне не по плечу. Понял и оставил попытки заниматься теорией сверхпроводимости.

Теперь часто задумываюсь, какими критериями должен руководствоваться физик-теоретик при выборе темы работы.

⁸ В 2003 году В.Л. Гинзбургу именно за обсуждаемую работу вместе с А.А. Абрикосовым и Э.Дж. Леггеттом была присуждена Нобелевская премия “за пионерский вклад в теорию сверхпроводников и сверхтекучей жидкости” (цитата).

Конечно, в той блаженной ситуации, когда свобода выбора ему предоставлена. Я знал и знаю очень способных физиков-теоретиков, которые почти не “осуществились”, так как не могли заставить себя “спуститься” до уровня интересных конкретных задач, задач, не имеющих фундаментального значения. Решение же фундаментальных задач им не давалось. С другой стороны, сколько молодых научных работников одержимы желанием публиковаться вне зависимости от того, представляет публикация интерес или нет. Несколько лет назад я услышал термин “тиражировать”. Он возмутил меня своей откровенной циничностью. Единого рецепта нет, но те, кто умеют работать на границе своих возможностей, внушают большое уважение.

(продолжение следует)



Игорь Чубаров В.Н.Латышев

Предисловие



Интервью с заведующим кафедрой «Высшая алгебра» Мехмата МГУ, профессором Виктором Николаевичем Латышевым провёл доцент этой кафедры Игорь Андреевич Чубаров ещё в апреле 2008 года. Но так получилось, что до сих пор оно не было опубликовано. Оформляя к печати данный выпуск серии «Мехматяне вспоминают», я предложил Игорю включить в него и его интервью с Виктором Николаевичем. Грустно вздохнув, Игорь согласился на моё предложение. Не могу не выразить ему за это свою искреннюю благодарность. Расшифровку диктофонной записи этого интервью мы ниже и приводим.

Василий Демидович



Виктор Николаевич Латышев

ИНТЕРВЬЮ С В.Н.ЛАТЫШЕВЫМ

Ч.: Виктор Николаевич, мне хотелось бы узнать побольше о Вас и о Мехмате Вашей молодости.

Но сначала расскажите, пожалуйста, немного о себе и своей семье.

Л.: Немного о себе. Родился я в Москве 9 февраля 1934 года. Отец - Латышев Николай Алексеевич, мама - Алексеева Нина Иосифовна. Никто из них с математикой связан не был. У меня была сестра, которая умерла во время войны в возрасте 3 лет. Интерес к математике у меня пробудился в четвертом классе. Я окончил школу в июне 1953 года с золотой медалью.

Ч.: Вы сразу после школы поступили на наш факультет - не так ли? Расскажите, пожалуйста, как это происходило.

Л.: Да, на Мехмат МГУ я поступил сразу после школы.

Происходило это следующим образом. Так как я был медалистом, я проходил только собеседование. Оно мне сложным не показалось. Собеседование у меня принимал старший Демидович. Никаких других экзаменов при поступлении мне сдавать не пришлось.

Ч.: Но вот Вы уже первокурсник Мехмата МГУ. Кто у Вас были первыми лекторами по Математическому анализу, Алгебре, Аналитической геометрии, возможно, по программированию? И легко ли Вы влились в "студенческую атмосферу" Мехмата?

Л.: Мои первые лекторы таковы: по математическому анализу - Крейнс Михаил Александрович, по алгебре - Александр Геннадьевич Курош, по аналитической геометрии - Борис Николаевич Делоне. Ну а ЭВМ и программирования тогда просто не было.

Я достаточно легко вжился в студенческую атмосферу Мехмата. Что мне сразу пришлось по душе - это влюбленность студентов в науку, а также в поэзию, музыку, природу. Никаких других увлечений у нас особенно не было. Была преданность науке, а материальной стороной жизни мы тогда не интересовались.

Ч.: Как прошла Ваша 1-я сессия? Были ли трудности у Вас и Ваших однокурсников со сдачей зачётов и экзаменов?

Л.: Как прошла моя первая сессия? Я сдал ее на "отлично". У некоторых однокурсников были трудности, но должен сказать, что большинство студентов училось тогда на 4 и 5. Были, конечно, такие, кому было трудно, но они или уходили с факультета, или переводились на другие факультеты.

Ч.: Отсев был большой тогда?

Л.: Отсева тогда, как правило, не было. Мы старались своих двоичников подтянуть, давали им время, связывались с мамами, папами, бабушками. Так что велась активная работа, и отсева больших не было.

Когда я поступал, у нас было чуть ли не пятьсот человек. А хвостистов у нас было мало.

Ч.: Обучение тогда было ещё платным? И получали ли Вы стипендию?

Л.: Я получал стипендию, а обучение тогда было уже бесплатным.

Ч.: Вы с первого курса начали посещать спецсеминары и спецкурсы? Много ли их было тогда на Мехмате? Чей-нибудь спецкурс или спецсеминар Вам особенно запомнился?

Л.: Сразу с первого курса мы посещали спецсеминары и спецкурсы. На Мехмате их тогда было много. По всем сферам науки.

В то время современная математика формировалась, и очень многие спецкурсы и спецсеминары были посвящены проблемам современной математики. Среди спецсеминаров и спецкурсов хочу особенно выделить спецкурс моего будущего научного руководителя, Анатолия Илларионовича Ширшова. Слушал я и спецкурс Александра Геннадьевича Куроша, он был замечательным педагогом. Еще я бы отметил блестяще прочитанный курс тогда еще молодого учёного Юрия Васильевича Прохорова.

Мы все тогда посещали с десятков спецкурсов и спецсеминаров. Правда, не одинаково хорошо их понимая, но все равно это было интересно. Я, в частности, слушал и Нину Карловну Бари, и Мишину Анну Петровну, и Скорнякова Льва Анатольевича, и Шилова Георгия Евгеньевича.

Ч.: Курсовая работа в Ваше время писалась уже на II курсе. Под чьим руководством Вы её выполняли?

Л.: Да, курсовая работа писалась тогда на втором курсе. И я выполнял её под руководством Анатолия Илларионовича Ширшова.

Ч.: Выбор кафедры тогда происходил также на II курсе. Были ли тогда "агитационные встречи" кафедр с "выбирающими"?

Л.: В то время агитационные встречи кафедр со студентами не проводились. А интерес мой к кафедре алгебры сформировался на основании впечатлений, полученных от спецкурсов и спецсеминаров.

Ч.: Вот Вы выбрали "свою" кафедру - кафедру алгебры. Кто стал Вашим научным руководителем? Регулярно ли Вы с ним встречались или, как нередко сейчас бывает, подолгу "исчезали" из его поля зрения?

Л.: Я уже упомянул, что моим научным руководителем стал Анатолий Илларионович Ширшов.

В те времена встречи с научным руководителем были регулярными. Во-первых, мы регулярно посещали семинар,

который он вел. Во-вторых, мы посещали семинары, в которых он был участником, например, большой научно-исследовательский семинар по алгебре. Кроме того, были дни, когда научный руководитель встречался просто для того, чтобы поговорить со своими учениками о науке и за жизнь. Могли происходить встречи, если в своих стараниях студенты достигали каких-нибудь результатов - научный руководитель отдельно любил о них поговорить и их послушать.

Ч.: Когда Вы испытали "радость первого творческого успеха"? И когда Ваши исследования были впервые рекомендованы "к печати"?

Л.: Когда я испытал радость первого творческого успеха? Возможно, это было уже на 3 курсе, когда я решал какую-то небольшую проблему - по алгебрам Ли, и решить её мне удалось.

А первая моя работа, рекомендованная к печати, была выполнена на 5 курсе.

Ч.: Общение с какими математиками на Мехмате произвело на Вас особенное впечатление? Расскажите немного о них.

Л.: Какие математики произвели на меня особое впечатление? Этот список, конечно, трудно сделать полным, поскольку в то время на Мехмате МГУ была, говоря литературным языком, «могучая кучка», которая в значительной степени и создавала современную математику.

Здесь, прежде всего, я хочу вспомнить Александра Геннадьевича Куроша, неутомимого «борца» науки, всегда полного новых идей, создателя новых коллективов.

А также Павла Сергеевича Александрова, активно создававшего топологию.

Конечно же, Андрея Николаевича Колмогорова и Георгия Евгеньевича Шилова, на семинарах и спецкурсах которых мы узнавали основы современной математики - в частности, функционального анализа, предмета, ещё и названия тогда не имевшего.

Прекрасного лектора Бориса Николаевича Делоне, рисовавшего котов во время своих лекций и зрительно помогавшего нам ощутить, что такое аффинное преобразование. Кстати, Борис Николаевич говорил, что за свою жизнь надо «три раза по двадцать лет (!)» заниматься деятельностью в разных областях науки, и вообще рассказывал много интересного.

Не могу не упомянуть я и встречу с Михаилом Михайловичем Постниковым, совершенно замечательным учёным и человеком.

Вспоминается и немного мрачноватый на вид Александр Осипович Гельфонд.

Огромное впечатление производил Израиль Моисеевич Гельфонд с его замечательными лекциями по функциональному анализу, по коммутативным кольцам. На его знаменитом и очень посещаемом семинаре впоследствии мне пришлось выступать докладчиком.

Этот список можно продолжать бесконечно. В него следует включить, например, Петра Лаврентьевича Ульянова. И, конечно же, Дмитрия Евгеньевича Меньшова - человека очень интересного, увлечённого, чрезвычайно доброго, пренебрегавшего нормальными условиями существования, не видевшего ничего, кроме математики.

Очень много мне пришлось общаться с Иваном Георгиевичем Петровским - он долгое время был ректором, и я, занимая разнообразные партийные и административные посты, часто встречался с ним. А потом, уже став старше, я оказался заместителем заведующего Отделения математики Андрея Николаевича Колмогорова, встречи с которым у меня происходили систематически в течение десяти лет.

Ч.: После окончания Мехмата МГУ Вас сразу рекомендовали в факультетскую аспирантуру и были ли трудности при получении такой рекомендации, например, от учебной части - в дипломе имелись тройки, или же от общественных организаций - мало занимались общественной работой?

Л.: Я окончил Мехмат МГУ 1958 году и меня сразу рекомендовали в аспирантуру.

С получением такой рекомендации никаких трудностей не было. Передавать было нечего, так как не было троек. А общественной работой я всегда занимался «выше крыши», так как ещё будучи совсем юным занимал разные «общественные посты», в том числе и «по партийной линии».

Другое дело, что в аспирантуре мне пришлось быть мало. Дело в том, что через год после того, как я стал аспирантом, Александр Геннадьевич предложил мне выбрать: доучиться до конца или уйти добровольно и стать ассистентом кафедры алгебры. Выбирать надо было срочно, поскольку через некоторое время этой должности могло не быть. Поэтому я через год, по собственному желанию, ушёл из аспирантуры, без колебаний, и стал ассистентом кафедры высшей алгебры.

Ч.: Кстати, " общественная жизнь" на факультете тогда была, наверное, весьма бурной? Ведь это был период «хрущёвской

оттепели», когда расцветала факультетская самодеятельность, зарождалось "целинное движение", вспыхивали гласные политические дискуссии. Вы как-то принимали в этом участие?

Л.: Насчёт «хрущевской оттепели».

Вы говорите о расцвете при ней факультетской самодеятельности. Но она всегда была хорошей, она и сейчас хорошая. Вспомните наш университетский театр. Может быть, менялась время от времени так называемая тональность представлений, а тяга к искусству на факультете была всегда.

Что касается «целинного движения», то мне на целине побывать не пришлось, так как в то время я уже занимал какие-то должности. Однако формировать стройотряды, ездить по местам приходилось неоднократно. И некоторых из теперешних известных профессоров я тогда назначал командирами отрядов - сейчас мы вместе вспоминаем об этом с огромным удовольствием.

Насчёт гласных политических дискуссий ... Да, они иногда вспыхивали на Мехмате. Их, правда, было не очень много, и, в основном, они приурочивались к событиям, связанным с отдельными претензиями к отдельным математикам. А просто обсуждений политики у нас не было. Мы интересовались скорее наукой. Если быть откровенным, политикой мы занимались не так много. Принимал ли я участие в подобных политических дискуссиях? Ну, я принимал, конечно, какое-то участие. Бывало, приходилось защищать каких-то математиков - из этических соображений я не буду приводить их имен. К ним были некоторые претензии, но мы их отстояли - теперь это замечательные ученые. Мы с ними встречаемся и, с одной стороны, расстраиваемся, что это было, с другой стороны, радуемся, что это не повредило нашей дальнейшей жизни.

Ч.: Но поговорим теперь об аспирантских экзаменах. Трудно ли было их сдавать? Кто Вас экзаменовал? И всё ли "гладко" прошло?

Л.: Трудно ли было сдавать экзамены в аспирантуре... Да, должен сказать, в те времена сдавать экзамены в аспирантуре было трудно. Особенно трудно было выбирать так называемые вторые экзамены - их нужно было выбрать самому, и предмет должен был быть далеким от вашей специальности.

Я, например, в качестве второго экзамена выбрал классическую геометрию и сдавал её Герману Фёдоровичу Лаптеву, что было не так просто. Получил я отличную оценку, но для этого мне пришлось кое-что «взять на дом» - то есть, беседа не была однодневной. Все сдавали эти вторые экзамены довольно

тяжело - ведь требовалось достаточно полное освоение весьма далёкой от вас области, коли вы уж её выбрали.

Ч.: В аспирантуре Вы сразу стали серьёзно заниматься задачей, поставленной Вашим шефом - или, поначалу, позволили себе "расслабиться"? Ведь появилось свободное время, стипендия была уже «приличная», и можно было заняться своим культурным самообразованием - посещением спектаклей и концертов, изучением иностранных языков, серьёзным осваиванием шахмат и т. п. К тому же это было, наверное, время «обустройства Вашей личной жизни».

Л.: Нет, не расслабился.

Как я уже говорил, я ушёл из аспирантуры, чтобы работать на кафедре алгебры. Поэтому никакого свободного времени у меня не появилось - у меня были группы, в которых я преподавал.

Что касается обустройства личной жизни, то я женился на пятом курсе, хотя мы с моей будущей супругой заметили друг друга еще в школе - учились вместе. Мы поженились, потому что иначе нас бы распределили в разные места. А живем мы с ней вместе уже более 50 лет.

Посещали ли мы спектакли и концерты? Да, мы ходили в театры, на концерты, смотрели спектакли, балеты. Я любил музыкальные действия. Шахматы я серьезно не осваивал.

А вот своими математическими задачами я занимался активно. Без ложной скромности могу сказать, что, хотя многие задачи мне предлагал мой научный руководитель, я серьёзно занялся задачей, которую нашел сам у Шпехта. Это знаменитая впоследствии проблема Шпехта о конечной порождённости тождеств ассоциативной алгебры. Мне кажется, я первым её заметил, и после в России появился интерес к ней. Потом я еще дважды менял математическую профессию, сейчас я занимаюсь компьютерной алгеброй.

Ч.: С написанием кандидатской диссертации Вы "уложились в срок"? Какова была её тема?

Л.: Успел ли я в срок написать кандидатскую диссертацию? Я ушёл после первого года аспирантуры - поступил в 1961 году и ушел через год. А защищал диссертацию в 1963 году, уже не будучи аспирантом. Так что не понятно, как считать - в срок или не в срок? Ну, в трёхлетний срок я, конечно, уложился, но в одногодичный - нет.

Ч.: Расскажите, пожалуйста, поподробнее о Вашем научном руководителе. Хотя бы один пример, характеризующий его как личность.

Л.: Мой научный руководитель был замечательным. Это был Анатолий Илларионович Ширшов.

Он родился в Сибири, в небольшом городке Алейске, и долгое время работал там просто школьным учителем. Из того же городка был мой сокурсник Толя Катко, который рассказывал, что, бывало, выйдешь ночью на улицу, а огонёк у Анатолия Илларионовича горит, он занимается.

Анатолий Илларионович закончил, частично заочно, педвуз, а потом поступил в аспирантуру Московского Университета. Человек это был удивительный. Во-первых, это был очень талантливый математик, замечательный комбинаторщик, хотя доказанные им теоремы иногда были не на том языке, на котором сейчас используются. Так, выяснилось, что базис Грёбнера в нынешнем виде появился у него раньше всех в 1962 году, но так как он не писал по-английски, западные ученые это пропустили. Сейчас, правда, они это знают и называют не «Базисом Грёбнера», а «Базисом Грёбнера-Ширшова». Есть у него и много других замечательных теорем, в частности, о высоте в теории тождеств. Его обзор «Кольца, близкие к ассоциативным» 1958 года послужил толчком для работ на много лет вперёд, да и сейчас его значение не исчерпано.

В жизни это был человек чрезвычайно скромный. Я впервые видел талантливого руководителя, который никогда не суетился, не повышал голоса. Но то, чем он руководил, всегда преуспевало, и всё было в порядке. Потом, по приглашению Анатолия Ивановича Мальцева, он уехал в Новосибирск, где в 1963 году возник Новосибирский Академгородок. Директором Института математики там был Сергей Львович Соболев, который много занимался наукой и много ездил. А его заместителем стал Анатолий Илларионович Ширшов. И в течение 15 лет он успешно руководил этим институтом.

Анатолий Илларионович никогда не любил занимать в президиуме видных мест. Был очень скромным, искренне преданным науке. Любил поэзию и фантастику - я имею в виду литературу. Одна из его комнат в доме была занята полностью литературой. Есенина он знал наизусть, и если кто-нибудь начинал читать Есенина, и в каком-то месте вдруг произносил неправильное слово, Анатолий Илларионович его тут же поправлял, что действительно свидетельствовало о его удивительном знании поэзии Есенина.

Впоследствии нас с Анатолием Илларионовичем связывала дружба. У него была замечательная жена, широкой души человек - она, к сожалению, умерла, совсем недавно. Я с ней

связывался и после смерти Анатолия Илларионовича. Приезжал в Новосибирск, где он похоронен. И всегда, когда я приезжаю в Новосибирск, я стараюсь навестить его могилу.

Мы, его ученики, сложились и поставили памятник на его могиле.

Ч.: Значит, на Мехмате МГУ его период продолжался лет пятнадцать? Или даже меньше?

Л.: На Мехмате МГУ, из-за отъезда в Новосибирск, меньше. Но я скажу так: с 1958 по 1962 год я постоянно встречался с ним здесь. А в 1962 году, как я уже сказал, по приглашению Анатолия Ивановича Мальцева он уехал в Новосибирск. Там он стал членом-корреспондентом Академии Наук СССР.

Ч.: А кто был у Вас оппонентом по защите кандидатской диссертации? И её защита произошла "гладко" или возникали "опасные моменты"?

Л.: Должен, к своему стыду, признаться, что я позабыл всех своих оппонентов...

Помню, что по какой-то защите (не по кандидатской ли диссертации?) одним из оппонентов был Зенон Иванович Борович. Это тоже был замечательный математик и чудесный человек, проживавший в Ленинграде. Вот его я помню. А остальных оппонентов я что-то запамятовал. Но вот помню Зенона Ивановича Боровича. С ним у меня потом были весьма тесные научные и дружеские контакты, вплоть до самой его смерти.

Ч.: Вы начали преподавать ещё до защиты своей кандидатской диссертации. Возникали ли трудности при проведении занятий? Много ли Вы к ним готовились?

Л.: Да, я стал преподавать до защиты кандидатской диссертации. Были ли у меня трудности с проведением занятий? Ну, конечно, я готовился, тщательно обдумывал всё.

В то время Александр Геннадьевич Курош, заведующий нашей кафедрой, практиковал посещение занятий и затем, не называя имён, разбирал отдельные моменты проведения этих занятий, критиковал или наоборот, просил взять на вооружение. Он всегда учил, как надо преподавать. В частности, говорил, что если у преподавателя не пересыхает горло, когда он выходит из аудитории, значит это не настоящий преподаватель. У меня горло пересыхало.

Представлял ли я себе доску с написанным на ней текстом, который я должен изложить на следующий день? Да, представлял. Приходилось и работать над собой. Но такого ощущения, что у меня что-то совсем не получается, не было. Хотя,

конечно, были моменты, которые я потом исправлял - в частности, своё отношение к двоечникам и к отличникам.

Я, например, понял, что нельзя всё время заниматься только двоечниками, и что надо уделять больше внимания отличникам. А в наше время нас, как-то, призывали, больше работать с двоечниками.

В общем, методические моменты мы, конечно, обдумывали.

Ч.: То есть, обмен опытом на кафедре происходил, да? Не только один Александр Геннадьевич давал советы, правильно?

Л.: Нет, конечно, не только он один!

Должен сказать, что, например, у нас на кафедре замечательным педагогом была Анна Петровна Мишина. Она очень помогала в составлении контрольных, объясняла, как их нужно проводить. Лев Анатольевич Скорняков однажды сказал: «Анна Петровна дала мне контрольные - и их мне хватило на всю жизнь». Этого действительно могло хватить на всю жизнь. Анна Петровна всегда очень любезно, аккуратно, приятно начинала разговоры о преподавании, оказывала реальную и существенную помощь.

Вообще, на наших кафедрах обсуждать методику преподавания тогда было принято гораздо больше, чем сейчас.

Ч.: А кто был Вашим 1-ым аспирантом?

Л.: Так... Кто был моим первым аспирантом... Может быть, Пихтельков Сергей Алексеевич? Потом, видимо, был Барбаумов Виктор Ефимович. Я не называю иностранных аспирантов. Ну, потом их стало очень много.

Ч.: В каком году Вы защитили свою докторскую диссертацию и как она называлась? Кто были по ней оппоненты?

Л.: Докторскую диссертацию я защитил в 1978 году. Одним из оппонентов на ней был, помнится, Анатолий Владимирович Яковлев - нынешний заведующий кафедрой алгебры в Санкт-Петербурге. А вот остальных оппонентов, как я уже говорил, я уже не помню... Кто-то был из Новосибирска.

А вот как она называлась... Точного названия не помню. Но помню полученные в ней результаты и её примерное название - «Полиномиальные тождества ассоциативных алгебр».

Ч.: С какого года Вы являетесь профессором Мехмата МГУ?

Л.: Профессором Мехмата МГУ я стал в 1979 году. На кафедре же, как я ранее упоминал, работаю с февраля 1961 года. Получается, что уже 47 лет.

Ч.: Разрешите ещё личный вопрос? Кто по профессии Ваша супруга (если можно, её имя и отчество)? Есть ли у Вас дети и чем они предпочли заняться - в частности, не пошёл ли кто-нибудь из них по стопам отца и стал математиком?

Л.: Кто по профессии моя супруга... Она специалист по деревообработке. Она работала в министерстве соответствующего профиля и заведовала мощностями предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности в Советском Союзе. Имя и отчество - Эмилия Алексеевна, в девичестве Попова, теперь Латышева.

У нас есть сын Алексей. Он окончил Московский Автомеханический институт. По моим стопам он не пошёл - он любитель техники. Поэтому ему пришлось самому пробивать себе дорогу в той области. Он работал на Автозаводе имени Ленинского комсомола. Но когда произошла перестройка и все предприятия рухнули, ему пришлось менять свою профессию. Сейчас этот завод «лежит», как говорится, а его инженеры ещё не нашли себе применения в нашей новой жизни.

Ч.: И такой вот вопрос: довольны ли Вы как сложилась у Вас судьба и ни о чём ли Вы не жалеете?

Л.: Ну, если иметь в виду мою персональную судьбу, то можно сказать, что я доволен.

Если говорить о личной жизни - супругу я выбрал правильно. Мы прожили с ней всю жизнь. С сыном у нас прекрасные отношения, мы очень любим друг друга. А то, что он не стал математиком - не важно. Я не считаю, что дети математиков обязательно должны быть математиками.

Но я сожалею о том, что та атмосфера, в которой я жил, то отношение к науке, сейчас рухнули. Что в обществе и среди молодежи сейчас царствуют те приоритеты, которые мне, конечно, не по душе. Вот так.

Может быть, об этом сожалеет любой человек - может быть. Но мне кажется, что с этим моему поколению «ОСОБЕННО ПОВЕЗЛО».

Интимный вопрос, сожалею ли я об ошибках молодости... Нет, я не сожалею о них. Я считаю, что ошибки есть у каждого человека. Но таких ошибок, которые повлияли бы в дальнейшем на мою линию жизни, у меня не было. Профессию выбрал правильно, жену выбрал правильно. Может быть, стоило иметь побольше детей. Но тогда были трудные обстоятельства - и квартирные, в том числе. Вот об этом я, конечно, сожалею. Детей должно было быть больше.

Ч.: Хотелось бы еще вернуться к кафедре. Когда я учился, существовал ещё вычислительный практикум по алгебре. Вы были одним из тех, кто руководил этим практикумом. Как это всё зарождалось?

Л.: Когда я был курсе на втором, началась волна прикладных и востребованных областей математики. Тогда в них попробовали свои силы очень многие математики. Например, Лев Анатольевич Скорняков в сборнике «Автоматы» (в желтенькой обложке) написал статью «Нервные системы». Андрей Андреевич Марков сказал, что вообще ушел из аксиоматической математики в конструктивизм, хотя в конце жизни стал очень ценить свои труды по фундаментальной математике. Тогда же были первые шаги в направлении усиления вычислительных средств.

В моём поколении развитие этой области происходило следующим образом. Мы приближали многочленами Чебышёва функции и все расчеты делали на арифмометре - у нас не было логарифмической линейки, как в технических вузах. Потом появился «Рейнметалл» - это арифмометр с высшим образованием, который питался электричеством. Потом появились ЭВМ и программирование, которое я студентом не застал. Но были дополнительные курсы для преподавателей, и я их проходил.

Затем появились первые БЭСМы. Они стояли и у нас в вычислительном центре. Это были огромные монстры с тысячами предохранителей, в них журчала вода для охлаждения, были перфоленты и так далее. Потом стали появляться современные вычислительные средства. Появился такой предмет, как математический практикум.

Будучи молодым преподавателем, я возглавил этот практикум. Там было несколько разделов - и линейная алгебра, и линейное программирование. Я привлек к этому предмету таких ученых, как Александр Юрьевич Ольшанский и Юрий Питиримович Размыслов - тогда они не были такими знаменитыми учеными. Привлэк и Шульгейфера Ефима Григорьевича.

Не все они потом пошли по этим стопам. Но Размыслов написал книжку, совместно с безвременно ушедшим от нас Серёжей Ищино (примеч. Д.: Сергей Яковлевич Ищенко погиб, попав под машину), у него интерес продолжался дольше.

Сам я составлял задачи по линейному программированию для математического практикума. Составил несколько таких задач и алгоритм для их размножения. Поэтому целые группы студентов не знали, что фактически решают одну и ту же задачу, которая меняется легким транслятором. Но потом на мой практикум попал

младший Михалёв и угадал алгоритм для своей группы. Я пришел к выводу, что придется усложнить алгоритм размножения.

Конечно, я искренне проявлял определённый интерес к этому предмету. Но как-то Колмогоров отметил, что при появлении востребованных областей возникают и «профанационные» исследования. И в этой области стали появляться такие задачи, которые рекомендовали кормить корову одним мелом - задачи о рационе. Появились даже школьные задачки, в которых задачи надо было формулировать не на абстрактном уровне, а чтобы там обязательно участвовали водопроводные трубы, пилы и тому подобное.

В общем, расплодившиеся в этой области «профанационные» постановки задач заметно ослабили мой к ней интерес. Но к серьезным моментам такой деятельности он, правда, остался. Выразился он в том, что сейчас я занимаюсь компьютерной алгеброй.

Ч.: После Александра Геннадьевича Куроша некоторое время заведующим кафедрой работал Олег Николаевич Головин. Может быть, Вы скажите несколько слов о нём?

Л.: Олег Николаевич Головин сначала работал в техническом вузе, а потом был приглашён к нам на работу Александром Геннадьевичем Курошем.

Олег Николаевич был скромным человеком. Брат его - известный физик. Сам он занимался теорией групп.

Олег Николаевич очень много размышлял о жизни, в частности, почему она с каждым годом летит всё быстрее. Находил этому своё обоснование, считал, что самое полезное - это ходьба. Поэтому всю жизнь свою предпочитал отдыхать на Оке, где много ходил.

Олег Николаевич был очень организованным человеком, на него всегда можно было положиться. И когда Александр Геннадьевич болел, именно Олег Николаевич сохранял все традиции на кафедре. Поэтому именно его, в качестве временного руководителя кафедры, избирал Александр Геннадьевич.

В то же время, сам Олег Николаевич говорил, что у него нет таких качеств, как у Александра Геннадьевича, и просил найти заведующего кафедрой на длительный срок.

В то время у нас часто выступал работавший в «Стекловке» ученик Игоря Ростиславовича Шафаревича Кострикин Алексей Иванович. С ним у нас сначала были чисто научные отношения. Но потом так оказалось, что мы с ним, совершенно случайно, поселились рядом - наши дома разделяла только дорога.

Когда же стал вопрос, кому стать заведующим кафедрой, то сначала мы предложили это Шафаревичу. Но он отказался по разного рода причинам. И мой взгляд тогда остановился на Кострикине, уже известном учёном, члене-корреспонденте Академии Наук.

Алексей Иванович тоже долго не соглашался, говорил, что не имеет достаточного опыта преподавания. Но я уже к тому моменту занимал положение на факультете, которое позволяло влиять на решение кадровых вопросов.

И мы выбрали Алексея Ивановича. И не ошиблись. Он полностью сохранил традиции кафедры и успешно заведовал ею около 29 лет, до своей смерти в 2000 году. Наш выбор, по-моему, был сделан удачно.

В целом, плеяда заведующих нашей кафедрой такова: сначала ею заведовал Отто Юльевич Шмидт (с 1929 по 1949 годы), затем - Александр Геннадьевич Курош (формально с 1949 по 1972 годы, но на самом деле, зная, как была организована жизнь Отто Юльевича, можно сказать, что Александр Геннадьевич руководил кафедрой все 30 лет), ну а потом кафедру возглавлял Алексей Иванович Кострикин (тоже почти 30 лет).

Я думаю, что запас марафонов заведования кафедрой исчерпался, и вряд ли следующий заведующий кафедрой будет ею руководить десятками лет. А это, так сказать, классики, о которых мы долго будем вспоминать, это наши замечательные люди и «научные маяки».

Ч.: Еще скажите, пожалуйста, несколько слов об Игоре Владимировиче Проскурякове.

Л.: Игорь Владимирович Проскуряков - незрячий математик. Он очень любил математику и преподавание. Я учился у него, потом стал его другом. По всем отзывам это был блестящий преподаватель и скромный человек. С задачником, который он создал, сложно конкурировать даже сейчас, по его доступности и полноте.

Это был оригинальный, очень интересный человек. С ним можно было о многом поговорить. Случалось, что мы задерживались вдвоем на кафедре и, когда уходили, он всегда спрашивал: «А свет мы выключить не забыли?». Всегда это спрашивал. Очень об этом заботился.

Его можно отнести к классикам факультетского преподавания, как и другого незрячего математика, Алексея Серапионовича Пархоменко. Они, кстати, дружили. Но Алексей Серапионович был другой - очень громким и настойчивым. А

Игорь Владимирович был неспешным, спокойным, умевшим создать на кафедре примирительную обстановку.

Сейчас на кафедре иногда заходит дочь Игоря Владимировича, в основном, в связи с переизданием его задачника. Мы сидим, о многом вспоминаем.

Ч.: Ну что ж, спасибо Вам большое, Виктор Николаевич. Вы, конечно, с присущей Вам скромностью, период последних лет не упомянули, но мне хотелось бы Вам пожелать успешного продолжения этой череды заведующих кафедрой.

Л.: Ну, я не думаю, что судьба отпустит мне так много времени...

Ч.: Ну, в любом случае, доброго Вам здоровья и реализации всех намеченных планов.

Л.: Спасибо!

Апрель 2008 года



Елена Матусевич

Источники петровской утопии, или Петербург как азиатский город

*Город пышный. Город бедный.
Дух неволи. Стройный вид.
Свод небес зелёнобледный.
Скука, холод и гранит.*



утопии и архитектуры много общего: и та, и другая форма творчества стремится сформировать пространство в соответствии с неким идеалом. Их общая природа нигде так не очевидна, как в Петербурге, где архитектура является воплощением петровского замысла. Действительно, утопическая природа северной столицы давно стала общим местом. Еще Достоевский называл Петербург “самым умышленным”, то есть искусственным, русским городом. Рассуждения об утопичности петербургского проекта носят, однако, общий характер, упоминаемый безотносительно какой-то определенной утопической модели. Так, исследователи Быстров и Полякова замечают, что “Петербург – *утопия*, город, по замыслу, идеальный, а по воплощению искусственный. Как всякая утопия, он лишен истории или, точнее, его история есть “ускоренно пройденная история Запада.”¹ В основе данного эссе лежит гипотеза, согласно которой утопическая природа Петербурга, возможно, имеет отношение к утопической концепции Платона, так, как она передана в литературно-философской книге Томаса Мора *Утопия*.² Во всяком случае, утопии Платона и Мора, скорее всего, являются знаками, входящими в петровский замысел. Эта, на первый взгляд, неправдоподобная связь петербургской

¹ Н. Л. Быстров, И. Г. Полякова, “Петербург как утопия: философско-семиотический этюд”. *Известия Уральского государственного университета*, 29 (2004), pp. 43-51.

² Английская версия статьи вышла декабре в журнале *Cross Currents* в Нью-Йорке.

архитектурно-ландшафтной утопии с утопиями литературными касается одного из самых важных компонентов идеального государства Платона: идеи общества как государственной машины. Этот компонент платоновского *Государства* был сформулирован Луисом Мамфордом в его блестящей работе “Утопия, Город и Машина.”³ По мнению Мамфорда, социальная модель Платона ориентирована не на будущее, как это принято считать, а на прошлое. Мамфорд убедительно доказывает, что прототипом государства Платона, модель которого легла в основу *Утопии* Мора, является не греческий полис, а древнеазиатская деспотия египетского или месопотамского образца. Платон писал *Государство* раздосадованный после Пелопоннесских войн, в которых греческий полис, вечно подвижный и потому нестабильный, показал свою уязвимость для врагов. Мамфорд полагал, что великий грек ностальгировал по непререкаемому порядку и жесткой организации древнеегипетского или древнемесопотамского города, ведь “весь порядок и каждодневная дисциплина идеального государства Платона служат одной единственной цели: готовности к ведению войны [...]”⁴ Именно через Платона классические элементы древнеазиатской деспотии навсегда входят в концепцию городской утопии: обычно географически изолированной, строго стратифицированной, иерархической, построенной по единому плану, неподвижной и подчиняющейся непререкаемому авторитету правящей верхушки. В сущности, если вдуматься, эта связь лежала на поверхности, ведь всякая сакральная деспотия всегда утопия, так как деспотия стремится построить, то есть дать физическое и социальное бытие, некоему единому и единственному, а, значит, тотальному и тоталитарному, высшему смыслу.

Древневосточное государство имеет вполне конкретные и хорошо известные характеристики, перечень которых как раз и вызвал изначальную, казавшуюся столь маловероятной, ассоциацию с Петербургом. Однако дальнейший анализ доводов Мамфорда, в их приложении к утопическим моделям Платона и Мора, постепенно делал эту ассоциацию не столь уж невозможной.

³ Louis Mumford, “Utopia, the City and the Machine,” *Utopias and Utopian Thought*, ed. Frank E. Manuel, Boston: The Riverside Press Cambridge, 1966, 3-25.

⁴ Mumford, 6: “Already Plato was nostalgic of the archaic Egyptian or Mesopotamian, city’s order and organization. the constitution and daily discipline of Plato’s ideal commonwealth converge to a single end: fitness for making war.”

Итак, вот эти признаки. На Древнем Востоке город являлся созданием одного владыки, по знаменитому выражению Ролана Мартина (Roland Martin) “un fait de prince” — “творением царствующей особы.” Первым зданием в древнеазиатском городе, а также его центром, всегда является сакральное строение, освящающее власть властелина-основателя города: “Самым первым действием восточного владыки, самым ключом к его авторитету и власти является возведение храма, окруженного стенами.”⁵ Такой город становится не просто торговым и административным центром, постепенно развившимся из первичного поселения, и даже не столицей государства, но его символом. Тут важно понять качественную разницу между использованием символов, что всегда было частью любой культуры, и символичностью как цели самого основания города-знака. Всякий сакральный символ претендует на вечность. Как вневременный и а-временный сакральный конструкт, город-символ не может и не должен меняться. Символическая природа такого города требует к себе особого отношения и особым образом формирует сознание своих жителей: здесь не город существует для людей, а они для него. Для поддержания преемственности сакрально-деспотического государства-символа необходим сильнейший центральный контроль и жесточайшее господство социального над психическим, в чем и заключается природа власти (И.П. Смирнов).⁶ В таком государстве, кроме фараона, царя, владыки, все остальные, от главного архитектора до последнего нищего — холопы. Необходимым условием поддержания гигантской машины, которой является древнеазиатский город, является полное подчинение всякой личной автономии, кроме царской, единой цели коллективного могущества. Такое мироустройство, однако, ни в коем случае не мешает, а, наоборот, способствует превращению древнеазиатского города-символа в монументальное произведение искусства. Более того, именно такая, сакрально-деспотическая организация дела одна и может обеспечить поражающие воображение темпы строительства, размах, грандиозность замысла и единство стиля архитектурного комплекса, который представляет из себя древнеазиатский город. Отдельным, пусть и очень богатым свободным гражданам сие не под силу, да и не по вкусу. Могут

⁵ Мамфорд, 12: “The king’s first act, the very key for his authority and potency, is the erection of a temple within a heavily walled enclosure.”

⁶ И.П. Смирнов, *Бытие и творчество*, Blaue Hörner Verlag, 1990, 68.

быть отдельные роскошные дворцы, особняки, виллы, но не “симфония в камне”. Более того, эстетически выраженное могущество государства служит его дальнейшему укреплению, ибо наполняет гордостью не только владык, но и, ничуть не в меньшей, если не в большей степени, их холопов. Такое сочетание деспотии и красоты исключительно долговечно и стабильно, ибо внешнее совершенство форм, гордость за свою державу, трепет и восхищение, внушаемые ею соседям и врагам, заставляют холопов в большей степени, чем примитивный страх, не только смириться со своей участью, но даже принимать активное участие в поддержании и восхвалении эстетически оформленной государственной машины. Так силы, превратившие никому до того неизвестное место в гигантское произведение искусства, создают себе этим самым тюрьму, в которой агенты властелина, его глаза и уши, из инженеров становятся ее охранниками.⁷ Здесь храм, тюрьма, город, государство сливаются в одно эстетически гармоничное целое, становясь коллективным идолом. Достаточно посетить ассирийскую секцию Британского музея или знаменитые Вавилонские ворота Пергамонского музея в Берлине, чтобы это почувствовать. Раб счастлив отдать свою ничтожную жизнь во имя коллективного могущества тем легче, чем более внешне впечатляюща, гармонична, полна тайн и сакральных смыслов форма этого могущества. Чем вам не служение прекрасному?

Несколько измененно (во главе его *Государства* находится сословие воспитателей, а не династический владыка), но те же принципы наблюдаются в концепции *Государства* Платона: ценой божественной утопии являются полное подчинение центральной власти, принудительный труд, односторонняя связь (от власти к массам без или с минимальной обратной связью), жесткая регламентация жизни и постоянная готовность к войне. В таком государстве элемент статики резко превалирует над динамикой, что и обеспечивает поразительную стабильность, которую мы наблюдаем, скажем, на примере Древнего Египта. Ведь сакральный конструкт по определению развиваться не может. Идеальное государство, также как и древнеазиатская деспотия — это всегда замкнутое на себя, самодостаточное образование, которое не способно и не заинтересовано в общении с другими государствами из-за

⁷ Mumford, 17: “In other words, the disciplined forces that transformed the humble human community into a gigantic collective work of art turned into a prison in which the king’s agents, his eyes and hands, served as jailers.”

непрития самой идеи развития человеческой цивилизации. Ведь для идеального государства развитие — это повреждение, деградация, ибо это государство уже является идеалом. Так, государство Платона космично и потому неизменно.

Эти же признаки присутствуют в Петербурге. Само основание города было актом войны со Швецией. Город основан и отчасти спланирован по единоличной воле деспота как символ обожествленной государственной власти. Известно также, что Петр Великий относился к будущему городу как к воплощенному идеалу и называл свое детище “парадизом” (раем). Первым зданием в нем была Петропавловская крепость, военно-сакральное сооружение, с самого начала своего существования использовавшаяся в качестве главной политической тюрьмы России. О количестве человеческих жертвоприношений на алтарь будущего идеала красоты и гармонии русскоязычному читателю напоминать излишне. Благодаря тотальной мобилизации человеческих и материальных ресурсов всей страны, Петербург стал гигантским произведением искусства, островом геометрии посреди океана коренной бесформенности или, по словам самого Петра, светом среди тьмы. Создание города-символа, в котором не город служит людям, а люди городу, с самого начала являлось для Петра самоцелью. Архитектурная утопия Петра как нельзя лучше иллюстрирует собой мнение Ницше, считавшего, что утопия всегда является маской, где под поклонением некоему идеалу всегда скрывается ненависть к существующей жизни.⁸ Как и в случае с Платоном, искавшим альтернативу греческому полису, петербургская симфония в камне является воплощением ненависти Петра к старой России.

Хотя многие из признаков платоновской деспотической утопии: отсутствие динамики развития, изолированность, жесткая социальная дисциплина, регламентация, мы находим и в *Утопии* Мора, между моровской *Утопией* и Петербургом также прослеживаются интересные дополнительные параллели. Так, в отличие от космичной модели Платона, символизированной солнцем, модель Мора горизонтальная, плоская, и полностью рукотворная. Утопия Мора, так же как и Петербург, это город, “созданный вопреки Природе и находящийся в борьбе с нею”.⁹ Государство Утопия построено на берегу моря (именно по морю

⁸ Philippe Mengue, “Deleuze et la question de l’utopie”: “ [...] moment de l’utopie ; on cache la haine de la vie sous l’adoration d’une idole.” p. 14, philippe.mengue@wanadoo.fr

⁹ Лотман Ю.М. *Внутри мыслящих миров*. Москва, 1996, С. 321

достигает ее путешественник Рафаэль Хислодей, Raphael Hythloday). В отличие от Платона, Мор как бы ‘возвращает’ утопии монархический уклад, хотя и продиктованный, конечно, совсем иными, современными ему, соображениями. Его Утопию основывает молодой и энергичный король-новатор, сумевший в корне перестроить традиционное и дурно организованное государство на новый лад. Кроме того, что король Утоп лично основал и спроектировал свой город, он также, интересное совпадение, мобилизовал все население окрестных земель на рытье каналов, отделивших идеальный город от материка, и сделавшими таким образом из него остров. Именно так И. П. Смирнов определяет Петербург – как “островную, оторванную от национального пространства столицу” – как ‘у-топос’.¹⁰ У Мора короля звали Утоп (King Utopus), и он построил Утопию. Петр построил Петербург. Основывать и называть города в честь себя вовсе не было в Европе обычным делом. Ни Александр Македонский, ни император Константин не основали города, которые впоследствии стали носить их имена. Они уже были. Единственным прецедентом до 18 века является польский город Казимеж, основанный в 1335 польским королем Казимиром Великим.¹¹

Но, может быть, все эти совпадения случайны? Ведь ни Платона, ни других древних философов царь Петр, скорее всего,

¹⁰ Смирнов И. П. *Бытие и творчество*. Marburg, 1991, С. 91 и 104.

¹¹ В Индии, есть, правда, современник Петербурга розовый город Джайпур (Jaipur), основанный в 1727 в качестве новой столицы государства, и лично спланированный махараджей Савай Джай Сингхом II (Maharaja Sawai Jai Singh II, годы правления 1699—1744), в честь которого назван город. Интересно, что Махараджа также лично заложил город и принимал непосредственное участие в его строительстве в соответствии с последними достижениями архитектуры. Джайпур тоже построен по строгому геометрическому и прямоугольному плану, и разделен на девять частей, в соответствии со знаками Зодиака. Несмотря на такое ‘космическое’ сходство с моделью Платона, Джайпур тем не менее имеет мало общего с деспотической моделью древнего Востока. Из девяти прямоугольных ‘мандал’ только две отводились под государственные здания: дворцовый комплекс и обсерваторию. В центре Джайпура, в отличие от Петербурга, находится рыночная площадь с двадцатью семью (9 умножить на 3) торговыми лавками, напоминающими Гостиный Двор в Петербурге.

не читал. Узнать же в точности, читал ли Петр книгу Томаса Мора тоже, скорее всего, не удастся. Можно, однако, с относительной уверенностью утверждать, что об *Утопии*, на которую *Государство* и *Законы* Платона оказали прямое и решающее влияние, Петр знал.¹² Хорошо известно, что во время своего длительного пребывания в Лондоне в 1698 году, Петр коротко сошелся и практически не расставался с переводчиком *Утопии* на английский язык, епископом Солсбери, Гильбертом Бернетом (Gilbert Burnet, 1643-1715). По рассказам очевидцев, Петр встречался с Бернетом по много часов каждый день. 19 марта 1698 года в письме своему другу доктору Фоллу (Dr. Fall), Бернет писал, что молодой царь так привязался к нему, что практически не отпускает от себя.¹³ Значение этого сближения огромно. Венский дипломат Иоганн Филипп Хоффман (Johann Philipp Hoffman) писал в своем шпионском рапорте, что Петр “особо отличал Бернета, проводя с ним долгие часы за обсуждением государственного устройства и вопросов морали.”¹⁴ По одним источникам Бернет не нуждался в переводчике, так как Петр говорил на голландском, которым епископ также владел свободно, по другим, они беседовали через переводчиков. В то время как российские источники приписывают Петру знание многих европейских языков, западные историки считают, что царь хорошо знал голландский и, может быть, немного французский, но не более того. Правда может находиться где-то посередине. Словарного запаса Петра могло хватать на обычный разговор, но не на философскую беседу.

Свой перевод *Утопии*, которым пользуются до сих пор, Бернет сделал в 1684, то есть за четырнадцать лет до приезда

¹² Основополагающее, и открыто заявленное в *Утопии*, влияние идей Платона на Мора хорошо известно, изучено и не вызывает сомнений. См: D. Baker-Smith, “The escape from the cave: Thomas More and the vision of Utopia,” *Dutch Quarterly Review of Anglo-American Letters*, 15, (1985): 150-151; I. Bejczy, “More’s Utopia: The city of God on Earth?” *Saeculum* 46, (1995): 17-30; K. Corrigan, “The Function of the Ideal in Plato’s ‘Republic’ and St. Thomas More’s ‘Utopia.’” *Moreana* 27 (1990): 27-49; G. M. Logan, *The Meaning of More’s Utopia*. Princeton University Press, 1983; J. C. Olin, *Interpreting Thomas More’s Utopia*, Fordham University Press, 1989.

¹³ James Cracraft, *The Church Reform of Peter the Great*, Stanford University Press, 1971, 30: “Peter grows so fond of me that I can hardly get from him.”

¹⁴ Cracraft, 29-30.

Петра. Во времена Петра *Утопия* оставалась одной из самых популярных книг в Европе. Ее перевели на немецкий в 1524, на итальянский в 1548, на французский в 1550, и на голландский в 1553. Учитывая направленность бесед Петра и Бернета, вероятность обсуждения знаменитой книги ее английским переводчиком очень высока. Скорее, обратное было бы странным. В любом случае у нас достаточно оснований полагать, что беседы Петра с Бернетом могли послужить одним из связующих звеньев между моделью Платона и городом Петра.

Важно также помнить, что Томас Мор не предлагал свою модель для применения на практике. Книга Мора глубоко амбивалентна и многопланова, полна недосказанностей, игры слов и интеллектуальных подвохов. Уже само слово утопия, как известно, означает 'нигде' или, лучше, смешнее, 'нигденция.' Ведь и латинское название Утопии игриво и двусмысленно: *Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus, de optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia*, буквально означая «Золотая книжечка, столь же полезная, сколь и забавная о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия». Фамилия главного персонажа, Nuthloday, в переводе с греческого означает "говорящий вздор." Этот список можно продолжить. Ведь *Утопия* была написана по латыни и предназначена для узкого образованного круга гуманистов, способных оценить шутки с древнегреческим. С появлением переводов на vernacularные языки круг читателей *Утопии* резко расширился, а вот круг способных расшифровать все ее нюансы и философскую игру ума, сузился. Такое фундаментальное и непредвиденное Мором изменение читательской публики имело далеко идущие последствия. Кроме того, учитывая, что Петр, скорее всего, узнал об *Утопии* в пересказе Бернета, последний наверняка опустил тонкие намеки и предупреждения второго главного персонажа *Утопии*, философа Мора, о назначении и природе книги. Ведь все эти намеки и предупреждения находятся в первой книге *Утопии*, имеющей очень мало общего со второй частью, где собственно описывается сам идеальный остров. Скорее всего, Бернет, как это уже стало принято к концу 17 века (и продолжает быть принятым среди ограниченных во времени студентов и аспирантов) сосредоточил все внимание исключительно на второй книге *Утопии*, опустив первую. Как это почти всегда бывает в истории, политически умеренные элементы *Утопии*, содержащиеся в первой ее книге, будут забыты, в то время как радикальные элементы, содержащиеся во второй ее части, привлекут

последователей и заживут своей новой и опасной жизнью.¹⁵ В любом случае, принимая во внимание отмечаемые англичанами практический ум и крайне нетерпеливую натуру Петра, всегда подгонявшего Бернета в беседах, вхождение в нюансы интерпретации *Утопии* представляется маловероятным. Сам Бернет отмечал, что какой бы предмет ни изучал Петр, он всегда фиксировал внимание на имеющем практическую и прямую для себя пользу, отбрасывая все остальное. Так, Бернет постепенно понял, что интерес Петра к нему и к англиканской церкви был продиктован исключительно желанием государя подчинить себе в будущем Церковь на родине.¹⁶ Из всех работ Бернета, царь больше всего заинтересовался трактатом *Rights of Princes in the Disposing of Ecclesiastical Benefices and Church-lands* (О правах царственных особ располагать церковными доходами и землями). Епископ отмечал, что государь российский выказал мало интереса к моральной стороне дела: “Несмотря на то, что я настаивал на великом значении христианства для улучшения душевных качеств и жизни людей,”¹⁷ объясняя, что морального поведения можно требовать и ожидать только от свободных людей с устойчивыми и внутренне усвоенными этическими нормами, государя интересовала исключительно политическая сторона вопроса. Мысль епископа, в данном случае прямо взятая из первой части *Утопии*, о всеобъемлющей ответственности и божественном предназначении монарха как гаранта благополучия своих подданных, также не нашла должного отклика в юном самодержце.¹⁸ Ведь *Утопия* Мора являлась продуктом типично ренессансного мышления, когда в идеальном обществе хотели видеть сочетание идей Платона с идеями христианской общины, и именно христианская составляющая является кардинальным идеологическим и культурным отличием модели Мора от модели Платона. Заметив, что в вопросах общественного устройства государя интересуют почти исключительно вопросы власти, Бернет, вначале совершенно очарованный умом и любознательностью русского царя, постепенно охладевает к их

¹⁵ Frank E. Manuel, Fritzue P. Manuel, *Utopian Thought in the Western World*, Cambridge, MA, Harward University Press, 1979, p. 148:

“What survived was the passion of Hythloday, not the caution of his ambassadorial interlocutor, Thomas More.”

¹⁶ Cracraft, 37.

¹⁷ Cracraft, 33. “I insisted that the great design of Christianity is in reforming men’s hearts and lives.”

¹⁸ Cracraft, 37.

совместным беседам и занятиям. Впоследствии, узнав о петровских методах построения 'парадиза' от англичан, увезенных Петром с собой тогда же на подаренной английским королем яхте, и впоследствии рассказавших о дурном, "как с подневольными", с ними обращении, Бернет и вовсе изменит свое отношение к Петру на очень критическое.

В этом контексте представляется интересным упомянуть еще один утопический проект, также задуманный под влиянием книги Томаса Мора и, в данном случае, совершенно определено известный Петру Первому. Речь идет о христианской республике (*Respublica Christiana*) Готфрида Вильгельма Лейбница (1646-1716), с которым Петр состоял в многолетней переписке, был лично знаком и встречался в 1711, 1712 и 1716 годах. Немецкий ученый даже стал официальным советником государя и получал от российской казны жалование. Интересно также, что во время вышеописанного посещения Петром Англии Лейбниц состоял в тесной переписке с Бернетом, с которым дружил и которого уже тогда расспрашивал о русском царе. В отличие от Томаса Мора, утопия Лейбница не была чисто литературной; он мечтал и активно работал над превращением своего проекта в жизнь. Для Лейбница, как и для Мора, европейская культура и христианство — разные грани одного и того же понятия. В фантазиях немецкого философа России суждено было стать "лучшей Европой," где может быть достигнута гармония, утерянная Европой реальной, при условии, что Россия приобщится к европейскому христианству, для которого "способствовать общественному благополучию и славить Бога есть одно и то же."¹⁹ Разочарованный в Европе, великий немец мечтал, в предисловии к трактату "Novissima Sinica" (1697), опробовать свою моральную утопию в России, в которой ему виделся мост к Китаю и всей Азии. В отличие от более скептически настроенного англичанина Бернета, Лейбниц до конца жизни оставался под обаянием личности Петра, страстно веря в возможность осуществления в России нового общества, основанного на научных и христианских принципах.²⁰

¹⁹ Leibnitz, *Theodicy, Essays on the Goodness of God, the Freedom of Man and the Origin of Evil*, trans. Huggard, 1951; rpt. La Salle, Illinois: Open Court, 1985, Preface, 5: "to contribute to the public good and to the glory of God is the same thing."

Смотреть также: Patrick Riley, *Leibniz' Universal Jurisprudence: Justice As the Charity of the Wise*, Harvard University Press, 1996.

²⁰ Markku Roinila, "G.W. Leibniz and Scientific Societies," *Journal of Technology Management*, 46 (2009): 165-179.

Согласно Лейбницу, для создания наилучшего социального устройства нужны, в точном соответствии с теорией Томаса Мора, представленной им в первой части *Утопии*, совместные усилия двух архетипических персон: христианского философа и царствующей особы, причем последняя, обладая неограниченной властью, должна следовать пророчествам и умозрениям первой, а никак не наоборот. Именно таким видел Лейбниц свое сотрудничество с русским царем. Можно догадаться, что моральная сторона проекта Лейбница имела у Петра не больше успеха, чем нравоучения Бернета. Зато царь живо заинтересовался научной составляющей модели Лейбница, отбросив, как и в случае с Бернетом, сдерживающее моральное влияние христианской этики — то есть саму ось лейбницеvской утопии. Наука и техника, нежеланные, но спасительные, как скажет потом Черчилль, плоды западной христианской цивилизации, были отделены от принесшего их древа, и насильственно пересажены на другой организм, деспотическую сущность которого Петр не только не собиpался менять, но даже хотел еще усилить. Для этой цели идея 'регулярной' (любимое слово Петра, введенное им в обиход взамен русского слово 'постоянный'), иерархически организованной государственной машины подходила как нельзя лучше. Взяв от Европы только внешнее и готовое: архитектуру, технику, науку, бюрократию, военное дело, и применив к своей стране принципы утопической государственной машины, "Петр превратил Россию в полицейское государство с культом милитаризма и военной силы."²¹

Без христианской морали и гражданского права, в которых заключается фундаментальное отличие утопических моделей Нового Времени Томаса Мора и Готфрида Лейбница от модели Платона, петровская утопия оказывается по сути куда ближе к первоисточнику, то есть древнеазиатской деспотии. Суть эта, однако, должна была, в данном случае, выразаться новым, географически, хронологически и культурно чужим, западноевропейским художественным языком, к тому же как можно более совершенным. Именно так воплотилось пожелание Лейбница о России как "лучшей Европе." Основанный на получении уже готовой технической информации, заимствованной модели и кибернетической игре с природной средой, Петербург

²¹ Evgenij Anisimov, *The Reforms of Peter the Great: Progress through Coercion in Russia*, London, M.E. Sharpe, 1993, VIII: "Peter transformed Russia into a regulated police state extolling a cult of militarism and military force."

как нельзя лучше подходит под определение вторичной утопии или *simulation simulacra* (Baudrillard), так как сам петровский замысел заключается в сознательном желании создать симулякр европейского города. Симулякр — не вульгарная копия, а некая творческая гиперреальность, когда скопированные и вырванные из чужого контекста и чужой истории элементы создают некоторое оригинальное целое. Лишенный собственной истории, Петербург стремился аккумулировать историю чужую, и в стремлении этом, в самой своей избыточности, когда всего — статуй чужих богов, мрамора, золота, метафор и символов — перебор, выглядит как бы даже 'европее,' лучше оригиналов, то есть Венеции, Рима или Амстердама, с которыми его принято сравнивать, и отдельные элементы которых присутствуют в нем как в симулякре.²² По как будто нарочно о Петербурге сказанному определению Бодрийара (Baudrillard), симулякр это знак, не имеющий означаемого объекта в реальности, подобно карте, предвосхищающей и порождающей изображенную на ней местность. Само название Санкт Петербург уже является симулякром (и не Санкт, и не Бург), и в этом городе вполне соответствует. Как сказал Дмитрий Мережковский, “В Китеже-граде то, что есть — невидимо, а здесь, в Петербурге, наоборот, *видимо то, чего нет.*”²³ Видима в Петербурге западноевропейская архитектура, а нет в нем именно того, что эта архитектура выражает, то есть самого европейского города. Ведь бург — это городское поселение, органически развившееся на реке или торговом пути, жители которого — бюргеры (*burg-bürger*), или, что то же самое по-французски, буржуа (*bourg-bourgeois*) — являются свободными гражданами. Свобода, независимость и самоуправление являются основными критериями бурга. У города такого типа духа неволи быть не может и холопов в нем нет. Есть, конечно, городская беднота, низы, *merdaille*, но они ничьи, или, как определяют свою бездомность Чебурашка, и его плагиатор, Кот Матроскин, “свои собственные.”

В 18-м веке Россия оказалось той единственной географически близкой к Европе страной, где владыка, как Бог в книге Бытия, сказал, значит, сделал. Свободный от сомнений европейских утопистов, терзавшихся дистанцией между идеалом и воплощением, теорией и практикой, словом и делом, Петр довел *simulation simulacrum*, целью которого, согласно Бодрияру,

²² Интересно, что все эти города были, на разных промежутках своей истории пусть и очень разными, но все же республиками.

²³ Д. С. Мережковский *Петр и Алексей*; Dmitri Merejkovsky, Petr and Aleksey, Moscow, 1992, 214.

является как раз тотальный контроль,²⁴ до максимальной степени совершенства. Нигде, по крайней мере, в новое время, могущество государственной машины не запечатлено в камне так соблазнительно и совершенно как в Петербурге, вполне справившимся со своей задачей европейского фасада России. Также как красота и гармония целого могут заставить забыть бесчеловечную природу древнеазиатского города, увековеченную Платоном в его *Государстве*, петербургская симфония в камне одинаково ослепляет поклонников, критиков, жителей и посетителей города на Неве. Так, по выражению Луиса Мамфорда, и поклонники Платона предпочитают не замечать тот факт, что его идеальное государство содержит элементы поразительно напоминающие тоталитарный советский строй.

Есть, однако, в Петербурге, существа, гармонично и всецело соответствующие городу, где абсолютная власть выразила себя абсолютно. Это сфинксы, когда-то стоявшие у входа в величественный храм, сооруженный в Египте около Фив для фараона Аменхотепа III. Им 3,5 тысячи и их головы являются портретными изображениями этого фараона. Интересно, что в свое время Париж весьма символично упустил петербургских сфинксов из-за французской буржуазной революции 1830 года, помешавшей их запланированной покупке. Очередное возмущение свободных горожан помешало поселиться в Париже символам абсолютной власти и неподвижности (египетский обелиск французам, как известно, подарили). В Петербурге же они как раз на месте. Именно в них, возможно, нашла адекватное выражение его тайна, его дух, его генетический код, его программа древней и совершенной государственной машины, которой прекрасный город на Неве служил и служит носителем и воплощением. Программа города-людоеда, которому уже сколько раз приносились обильные и восторженные жертвы.

За то, что, город свой любя,
А не крылатую свободу,
Мы сохранили для себя
Его дворцы, огонь и воду.
Иная близится пора,

²⁴ Jean Baudrillard, "Simulacra and Science Fiction," *Science Fiction Studies*, Translated by Arthur B. Evans, 55, 18/3, 1991, online <http://www.depauw.edu/sfs/backissues/55/ baudrillard55art.htm>: "simulation simulacra: based on information, the model, cybernetic play. Their aim is maximum operationality, hyperreality, total control."

Уж ветер смерти сердце студит,
Но нам священный град Петра
Невольным памятником будет.
(Ахматова)



Игорь Ефимов

Опять о Пушкине



ушкинский Алеко – это не про ревность, а про неспособность вынести свободу в любимой, в любимом – вообще в другом человеке. («Ты для себя лишь ищешь воли...»)

Наличие или отсутствие иронии очень много говорит о человеке. Отсутствие – знак того, что человек не ощущает вертикальную составляющую мироздания. То есть разницу между высоким и низким. Или равнодушен к ней. Ироничный человек знает – или предощущает, – что шкала «высоко–низко» бесконечна в оба конца. Поэтому и самое высокое остаётся открытым ироничному отношению, и самое осмеянное может сохранить неуничтожимое достоинство. «Но божество моё проголодалось» – так только Моцарт, и только Моцарт у Пушкина – не у Формана – может сказать про себя. Сальери же лишён иронии и сердится на Моцарта за подобные шутки. Ибо они-то в первую очередь и обнажают обделённость, ограниченность Сальери. Уж если давать за что-то яд, так именно за это.

Тщетные надежды Сен-Симона и Пушкина на подлинную аристократию. Её презрительное равнодушие к грязной работе управления государством, и отсюда – её политическое безвластие.

О метафизическом выборе между веденьем и неведеньем трогательно сказано у Пушкина: «Но строк печальных не смываю...»

«Он мыслиг: буду ей спаситель. / Не потерплю, чтоб развратитель / огнём и вздохов и похвал / младое сердце искушал.» Посредственный поэт Ленский скрывает ревность за высокими фразами о спасении возлюбленной. Не так ли и посредственный поэт Владимир Соловьёв ревновал Пушкина к его успеху у читателя и хотел спасти от него возлюбленный русский народ, обвинив его в непростительной гордыне в статье «Судьба Пушкина»?

Пушкин не боролся за права женщин. Он просто позволил Татьяне Лариной, в нарушение всех приличий, первой объясниться в любви. И с этого момента история семейной жизни в России распалась на две части: до «Евгения Онегина» и после.

Директор Пушкинского заповедника Гейченко, видимо, так тонко чувствовал поэзию и красоту, что не мог опуститься до строительства уборных для туристов. Вот и получилось, что гордый внук славян, финн, тунгус и больше не дикий калмык завалили леса по берегам Сороти непролазным многонациональным дерьмом.

Синявский свёл никого не трогающего бронзового человека с пьедестала, и тысячи пожизненных Рюхиных до сих пор рукоплещут ему за это.

Героиня Пушкина впервые посмела обратиться к объекту своей любви с письмом-призывом. Каких-нибудь двадцать лет спустя героиня Достоевского (Настенька в «Белых ночах») уже писем не пишет, а является к возлюбленному прямо на квартиру – без предупреждения и с вещами.

Смертельно и безнаказанно оскорбить Пушкина мог только один человек в России – царь Николай Первый. И он не отказал себе в этом удовольствии.

Пушкин, Гоголь, Лермонтов долетают до нас, как сигналы из Космоса прошлого. Научить расшифровывать эти сигналы нельзя – нужно иметь ключ от рождения. Но можно научить, как настраиваться на их волну.

О том, что Пушкин подсказал Гоголю сюжет «Мёртвых душ», мы знаем только со слов самого Гоголя – «господина несколько беззаботного насчёт правды». На самом деле весь Миргород смаковал историю про помещика Пивинского, который покупал у соседей «мёртвые души». Правительство издало указ, что заводить винокурню могут только помещики, имеющие больше пятидесяти крепостных, а у Пивинского было только тридцать. Вот и пришлось российскому винокуру изворачиваться.

Пушкин и Мицкевич, Цветаева и Рильке, Бродский и Дерек Уолкотт... Похоже, поэты способны восхищаться по-

настоящему только братьями, пишущими на другом языке. Дружба королей, которые знают, что границу между их царствами преодолеть невозможно.

Современные формалисты, модернисты, структуралисты, деструктивисты и прочие могли бы в качестве девиза повесить на дверях своих кабинетов пушкинскую строку: «Нам чувство дико и смешно». Или лермонтовскую: «Мы иссушили ум наукою бесплодной».

Издательское дело всегда связано с риском, с азартом. Недаром же все русские писатели, занимавшиеся им, были отъявленные картёжники и игроки: Пушкин, Некрасов, Достоевский, Маяковский, Ефимов.

Политика – искусство возможного.

Художник – всегда порыв к невозможному.

Именно поэтому художнику так трудно не презирать политиков. Именно поэтому только великие художники умели разглядеть отблеск метафизического величия в политических событиях: Гомер, Софокл, Данте, Гёте, Державин, Байрон, Пушкин, Мицкевич, Гюго, Томас Манн, Бродский.

«Молчи, бессмысленный народ! Подёнщик, раб нужды, забот...», – восклицает молодой Пушкин. И безжалостная судьба, как злая волшебница, превращает его в подёнщика журнально-литературного труда, раба нужды, мученика забот.

Не западников и славянофилов, как надеялся Достоевский, мог бы объединить Пушкин – ибо он не был ни тем, ни другим, – а художников и бизнесменов – ибо он был и тем, и другим в полной мере. Все его поражения в журнальном бизнесе – не его вина, а результат нехватки свободы творчества в этом деле в его времена.

Конец января в истории русской литературы отмечен смертью Пушкина, Достоевского, Бродского. Кто следующий?

Пушкин безжалостно иронизирует над Ленским – «так он писал, темно и вяло», – а потом Лермонтов читает «Онегина» и пишет про того же Ленского: «...певец, неведомый, но милый, воспетый им с такой чудесной силой». Вот и пойми этих поэтов!

В главах 7-й и 8-й «Евгения Онегина» находим три отсылки к «Горе от ума». («Как Чацкий, с корабля на бал...» и т.д.) Это ли не трогательный жест Пушкина к опальному, непечатаемому собрату по перу?

Конечно, Синявский проявил немало смелости в противоборстве с Коммунистическим монстром. Но его смелость – это смелость юродивого, говорящего владыке: «Нельзя молиться за царя-ирода». Прогулка с Пушкиным не получилась у него именно потому, что мужество Пушкина – другого, более высокого рода; он уже юношей отчаянно требовал от царей невозможного: «Склонитесь первые главой под сень надёжную Закона».

Пушкин пишет: «...И с отвращением читая жизнь мою...».

У многих современных мемуаристов за каждым словом так и слышишь: «И с удовольствием читая жизнь мою...»

Со времён «Капитанской дочки» русский интеллигент всё надеется, что от Пугачёва можно будет спастись, заранее подарив ему тулупчик на заячьем меху.

Чего только не делал умнейший Пушкин, чтобы показать всему свету, КТО его настоящий обидчик!

Вызов Дантесу в ноябре 1836 года был сделан лишь по первому импульсу, и очень скоро Пушкин понял свою ошибку и забрал его. В полученных им и его друзьями письмах-пасквилях никаких намёков на Дантеса не было, но почти прямым текстом говорилось, что он уступил жену царю за деньги и льготы. Поэтому Пушкин не секундантов бежит искать, а отправляет письмо Бенкендорфу – мол, оскорбление Его Величества, дело государственное!

И спокойно принимает Дантеса в свою семью, когда тот женится на сестре Натальи Николаевны.

И пишет потом, в январе 1837, оскорбительное письмо почему-то не Дантесу, а барону Геккерну, который, будучи послом иностранной державы, заведомо не может принять вызов.

И никакого вызова в письме не содержалось: это старый вельможа Салтыков уверил Геккерна и Дантеса, что, по русским понятиям о чести, на такое письмо надо ответить вызовом.

И лёжа на смертном одре, Пушкин не говорит ни слова упрёка жене (уж он-то знает, что от монарших ухаживаний укрыться невозможно!), а только утешает и просит прощения.

И сам царь помогает открыть правду: в дни отпевания вдруг со страху выводит на улицы Петербурга шестьдесят тысяч пехоты и конницы, а потом ночью высылает тело погибшего поэта прочь из города под присмотром жандармов.

И даже императрица в письме к близкой подруге пишет, что содержание анонимных писем «было отчасти верным».

Но что же наш «весь свет»?

До сих упорно повторяет: приревновал Дантеса к жене, вызвал на дуэль (не ревновал! не вызывал!) и был «сражён безжалостной рукой».



Эстер Пастернак «Как в наполненный музыкой дом...»

ד"ר

(окончание. Начало в №1/2011)

*Я должен был принимать участие
в песнопении на ступенях Храма. Храм разрушен
Ангелы вместо пения научили меня писать.*

Ш. Агнон



евого швата – ו' שבט ה'תרנ"א - 6/2 1891 года, в городе Варшаве родился поэт Иосиф Эмильевич Мандельштам.

Сегодня уже ни для кого не секрет, что творчество Осипа Мандельштама оставило неизгладимый след в современной русской поэзии. В Воронежской ссылке, когда поэта настигла «крутая соль торжественных обид», он написал Тынянову: *«Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои сольются и растворятся в ней, изменив кое-что в её строении и составе».* (Воронеж, 21 января, 1937).

Поэтика Мандельштама напоминает закодированное секретное донесение и требует расшифровки. Она неисчерпаема и предполагает несколько прочтений.

В стихотворении «Концерт на вокзале», написанном в 1921 году, Мандельштам предугадал свое невозвращение, свой вокзал, предугадал происшедшее с ним намного позже – через семнадцать лет.

.....
Огромный парк. Вокзала шар стеклянный.
Железный мир опять заморожен.
На звучный пир в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон.
Павлиний крик и рокот фортепьянный –
Я опоздал. Мне страшно. Это сон.

Стеклянный, хрупкий мир; туманный, дрожащий,
страшный сон. Ничего не осталось, кроме тени, и всё, включая

музыку и слезы, – в последний раз. «Концерт на вокзале», – это и воспоминание о страшном будущем и попытка присвоить действительность, сделав её стеклянной, звучной, туманной, ночной, музыкальной, нищенской - сделав её зримой. При помощи выделенных деталей Мандельштам приводит нас к целому – он строит образ, помещая метафору в разные смысловые плоскости и, в процессе вычитывания поэтического текста, происходит его расшифровка.

Находясь в постоянном конфликте со временем, в котором он жил, и вынужденный творить в эпоху века с поломанным хребтом, Мандельштам пытался осмыслить происходящее вокруг него:

«...укрывшись рыбьим мехом,
всё силось полость застегнуть.
...Мелькает улица, другая,
и яблоком хрустит саней морозный звук,
не поддаётся петелька тугая,
всё время валится из рук».

Метафорические волны накатывают на берег поэзии – вода-суша, пространство-поверхность – время. Все эти глубинные части Мандельштам объединяет в нечто определенное: «...Я глубоко ушел в немеющее время».

29 января 1960 года в письме к Струве поэт Пауль Целан пишет: *«Я не знаю другого поэта поколения Мандельштама, который бы как Мандельштам был во времени».*

Связь человека со временем загадочна, таинственна и несомненна, а тем более поэта, и тем более Мандельштама. Для каждого творческого человека – свое время и своя эпоха в рамках путешествия во времени. Время – Гулливер, а мы – лилипуты, и абстракция по отношению к жизни есть не что иное, как родство с «утраченным временем». Образ внутреннего путешествия, – сквозной образ музыкальной «ноты бессмертия» и реального бессмертия души. За кругом жизни останется тайна, о существовании которой мы знаем, и о сути которой только догадываемся.

Окружающую его жизнь Мандельштам воспринимал под определенным углом – «на разрыв аорты», потому что чаще всего поэзия предлагает поэту действие через разрыв, сам разрыв, *самощущение* рваной раны.

О.М.-му

Ещё не покрыла роса ежевику ночную,
и голубь не вспомнил, как надо ладони ласкать.
Звезду погасили, (как будто бы с ветки вспорхнула), –
уменьшилось небо на страшную, черную пядь.

В растерзанном облаке стыннут тяжелые слезы,
к порогу домашнему злая зола приросла.
Луна разделилась. Совиные желтые косы
над этой ли ночью, над жизнью моей заплела?
Э. Пастернак

В начале 1937 года в письме к К. Чуковскому Мандельштам пишет: «*На чём держится жизнь? <...> Я не могу минуты остаться "один". Сейчас ко мне приехала мать жены – старушка. Если меня бросят одного – поместят в сумасшедший дом*».



Мандельштам боялся безумия. Он говорил: «Мне необходимо жить подальше от самого себя, как говорит Андре Жид. – Мне необходимо находиться среди людей, чтобы их эманации давили на меня и не давали мне разорваться от тоски. Я как муха под колпаком, из которого выкачали воздух, могу лопнуть, разлететься на тысячу кусков. Не верите? Смеетесь? А ведь это не смешно, а страшно. Это действительно страшно.

– Чего же вы боитесь?

– Если бы я знал, чего боюсь. Боюсь – и все тут. Это совсем особый, беспричинный страх. То, что французы называют *angoisse*. На людях он исчезает. И когда пишу стихи – тоже»¹.

¹ И. Одоевцева. "На берегах Невы" – стр. 147.

Какой особый, какой знакомый страх, кто же из поэтов с ним не дружен!.. Стихи поэта не могут уснуть в нем.

*«И не надо. И верно: вершинами ёлок
Ограничен простор и реальность сама.
Но зачем же так поет в сознание осколок?
Так мы сходим с ума. И не сходим с ума».*

Ю. Карабчиевский

Осипа Мандельштама и Юрия Карабчиевского разделяло более пятидесяти лет, а впечатление такое, будто никогда Карабчиевский с Мандельштамом не расставался. Ощущение, будто жили в одно время, дышали одним воздухом, видели одними глазами, чувствовали одним сердцем. Как такое может быть? Может!

Юрий Карабчиевский писал:

*«Избави, Господи, от тени Мандельштама.
От на груди моей зияющего шрама,
От слов стреноженных врывающихся в стих
От растревоженных глазниц полупустых!»*

Итак, подсознание – платформа мысли. Есть люди, говорящие: «Мысль о том, что я конечен, сводит меня с ума». Прежде всего – душа вечна. Далее: мысль несет в себе конкретность; в данном конкретном случае – о конечности. Обладая мыслью, возможно обезуметь?! Безумие само по себе – есть конечность, потому что оно-то и является пределом ясной мысли. Ожидая «читателя в потомстве», о чем Мандельштам писал в статье «О собеседнике», он продолжает эту мысль в более позднем воронежском стихотворении «Точка безумия...»

Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя:
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия.

Так соборы кристаллов сверхжизненных
Добросовестный луч-паучок,
Распуская на ребра, их сызнава
Собирает в единый пучок.

Чистых линий пучки благодарные
Собираемы тонким лучом,
Соберутся, сойдутся когда-нибудь,

Словно гости с открытым челом.

Только здесь, на земле, а не на небе,
Как в наполненный музыкой дом, –
Только их не спугнуть, не изранить бы –
Хорошо, если мы доживем.

То, что я говорю, мне прости.
Тихо, тихо его мне прочти.

15 марта 1937

В 1811 году, прорабатывая букву «С», Ной Вебстер пишет: «Здравый смысл, “commonsense” – здоровый, заурядный, лишенный эмоциональной предвзятости и интеллектуальной утонченности... “лошадиный смысл”.

Страдающему дальтонизмом здравому смыслу невдомёк психологический экспрессионизм – обращение к душе»²; – *«Разве вы не видите, что мир синий?»* (Г. Голланд), ведь он – Голлем, поднявший руку на своего создателя.

Поэт никогда не реалист, иначе ему придется плохо, иначе ему придется принять на веру житейскую прозу, и тогда его творчество превратится в плохую фотографию.

Облетевшие листья соберут и устроят из них костёр, позже ветер разгонит дым, и осень заплачет горькими слезами. Не спешите утирать их, скоро наступит зима, а слёзы превратятся в сиреневые сосульки, и если только "лошадиный смысл" их не растопчет, они будут жить вечно.

«Поэзия – сознание собственной правоты».

О. Мандельштам

Возможно, и часто поэты разочаровывают в случае, когда «биографический метод»³ затрагивает единственную сферу, ту, где поэт не столь интересен, – за пределами творческой мастерской. Тогда Мандельштам неровен и заносчив, тогда он ходит в брюках с «чужого плеча». Афанасий Фет с длинной бородой и кучерской кепкой – пугал, а хмурый и молчаливый Зоценко – отпугивал. О Музиле говорили, что он – «интересная личность, выглядит безупречно, но человек малопривытный». Даже Пушкин при личной встрече многих разочаровывал: *«Перед конторкою стоял человек, немного превышавший эту конторку, худощавый, с резкими морщинами на лице, с широкими бакенбардами, покрывавшими всю нижнюю часть его щек и*

² Биографический подход к творчеству (Метод Моруа).

³ Из «Записок» К.А. Полевого.

подбородка, с тучею кудрявых волос. Ничего юношеского не было в этом лице, выражавшем угрюмость, когда оно не улыбалось. Я был так поражен неожиданным явлением, нисколько не осуществлявшим моего идеала, что не скоро мог опомниться от изумления и уверить себя, что передо мною находился Пушкин»⁴.

Высказывание Пруста о том, что «человек может даже не подозревать, каковы намерения живущего в нем поэта», подводит черту под опытом биографического метода, под вечной, неразрешимой проблемой – гений в быту. Биографический метод относится к человеку, а не к книге, созданной им, и важно не упустить главное – то высшее, чем жил Мандельштам, оторвавшись от земли, паря над всеми в том разряженном воздухе, в котором только и плетутся кружева «блаженных слов».

Легко пересыпаясь в статуэтке песочных часов, заплывает в озеро-молчальницу вдохновение. Выбравшись из стадии неотвратимости, поэзия возникает на грани просветленного смятения, «ведь она – лукавство гения... не что иное, как космогонический бред словаря»⁵.

Преображая стих рождением образа – истины устремленной поэзии, Мандельштам еще раз подтверждает, что литература – упорядоченная действительность, а поэзия – стихия амфоры звенящей. «Продукт таинственного внутреннего брожения: узкая глиняная амфора с вином, зарытая в землю». (О.М.)

Непосредственная сила Мандельштамовской любви к видимому миру подчинена отточенной цельности, его творчество со всем напряжением чувств и ума – самое прямое признание бесконечности мира.

Стихи Мандельштама не поддаются переводу ни на один язык. Оден, прочитав переводы поэта, изумился тому, что речь идет о гении. «Этому приходится верить», – сказал он.

«Гений: высшая степень подверженности наитию – раз, управа с этим наитием – два. Высшая степень душевной разъятости и высшая – собранности. Высшая – страдательности и высшая – действенности. Дать себя уничтожить вплоть до последнего какого-то атома, из уцеления (сопротивления) которого и вырастет – мир»⁶

⁴ М. Цветаева «Об искусстве».

⁵ Чоран Эмиль Мишель.

⁶ «Лев Дьяконович о творчестве художника Г.Голланда» (эссе Э. Пастернак «Мой ангел безумный»)

В тайнописи Мандельштамовской поэзии мы находим двенадцать священных камней, относящихся к каждому из двенадцати колен. Образ священных камней связан у поэта с поэтическим словом. Он чуть ли не вопрошает, как первосвященник в Храме, но только в слове: «...*Позволю себе маленькое автобиографическое признание. Черноморские выбрасываемые приливом, (камни) оказали мне немалую помощь, когда созревала концепция этого разговора. Я откровенно советовался с халцедонами, сердоликами, кристаллическими гипсами, шпатами, кварцами и т.д....*» («Разговор о Данте». С. 53).

Как землю где-нибудь небесный камень будит, –
Упал опальный стих, не знающий отца;
Неумолимое — находка для творца –
.....
А сам найду его едва ли –
Таких прозрачных, плачущих камней.

Не утрачивая масштаба и опыта творчества, гений поднимается на самую отчаянную, на самую головокружительную высоту искусства и, захватив небытийный характер письма, подчиняет себе материал. Поэтическое слово живет в мире определений, благоденствует в мире утонченности, и бесконечно в мире гармонии. Становясь проницаемой, поэзия вырождается. Поэт говорит от собственного имени и ничему не служит, кроме как – "божественному откровению, приближающему его к заглавной букве пророчества"⁷.

В 1965 году, выступая по нью-йоркскому телевидению, Владимир Набоков сказал: «*Когда я читаю стихи Мандельштама, сочиненные под проклятой властью этих зверей, я чувствую какой-то беспомощный стыд за то, что я так свободно живу, и думаю, и пишу, и говорю в свободной части мира. — Это единственное время, когда свобода горька*».

Июнь – 2010; Декабрь – 2012;
Ариэль



⁷ Эссе Э.Пастернак "Пространство истины".

Борис Тененбаум Последние 292 дня Тысячелетнего Рейха (20 июля 1944 - 7 мая 1945)

I



граф Фридрих-Вернер фон дер Шуленбург, бывший вплоть до 22 июня 1941 послом Германии в СССР, жил довольно уединенно. После того, как его и других членов германского посольства обменяли с помощью Турции на советских дипломатов, аккредитованных в Берлине, к работе в германском МИДе он больше не привлекался. Ему шел уже 69-й год, так что отход от активной деятельности был вполне понятен, к тому же у него была прочная репутация про-русского дипломата - что летом 1944 года никак не способствовало его востребованности в официальных кругах Берлина.

И круг его общения вполне соответствовал образу жизни. Например, он поддерживал дружеские отношения с князем Илларионом Васильчиковым и его семейством. Старый русский князь, бежавший в Германию из Литвы без единого гроша, был лицом, от властей Рейха весьма далеким.

Пожалуй, единственным человеком из окружения графа фон Шуленбурга, все-таки близким к власти, был другой граф - Готфрид фон Бисмарк-Шонхаузен, внук великого канцлера, Отто фон Бисмарка, и глава гражданской администрации Потсдама. Он был в чине бригаденфюрера СС, что соответствовало бы армейскому генерал-майору, и к тому же - что куда более важно - входил в избранный круг друзей Рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

Что до князя Иллариона, то о нем есть смысл поговорить отдельно.

Князя Васильчиковы были старым, богатым и удачливым родом. Их генеалогическое дерево уходило далеко в прошлое, по крайней мере до XV века, когда они отделились от Толстых. Васильчиковы "... служили Государю и Отечеству ..." в делах военных и государственных, посты занимали видные - и не только по древности рода, но и по способностям.

Князь Илларион Сергеевич Васильчиков традиций семейных не уронил. Был он юристом (университет окончил с золотой медалью), в последние годы старого режима входил в круг Столыпина, в Думе примкнул к фракции А.Гучкова, а когда грянула революция и началась Гражданская Война, без колебаний присоединился к белым. Победили в войне красные, а князя выручила семейная наследственная удача - весной 1919 он успел покинуть Россию, и даже семью сумел увезти. Последний главком Белой Армии, барон Врангель, звал его представлять Белое Движение на Западе. Они были друзьями детства, барон ему очень доверял. Но Илларион Сергеевич от политики отошел. А начиная с 1932-го - отошел решительно и навсегда.

Семью его немало поносило по нелегким дорогам русской эмиграции - Васильчиковы жили и в Константинополе, и на Мальте, и в Берлине, и в Париже - но в 1932 семья покинула Францию и обосновалась в Литве. Ковно, прежний губернский центр Ковенской Губернии, превратилось в Каунас, литовскую столицу. У Васильчиковых там было фамильное имение, так называемое Юрбургское поместье, подаренное на правах майората "*... в награду за службу Отечеству ...*" императором Николаем I своему генерал-адъютанту князю Иллариону Илларионовичу Васильчикову, деду Иллариона Сергеевича.

Поскольку в Литве права собственности, существовавшие во времена Российской Империи, оставались в силе, семья Васильчиковых могла жить вполне безбедно. Средств хватало, например, даже на уроки тенниса для детей.

Все в Европе, однако, после Первой мировой войны стало шатким и ненадежным, жизнь утратила всякую стабильность, и уже к концу тридцатых годов стало очевидно, что из Литвы Васильчиковым надо бежать. Сам князь с женой и младшим сыном, 20-летним Георгием, оставались в Каунасе, но старшая дочь, Ирина, жила уже в Италии, а две дочери - 24-летняя Татьяна и 22-летняя Мария (ее дома звали Мисси) уехали в Германию, к подруге их матери, графине Ольге Пюклер. У нее было имение в Силезии. В середине января 1940 стало ясно, что Литве как независимому государству больше не жить - и княгиня с сыном срочно уехали в Германию. Визами они успели запастись заранее. Сам князь Илларион Сергеевич, в надежде спасти, что можно из семейного достояния, рискнул остаться в Каунасе, но в итоге в июне 1940 бежать пришлось и ему. Удача ему не изменила. Узнав новости о советском вторжении, он немедленно сел в поезд, уехал в Каунас, оттуда, не заходя домой, пароходом добрался по Неману

до Юрбурга (по-литовски Юрбаркаса), где находилось имение Васильчиковых.

Уехать легально он уже не мог, но нашлись проводники, взявшиеся переправить его тайком через границу. Проводниками послужили контрабандисты, провели они его через лес его собственного поместья, и даже денег не взяли - сказали, что и так неплохо зарабатывали на том, что князь в качестве землевладельца их придирками не донимал.

Все-таки быть хорошим человеком иногда оказывается выгодно - добрые отношения князя с местными жителями спасли ему жизнь. Однако появился Илларион Сергеевич в Германии, в чем был - с сотрудниками НКВД он разминулся скорее всего на какие-то считанные часы.

Жить семье пришлось на то, что зарабатывали дочки. Работа, к счастью, у них была. Сестры Мария и Татьяна Васильчиковы не являлись гражданками Рейха, но их литовское гражданство оказалось достаточным основанием для принятия их на службу. С января 1940 они работали в бюро радиовещания, а затем - в Информотделе МИДа. Помогло то, что они знали несколько языков. Мисси, например, свободно говорила на пяти, в том числе на английском. Она успела поработать в английском консульском отделе в Каунасе.

Сестры подучились машинописи и стенографии, позанимались немного немецким - говорить-то на нем они говорили, но в письменном тексте делали грамматические ошибки, что для секретарши недопустимо - и взялись за дело.

Мисси вела дневник. Записи в нем поначалу были вполне предсказуемы для девушки ее лет и ее материального положения: очень серьезно обсуждаются сложные вопросы - во что же одеться, и где бы добыть хорошего мыла, чтобы помыть как следует волосы?

Впрочем, сестры Васильчиковы были молоды, привлекательны, положение "... *нищих аристократок* ..." их не слишком тяготило - и вскоре у них завелась вполне подходящая им компания. Имена их друзей и знакомых были все как на подбор, со звучными добавками "фон" и "цу", с длинными именами и звонкими титулами: князь Пауль Альфонс фон Меттерних-Виннебург, молодой дипломат Адам фон Тротт цу Зольц, граф Клаус Мария Юстиниан Шенк фон Штауффенберг, принцесса Антуанетта фон Крой, принц Константин Баварский, принцы Ганноверские, Вельфи и Георг-Вильгельм, и другие приятные молодые и веселые люди.

За одного из них, Пауля фон Меттерниха, Татьяна Васильчикова в 1941 вышла замуж, а в Потсдам, к графу Готфриду фон Бисмарку, все они частенько заезжали погостить, благо это было недалеко от столицы. Например, Мисси Васильчикову, дочь хороших знакомых и Шуленбурга, и Бисмарка, туда часто приглашали.

А 20 июля 1944 на Гитлера было совершено покушение - в его ставке была взорвана бомба. Пронес бомбу на заседание граф Клаус фон Штауффенберг.

II

Покушение не удалось - Гитлер остался жив. Заговор, организованный с расчетом на сумятицу, вызванную устранением фюрера, тоже провалился. Пошла волна арестов. Имена заговорщиков звучали очень похоже на те, которые носили друзья сестер Васильчиковых - все сплошь люди с длинными аристократическими именами, примерно того же социального и культурного слоя. Схожи были не только имена, но и политические симпатии и убеждения, и конечно же, когда пошли аресты, взяли и многих их знакомых - граф Клаус фон Штауффенберг был в этом смысле не исключением.

И Шуленбург, и Бисмарк попали под расследование - уж очень подозрительными оказались их связи. Арестовали и Адама фон Тротта, непосредственного начальника Мисси Васильчиковой. Он был сыном министра культуры Пруссии, и сам был человек чрезвычайно способный - учился в Геттингене, докторскую диссертацию защитил в возрасте 22-х лет, в 1931, а потом отправился в Англию - его приняли в Оксфорд, по специальной стипендии, учрежденной Сесилем Родсом, что было очень почетным отличием.

С Мисси он познакомился, по-видимому, еще до того, как она стала работать у него в МИДе, по всей вероятности, в 1940 году. Ей было тогда 23 года, а ему 31. Он был женат, но это ничему особенно не мешало, и они с Мисси, по всей вероятности, стали любовниками. Ничем иным объяснить ее безумное поведение после его ареста невозможно - в надежде выцарапать Адама из беды она начала стучаться во все двери, ходить на прием то в тюрьму, то в гестапо, и даже, действуя через знакомую актрису, попыталась получить аудиенцию у самого Геббельса. Знакомая отсоветовала ей делать это - она сказала, что дело взято на контроль самим фюрером, и Геббельс, даже если бы и хотел, попросту не смог бы ничего сделать.

Трудно представить, куда делся ее инстинкт самосохранения. Людей вокруг нее арестовывали одного за другим.

Положим, ходатайства иной раз удавались. Герберт Вернер, тот самый отважный подводник, который ходил в рейды в Атлантику с лишней соляжкой, залитой в подпалубное пространство его лодки, приехал однажды в отпуск, и обнаружил, что его отец арестован по обвинению в нарушении законов о расовой чистоте. Герберт надел свой парадный мундир, украшенный Железным Крестом, и отправился на прием к начальнику местного гестапо. Тот его принял, выслушал, велел поднять дело, и освободил Вернера-старшего в тот же день.

Но законы в Германии строились, если можно так выразиться, в два слоя. Ариец, нарушивший расовые законы, мог получить и снисхождение. Но неариец самим фактом непринадлежности к арийской расе попросту вычеркивался из списка людей, несмотря ни на какие *"...смягчающие обстоятельства..."*.

Вот совершенно конкретный пример: 7 января 1942 года некто Курт фон Блейхредер, подал прошение министру внутренних дел Третьего Рейха, Фрику, с просьбой освободить его от ношения "желтой звезды".

Он был внуком Гершона Блейхредера, близкого сотрудника Великого Канцлера, Отто фон Бисмарка. Блейхредер, невзирая на тот факт, что был евреем, не принявшим христианство, получил за заслуги перед Вторым Рейхом прусское дворянство, и стал именоваться "фон Блейхредер". Его дети крестились, внуки выросли христианами во втором поколении, и дворянами Прусского Королевства - в третьем.

Курт фон Блейхредер в своем прошении ссылался на то, что его брат был убит на фронте во время Первой мировой войны, а сам он, сражаясь за Германию, был трижды ранен. Ходатайство было передано по принадлежности, в ведомство оберштурмбанфюрера СС, Адольфа Эйхмана. Чин был невысок, соответствовал армейскому подполковнику.

В просьбе Курту фон Блейхредеру было отказано, однако *"...из снисхождения к его службе и ранам..."*, его было предписано выслать не в лагеря уничтожения в Польше, а в специальное "гетто для стариков" - "Altersgetto" - на территории Рейха. Так назывался Терезиенштадт - концентрационный лагерь, располагавшийся на территории бывшего гарнизонного города Терезин в Чехии. Мисси Васильчикова с такой постановкой

вопроса была знакома - мать ее подруги Зигрид, графиню Герц, выслали туда же, в Терезиенштадт.

Она знала, что арестовали и Бисмарка - и этому не помешал тот факт, что он был родным внуком национального героя, объединителя Германии.

Мисси не имела гражданства Рейха, она была русской, с литовским паспортом. К тому же она была бывшей служащей британского консульства в Каунасе, ближайшей сотрудницей и любовницей осужденного преступника, Адама фон Тротта, несомненного участника не выдуманного, а совершенно реального заговора, связанного с убийством фюрера, она не пряталась, а обивала все пороги, добываясь его освобождения - и тем не менее, ее не арестовали. Это было истинным чудом - она отделалась всего лишь увольнением из аппарата МИДа.

Счастье рода Васильчиковых было все-таки легендарным.

III

Операция "Кобра", для инспекции которой Черчилль 20 июля прилетал в Нормандию, в Шербур, началась 25 июля, через 8 недель после высадки самой первой волны десантов. В наступлении участвовало 8 пехотных и 3 танковых дивизии союзников, против них стояли части двух немецких пехотных дивизий, одной парашютной, 4-х танковых, и одной так называемой "Panzergranadier Division" - "бронегренадерской", что-то вроде гибрида танковой дивизии с мотопехотной.

Само по себе понятие "дивизия" - определение весьма неточное. Надо знать национальный состав - в разных странах дивизии различны по величине и вооружению. Надо знать степень укомплектованности дивизии, и степень ее "изношенности" - даже не говоря о боях, обыкновенный ускоренный марш заставляет тратить горючее, терять технику из-за поломок и людей из-за травм и болезней. Что же говорить о непрерывных сражениях?

Хорошей иллюстрацией к вышесказанному может послужить простое сравнение статистики: 11 дивизий союзников, из которых танковых было только 3, в сумме имели почти 2500 танков и самоходных бронированных противотанковых орудий, 8 немецких дивизий, из которых 4 были танковыми и 1 - бронегренадерской - в сумме не располагали и 200, примерно в 5 раз меньше, чем должны были бы иметь по нормам июня 1941.

Личный состав был изношен, может быть, еще больше, чем техника. В ходе операции "Багратион" в Белоруссии в плен к русским попал солдат, который разок уже был в плену - только у англичан. После года в их лагере для военнопленных его расценили как негодного к военной службе.

Война на Западе велась все-таки с некоторым подобием соблюдения женеvских конвенций - и пленного через Красный Крест вернули на родину. Там, однако, его признали "ограниченно годным", и отправили на Восточный Фронт - правда, на тыловую должность.

Германские войска на Западе были укомплектованы еще хуже, чем на Восточном - Германия не успевала наскребать замену вышедшим из строя солдатам, вермахт по численности личного состава с середины 1942 сократился к середине 1944 едва ли не вдвое. Так что удивительно не то, что немцы не удержали линию, блокирующую нормандский плацдарм - удивительно, что они удерживали его так долго. Новости из Берлина тоже бодрости войскам не добавляли - мало того, что сама попытка переворота был дестабилизирующим фактором, но в тылу шли еще и повальные аресты и казни людей, принадлежавших к элите германского офицерского корпуса.

2 июля Гитлер сместил с поста фон Рундштета за пораженческие настроения, заменив его фельдмаршалом Гюнтером фон Клюге. Через две недели Роммель был ранен, и Клюге получил и его полномочия.

Он обнаружил, что действовать против союзных армий он просто не может - артиллерия и бомбежки расчищали им дорогу в такой степени, что даже сойтись с их войсками на дистанцию пулеметного огня было практически невозможно. Подтверждение этому тезису пришло через день - американские истребители-бомбардировщики атаковали штаб фон Клюге. Несколько человек было убито.

В должность главнокомандующего Западным Фронтом фон Клюге вступил 17 июля, а 20 июля узнал о неудавшемся покушении Штауффенберга. О заговоре он знал, и знал настолько хорошо, что даже выражал предпочтение такому варианту, который устранил бы и Гимmlера - он опасался вспышки столкновений между вермахтом и войсками СС.

Командующий оккупационными войсками во Франции, генерал фон Штюльпнагель, уже приказал арестовать офицеров СС в Париже. Клюге знал о провале заговора и в поддержке Штюльпнагелю отказал. "*Ja - wenn das Schwein tot wäre!*" - "*Если бы только эта свинья подохла!*" - сказал он Штюльпнагелю.

Фронт германской армии во Франции буквально лопнул. Началось беспорядочное отступление. К 4-му августа войска союзников перешли Сену.

19 августа 1944 года, фон Клюге получил приказ сдать командование и немедленно отбыть в Берлин. Фельдмаршал в

вермахте был известен, как чрезвычайно умный, предусмотрительный и расчетливый генерал, солдаты даже прозвали его "*der kluge Hans*" - "*Умный Ханс*". Шутка заключалась в том, что так звали цирковую лошадь, которая предположительно умела считать.

Вот и сейчас он все рассчитал как надо: написал Гитлеру самое верноподданное письмо, со всеми полагающимися восклицаниями, вроде "*Клянусь в нерушимой верности Вам и Вашему делу, мой фюрер...*" - у фельдмаршала была семья, и он имел основания беспокоиться о ее безопасности.

После этого он выехал в зону огня войск союзников, и принял цианистый калий. Ему было важно создать имитацию смерти в бою. Он не надеялся обмануть гестапо, но лишнее громкое имя в составе заговорщиков было не нужно и гестапо, поэтому версия "*...погиб в бою...*" была бы наилучшим исходом и для людей из ведомства Гимmlера. Следовательно, почетные похороны, никакой огласки, и "*...выражение соболезнования близким погибшего за Рейх героя...*". Это давало лишние шансы семье фон Клоге.

Фельдмаршал действительно был предусмотрительным человеком.

IV

4 августа 1944 года лорд Моран, доктор Черчилля, записал в своем дневнике, что с Уинстоном сладить очень трудно - этот неугомонный человек собирается ехать в Италию, к генералу Александру, но категорически отказывается принимать мепакрин - профилактическое средство против малярии. Он сказал доктору, что ему это совершенно ни к чему. В надежде убедить своего несговорчивого пациента, доктор навестил его в 9:00 утра, когда тот был, скорее всего, один - никаких совещаний на этот час никогда не назначали. После их беседы Черчилль позвонил королю, в Букингемский Дворец, и сразу после этого перезвонил доктору:

"Король часто ездил в Италию, мепакрин никогда не принимал, и он вполне здоров" - с торжеством сказал он ему.

Не удовлетворившись сведениями, полученными даже из столь высокого источника, он телеграммой запросил мнение главнокомандующего союзными войсками в Италии, генерала Александра, и с нескрываемой радостью продемонстрировал лорду Морану его ответ:

"Совершенно Секретно. Специальное сообщение, нумерованию не подлежит.

Лично Премьер-министру:

Ни я, ни сотрудники моего штаба мепакрин не принимаем. Мне сказали, что это средство не лечит малярию, а только подавляет ее симптомы. Я не могу гарантировать, что Вы не заболите, но думаю, что риск невелик. Захватите противомоскитную одежду, она может Вам пригодиться, если Вы захотите вечером прогуляться“.

Лорд Моран подумал, и письменно сообщил Черчиллю, что во время сицилийской кампании малярия свалила такое количество солдат, которое были эквивалентно личному составу двух дивизий. А во время операций на Новой Гвинее войска потеряли от малярии половину своего состава - 47543 человека, в то время как потери от боевых действий составили 3104, примерно в 16 раз меньше. Что касается сведений, полученных от генерала Александра, то вот копия приказа по его армии, в котором указывается, что отказ принимать анти-малярийные таблетки является нарушением дисциплины, и нарушители будут отданы под суд. В заключение лорд Моран добавил следующее:

“В виду рекомендации генерала Александра докторам - оставить свои таблетки при себе - лорд Моран хотел бы знать, имеют ли мнения генерала Александра в медицинских вопросах тот же вес, что и мнения лорда Морана о военных вопросах?”.

Черчилль ответил ему телефонограммой, посланной через секретариат:

“Секретно. Передать немедленно.

Телефонное сообщение от 6-го августа 1944 года от Премьер-министра лорду Морану:

"Принимая во внимание силу данного вами залпа из всех орудий, выбрасывается белый флаг и объявляется полная и безоговорочная капитуляция".

Доктор всегда говорил, что сама идея - попробовать пошутить в споре с Уинстоном - дело довольно опасное, потому что контратака последует моментально.

Он не ошибся.

V

По дороге в Италию Черчилль остановился в Алжире. Он нашел время встретиться с Папандреу, с которым обсудил ситуацию в Греции. Провел в Неаполе что-то вроде совещания с Тито, которое окончилось формальным обедом. Тито был в военном мундире невероятной пышности, и настаивал на том, чтобы два его телохранителя стояли во время обеда за его креслом.

Лорд Моран в дневнике замечает, что *“...выглядели они как злодеи из оперетты - с огромными усами, и с кучей револьверов ...”.* Секретариат Черчилля находил, что эти бравые

молодцы похожи на две рождественские елки, обвешанные игрушками. Английская же служба безопасности вообще полагала, что присутствие личных телохранителей Тито на обеде *“...не является необходимым...”*. Сошлись на компромиссе - их поставили за дверями комнаты, в которой шел обед.

Зачем Черчилля носило по свету, почему ему не сиделось в Лондоне? Уж наверное не очень нужная инспекция английских войск в Италии, сделанная через пару недель после столь же ненужной инспекции английских войск в Нормандии, не была все-таки предметом особой государственной важности? И с Папандреу вполне можно было поговорить посредством системы правительственной связи - а не лично? Лорд Моран такими вопросами не задавался, но видел с полной очевидностью, что его пациента снедает депрессия. Собственно, сам Черчилль о ней знал, и даже придумал называть ее *"Черным Псом" - "Black Dog"*. И поездки были своего рода средством унять свое плохое настроение какими-то активными физическими перемещениями в пространстве.

Его доктор сказал ему, что это недуг наследственный, и получен Черчиллем от его предков. И добавил:

"По-видимому, вы сражаетесь с этим всю жизнь. Я заметил, что вы не любите посещать госпитали, и вообще избегаете всего, что может навести тоску".

Рассказывая об этом эпизоде в своем дневнике, лорд Моран заметил, что после его слов Черчилль посмотрел на него так, как будто доктор знал что-то лишнее. Надо сказать, однако, что в августе 1944 у Черчилля, помимо наследственной склонности к черной меланхолии, были для такого настроения и вполне материальные основания.

Больше всего его бесили американцы. Он говорил лорду Морану, что одна мысль о том, что можно было бы сделать на Балканах с теми 10 дивизиями, которые они зачем-то высадили на юге Франции - теперь, когда *"Overlord"* сломал немецкий фронт в Нормандии - приводит к тому, что у него подлетает давление.

Интересно, что Сталин, по-видимому, думал примерно в том же направлении, что и Черчилль. Но он, в отличие от Черчилля, располагал полной свободой делать то, что находил нужным. Во всяком случае, он не поддержал план маршала Жуков о немедленном наступлении в Польше, а предпочел балканское направление. 20 августа 1944 началось вторжение в Румынию, и уже 23-го в Бухаресте случился переворот, и новое правительство объявило о переходе Румынии на сторону союзников.

Все это Черчиллю оптимизма не добавляло - он был уверен, что русские армии войдут глубоко в Европу, и чувствовал, что он бессилён это предотвратить.

Так что визит к Александру был полезен хотя бы в том смысле, что оказался своего рода отпуском. Наш незаменимый свидетель, лорд Моран, думал, что в окружении Черчилля нет ни одного человека, с которым он мог бы поговорить о том, что его тревожило глубже всего. Такого рода доверенным лицом и личным другом Рузвельту служил Гарри Гопкинс, "alter ego" президента. Черчилль преспокойно обходился без такого собеседника, но сейчас, на исходе лета 1944, ему был необходим кто-то, с кем он мог бы выговориться. Алан Брук на такую роль не подходил, он был слишком холоден и рационален. Идена Черчилль по-своему любил, но явно не ставил с собой наравне. Лорд Бивербрук в число его близких сотрудников больше не входил. Так что генерал Александр, человек умный, достойный, известный тем, что в самой плохой ситуации сохранял полное хладнокровие, и к тому же Черчиллем искренне восхищавшийся, послужил премьеру хорошей компанией.

Черчилль в любом разговоре роль говорящего брал на себя - но генерал Александр слушал его действительно с удовольствием, и хоть и участвовал в беседе больше короткими репликами, но они делались они на уровне оратора, и говорить ему даже помогали. Говорили они о стратегии. Черчилль, в частности, сказал генералу, что хотел бы быть на его месте - делать дело и двигать войска, стремясь к великой цели.

Уже уходя, лорд Моран спросил Александра: "*Был бы Черчилль хорошим генералом?*".

"Нет" - сказал Александр - "*Уинстон - игрок*".

VI

Оптимистический прогноз Монтгомери: "*...Париж будет взят через 90 дней после высадки в Нормандии...*" оказался неверным. Но "*...неверным...*" в самом положительном смысле этого слова - события обогнали прогнозы на две недели. Восстание против немецкой оккупации началось в Париже 19 августа, на 75-й день после высадки. 24 августа на помощь восстанию пришли французские части дивизии генерала Леклерка и американцы из 4-й пехотной дивизии.

25 августа все было окончено - Париж был взят. Интересно, что главнокомандующий союзными войсками в Европе, генерал Эйзенхауэр, братъ его не хотел. Он был довольно безразличен к славе освободителя столицы Франции, а руководствовался совсем другими соображениями: во-первых,

город представлял собой огромную культурную ценность, и разрушать его сражением он не хотел, во-вторых, сражение в большом городе неизбежно влекло за собой большие потери, и устраивать "второй Сталинград" генерал категорически не желал, в-третьих, его интендантство оценило, что Парижу понадобится 4000 тонн продовольствия в день, а транспорт американской армии был и так перенапряжен.

Кстати, если рассматривать приоритеты Эйзенхауэра, то, пожалуй, риск разрушения культурных ценностей Парижа он ставил ниже вопросов снабжения и возможных высоких потерь своих солдат. Самый высокий комплимент, какой только мог получить американский военный от американской прессы, состоял в том, что он "*...бережет жизнь наших мальчиков...*". Так хвалили генерала Макартура, командующего на тихоокеанском театре военных действий, и в избирательном штабе Рузвельта серьезно полагали, что это может стать трамплином для избирательной кампании Макартура на ноябрьских президентских выборах в 1944.

Французы, конечно, думали иначе. Особенно де Голль. Больше всего на свете он хотел "*...восстановить честь Франции...*", а для этого надо было, во-первых, ворваться в город первым, опередив англичан и американцев, во-вторых, упредить внутренние силы Соппротивления в установлении парижской администрации, и наконец, в-третьих, консолидировать все политические течения вокруг "голлистского" центра - Комитета Освобождения Франции.

Излишнюю вежливость по отношению к англосаксам генерал де Голль считал постыдной слабостью и грехом. Например, он отказался встретиться с Черчиллем во время его последнего визита в Алжир. Ну, а уж с каким-то там генералом Эйзенхауэром он тем более церемониться не стал, и попросту пригрозил ему, что отдаст через его голову приказ 2-й французской бронетанковой дивизии идти на Париж, все равно - хочет того Эйзенхауэр или нет.

Так что генерал Леклерк, командир этой дивизии, получил инструкции, конфликтующие друг с другом - с одной стороны, распоряжение де Голля, с другой стороны, прямой приказ от своего американского начальника, генерала Леонарда Героу, инструкциям де Голля не следовать.

Ну, Леклерк был прекрасным военным, и в такой сложной обстановке он нашел единственно верное тактическое решение - отдав рапорт Героу об исполнении приказа, он его нарушил, и послал в Париж авангард своей дивизии. Однако авангард этот

состоял из одной-единственной роты, так что в случае какого-нибудь конфликта с американским начальством он всегда мог сказать, что это вовсе не авангард, а просто группа разведки.

Ну, а дальше за него вопрос решила та самая "...сила событий...", которую так хотел использовать Черчилль в своих спорах с американцами. Надо сказать, что у де Голля и Леклерка это получилось лучше, чем у английского премьер-министра - американцы поменяли свое первоначальное решение, Леклерк получил разрешение на поход к Парижу, и ему даже помогли американские части.

Немецкий гарнизон серьезного сопротивления не оказал, и к 25 августа все было окончено. Категорический приказ Гитлера - "*Сжечь Париж!*" - выполнен не был. Командующий немецкими войсками в Париже, генерал фон Холтиц, приказ фюрера саботировал. Он собирался сдаваться в плен и не хотел создавать себе лишние неприятности.

25 августа генерал де Голль, спешно перебравшийся в здание бывшего министерства обороны Франции, произнес перед собравшей толпой пламенную речь:

"В такую минуту мы не должны скрывать наших глубоких чувств. Париж! Париж поруганный, Париж горящий, Париж - город-мученик! Но и Париж - освобожденный! Освободивший себя сам, освобожденный своим народом, французской армией, всей Францией, сражающейся Францией, единственной Францией, настоящей Францией, вечной Францией!".

Ну, это была хорошая речь. Положим, не совсем согласующаяся с истиной - и город освободили не восставшие, а общее поражение немцев, и французская армия прибыла в Париж на американских танках, заправленных американским горючим, и сама "...сражающаяся Франция..." довольно долго умещалась в паре зданий в Лондоне, где размещался Комитет Освобождения - но, тем не менее, это была хорошая речь. Слова де Голля о "...вечной Франции..." вошли в историю его страны.

По-видимому, останутся там навсегда.

VI

Список поездок премьер-министра Великобритании, мистера Уинстона Черчилля, летом-осенью 1944 года, выглядит так:

1. Июль - поездка в Нормандию, с целью инспекции подготовки к прорыву с плацдарма.
2. Август - поездка в Италию, через Алжир, с целью инспекции подготовки к наступлению.

3. Сентябрь - поездка в Канаду, на вторую Квебекскую Конференцию, для беседы с Рузвельтом.

4. Октябрь - поездка в Москву, для личной встречи со Сталиным.

Один только взгляд на такое расписание наводит на мысль, что премьер-министр Великобритании, мистер Уинстон Черчилль, в свои 70 лет обладал неисчерпаемой энергией и был человеком неутомимым.

Более пристальный взгляд на его столь плотное расписание поездок рождает куда более грустные мысли: он ездил к своим генералам, Монтгомери и Александру, занятым решением конкретных тактических проблем, не имея никакой возможности дать им какой-нибудь полезный совет.

Они были люди в своем деле более компетентные, чем он.

Он ездил к лидерам США и СССР, занятым решением глобальных стратегических проблем, опять-таки не имея возможности дать им какой-нибудь полезный совет.

Они были люди куда могущественнее него, считались только друг с другом, а его "... *советы и предположения* ..." неизменно отвергали.

И в результате остается устойчивое впечатление - этот человек действительно стремительно бежит, но бежит он в беличьем колесе.

Зачем, спрашивается, его понесло в Квебек? Большая Советская Энциклопедия дает нам на это следующий ответ - приведем его в виде длинной цитаты:

"Квебекские конференции 1944 [множественное число - конференции - использовано потому, что в Квебеке была целая серия встреч английских и американских военных, экономистов, дипломатов и политиков] происходили 11-16 сентября при участии министра финансов США Г. Моргантау, министра иностранных дел Великобритании А. Идена и Объединенной группы начальников штабов. На конференции были рассмотрены вопросы дальнейшего ведения войны против фашистской Германии и милитаристской Японии. Англо-американское командование, стремясь не допустить освобождения Советским Союзом стран Центральной и Юго-Восточной Европы, приняло решение после очищения Северной Италии от фашистских войск развивать наступление на Триест и Вену; оно также предпринимало усилия к тому, чтобы занять к концу войны возможно большую часть территории Германии. На Квебекских конференциях 1944 был одобрен план расчленения Германии (при передаче Рура и Саара под контроль специального

международного органа), её деиндустриализации и аграризации (однако вскоре после окончания Квебекские конференции 1944 этот план был дезавуирован правительствами США и Великобритании). Рузвельт и Черчилль договорились также об активизации военных действий против Японии”.

Спорить с энциклопедией мы не будем, а просто рассмотрим некоторые пункты поподробнее. Англо-американское командование действительно решило продолжать наступление в направлении на Триест и Вену (из Северной Италии), и на Германию - из Франции и Бенилюкса. Вот пункт в отношении *“...стремления не допустить освобождения Советским Союзом стран Центральной и Юго-Восточной Европы...”* выглядит спорным.

Черчилль-то безусловно стремился это сделать. Если даже в разговорах со своим доктором, лордом Мораном, он частенько твердил о том, что *“... русские после войны займут доминирующую позицию в Европе ...”*, и что это надо предотвратить, то уж наверное и в беседах с влиятельными американцами он данную тему тоже затрагивал. Однако никакой поддержки он не получил. Его предположения выслушивали, и говорили ему, что в ноябре 1944 в США будут выборы, что президент Рузвельт выдвигает свою кандидатуру на беспрецедентный четвертый срок, что важно сначала закончить войну с Германией, а уж потом договариваться с Россией, что американский народ хочет как можно скорее демобилизовать армию и *“...вернуть мальчиков домой...”*, и что *“...помощь России будет нужна против Японии...”*.

Рузвельт отказал ему даже в малости: Черчилль попросил его подписать его письмо к Сталину с просьбой *“...помочь восставшей Варшаве...”*, Рузвельт ответил ему в том смысле, что сейчас это несвоевременно и что есть вещи поважнее. По-видимому, “лондонское” польское правительство он уже списал со счетов.

Именно тогда Черчилль и решил, что раз ему не удалось заручиться помощью Рузвельта против Сталина, он должен попробовать поговорить со Сталиным сам. Чем он надеялся убедить его, совершенно неясно - ни сил, ни возможности на противостояние с СССР у Великобритании не было. Черчилль, однако, решил попытаться. Он обладал необычным для политика свойством.

По-видимому, у него была совесть.

VIII

Визит Черчилля в Москву состоялся в октябре 1944. Из своих сотрудников в этот раз он взял с собой только Идена - разговор предположительно должен был ограничиться только внешнеполитическими вопросами, и не касаться ничего прочего.

Сталин оказался прекрасно подготовлен к встрече - его снабжали вполне качественной и достоверной информацией о его английских союзниках.

Дело было поставлено настолько хорошо, что из английских источников удавалось узнать многое не только об английских делах, но и о Германии.

Вот цитата, взятая с интернетного сайта Службы Внешней Разведки России:

“Агентурный аппарат разведки в Великобритании:

С началом войны резидентура в Англии имела на связи ряд ценных агентов, завербованных в 30-е годы. Среди них особо выделялась знаменитая "Кембриджская пятерка", привлеченная к секретному сотрудничеству на идейно-политической основе выдающимся разведчиком-нелегалом А. Дейчем. Ким Филби, занявший в годы войны важный пост в британской разведке, передавал советской разведке материалы британской разведки и контрразведки. Другие члены "пятерки" - Г. Берджес, Д. Маклин, А. Блант и Д. Кэрнкросс обеспечивали доступ внешней разведки к секретным документам военного кабинета, к переписке Черчилля с Рузвельтом и другими главами государств и правительств, министра иностранных дел А. Идена с послами в Москве, Вашингтоне.

Всего за годы войны из Лондона поступило около 20 тысяч разведывательных материалов, 90 процентов из которых были подлинными документами. Информация лондонской резидентуры имела особо важное значение в начальный период войны, когда советское руководство ощущало колоссальный дефицит сведений по Германии”.

Как мы видим, Павел Михайлович Фитин, молодой начальник 1-го Управления (внешняя разведка) НКГБ - МГБ СССР (ему в 1944 году было всего 37 лет) хорошо знал свое дело.

Немудрено, что Сталин раз за разом отказывал союзникам в просьбе установить обычную “миссию связи” - практику размещения в штабах друг друга офицеров союзных стран для координации военных действий. Он отвергал саму идею - по-видимому, видел в этом узаконенную форму шпионажа.

Выгоды в обмене информацией он не находил, и имел для этого, как мы видим, вполне хорошие основания.

У Черчилля, по-видимому, не было ничего подобного. Службы Блентли Парк наверняка слушали не только германские, но и советские радиосообщения, однако завести средства агентурной разведки в государстве вроде Советского Союза - дело трудное, если не невозможное.

Принимали английскую делегацию в Москве исключительно радушно, по заведенному со времени предыдущей встречи образцу Черчилля встречал Молотов. Черчиллю и Идену предоставили отдельные коттеджи. Первая встреча состоялась в 10 вечера, и присутствовали на ней только шесть человек: Сталин, Черчилль, Молотов, Иден, британский переводчик, майор Бирс, и советский переводчик, В.Н. Павлов. Черчилль высоко его ценил, и говорил, что с англичанами он разговаривает как англичанин, а с американцами - как американец. Он и по-немецки говорил так, что, по слухам, в 1940, на переговорах с Молотовым, Гитлер спросил его: *"Вы немец?"*.

(Иногда утверждают, что этот вопрос Гитлер адресовал Бережкову, но Бережков был переводчиком Деканозова, а не Молотова. Молотову же беседу с Гитлером переводил именно В.Н.Павлов).

Стороны согласились пригласить на встречу представителей польского "лондонского" правительства, и Черчилль немедленно вызвал их в Москву телеграммой.

Обнаружив, что Сталин согласен наконец с ними поговорить (он отказывался иметь с ними дело, предпочитая признавать в качестве "польского правительства" не их, а так называемый "Люблинский Комитет", сформированный в Советском Союзе), Черчилль предложил ему на рассмотрение тут же нарисованную им на бумаге таблицу распределения влияния:

1. Румыния: русское влияние 90%, все остальные - 10%.
2. Греция: англичане/американцы - 90%, СССР - 10%.
3. Югославия: англичане/американцы - 50%, СССР - 50%.
4. Венгрия: англичане/американцы - 50%, СССР - 50%.
5. Болгария: англичане/американцы - 25%, СССР - 75%.

Сталин поглядел на лежащую перед ним записку Черчилля, и немедленно, не раздумывая, пометил ее синим карандашом, выражая согласие.

Черчилль спросил: *"Не выглядит ли слишком циничным то, что мы решаем вопросы, от которых зависят судьбы миллионов людей, в такой легкой манере? Не лучше ли сжечь эту бумагу?"*.

"Нет" - ответил Сталин. *"Сохраните ее"*.

Черчилль заключенному столь быстро "процентному" соглашению был очень рад. Но история эта интересна не только сама по себе. С ней связано и некое дополнительное обстоятельство.

Черчилль не вставил в свою "таблицу" Польшу.

IX

Про людей известных и популярных всегда рассказывают всякого рода занятые истории, а уж про известных и популярных генералов - тем более. Про Монтгомери, выслужившимся из рядов, рассказывали такую историю - когда он в чине майора заведовал физической подготовкой своей части, его вызвал к себе командир полка, и сказал, что ожидается товарищеский матч по футболу с соседней частью, и что его надо выиграть.

"*Слушаюсь, сэр!*" - браво ответил майор Монтгомери.

"*Но имейте в виду, майор*" - продолжил командир - "*соседей обижать не надо, так что счет должен быть не слишком крупный, щадящий их самолюбие*".

"*Слушаюсь, сэр!*" - по-прежнему браво ответил Монтгомери.

"*Вы свободны, майор*" - сказал командир полка, и, глядя уже в спину выходящему в дверь Монтгомери, добавил - "*Но все-таки - сделайте так, чтобы я был уверен в победе...*".

Матч состоялся в намеченный для него день, и на перерыв команда Монтгомери ушла со счетом 12:0. Командиру полка, взбешенному тем, что теперь уж отношения с соседями испорчены навек, верный долгу майор Монтгомери, вызванный им на ковер, в ответ на упреки покаянно ответил:

"*Но, сэр, вы же сами просили сделать так, чтобы мы были полностью уверены в победе?...*".

Для того чтобы иметь успех, анекдот должен соприкасаться с действительностью. В данном случае он соприкасался с ней весьма тесно: генерал Монтгомери, во-первых, очень основательно готовился к встречам с противником, во-вторых, слушался приказов только в той мере, в которой они не мешали ему достигать гарантированной победы с огромным счетом, в-третьих, вопросы такта, этикета и даже простой вежливости его пониманию были, пожалуй, недоступны.

После Эль-Аламейна он попал в категорию национальных героев, следовательно, стал практически несменяем. Соответственно, теперь он уже открыто презирал своих начальников - которые, все как один, платили ему неприязню, начисто не признавал людей, равных ему по положению, но

сражения свои готовил долго, методично и чрезвычайно внимательно.

Что интересно, он был популярен среди подчиненных ему солдат - конечно, среди тех, кто не должен был соприкасаться с ним лично. Они знали, что одним из важнейших критериев успеха операции для их генерала было максимально возможное снижение потерь. В этом смысле он был полной противоположностью Паттону, который вечно рвался вперед, "... *несмотря ни на что ...*". Его солдаты считали, что он строит себе репутацию победоносного полководца на их крови - однако приказов слушались. Дисциплина есть дисциплина, даже в "... *армии граждан ...*", как с гордостью определяла себя армия США.

Так что надо оценить по достоинству план операции "Market-Garden", который Монтгомери представил на рассмотрение своему начальнику, генералу Эйзенхауэру - план предлагал такие смелые шаги, что скорее они подошли бы Паттону.

Идея заключалась в том, чтобы сменить стратегию "... *наступления на широком фронте ...*", по всей линии границы Германии с Францией и Бельгией, на удар на узком участке, прорваться за Рейн, и на правом берегу реки резко повернуть к Руру. Выгоды при этом достигались огромные: немцы теряли возможность закрепиться на старых укреплениях "Линии Зигфрида", их индустриальная база производства оружия выключалась полностью, а вступление союзных войск уже на территорию собственно Германии вполне могло вызвать там такой же политический крах, который случился с Муссолини после вторжения в Италию.

Эйзенхауэр предложенный ему план внимательно выслушал. Надо сказать, что Монтгомери он не любил. Британский герой никогда не упускал случая показать всем и каждому, что он, заслуженный служака, прошедший на своем пути навверх все ступени воинской иерархии, думает об "... *американском штабном ...*", всего лишь подполковнике, волею судьбы вознесенным в чин полного генерала, и в силу каких-то непонятных причин имеющим право отдавать ему, Монтгомери, приказы.

Так что, по всей вероятности, первым побуждением Эйзенхауэра было отказать Монтгомери в приведении его проекта в жизнь.

Однако генерал Монтгомери недооценивал генерала Эйзенхауэра. Он, конечно, не имел боевого опыта, сравнимого с тем, который имел его подчиненный, но тем не менее был

превосходным администратором, организатором, политиком и дипломатом. И он принимал во внимание более веские факторы, чем личная приязнь или неприязнь.

Поэтому он рассудил, что план имеет свои преимущества.

Во-первых, он доверял суждению Монтгомери в узко-военных вопросах. Во-вторых, план обещал быстрое, в течение осени/зимы 1944, окончание войны. В-третьих, Эйзенхауэр и не думал прекращать наступление по широкому фронту - но удар в Голландии, на севере, мог открыть наконец порт Антверпена. Город был уже захвачен войсками Монтгомери, но устье реки Шельды все еще было блокировано, и пользоваться портом было нельзя. А поскольку все снабжение союзных армий держалось на одном только Шербурге, и железные дороги Франции после долгих бомбежек функционировали плохо, все припасы на фронт приходилось возить на грузовиках. Тыловые службы с подвозом не справлялись. Так что открытие для операций большого порта в Антверпене, вблизи линии фронта, решало для Эйзенхауэра многие проблемы.

Наконец, на него давили из США, требуя использовать наконец Первую Союзную Воздушно-Десантную Армию: три американских парашютных дивизии, три английских парашютных дивизии, и польскую парашютную бригаду. План Монтгомери предусматривал активное использование воздушных десантов, и с точки зрения Эйзенхауэра это само по себе было большим плюсом.

Он дал свое согласие.

X

Переговоры с польской делегацией, прилетевшей из Лондона, были дополнены встречей с польской делегацией, представлявшей просоветский "люблинский" комитет. Берут, глава "люблинской делегации", свою речь начал словами:

"Мы настаиваем и требуем, чтобы Львов принадлежал СССР. Такова воля польского народа".

Черчилль поглядел на Сталина, и увидел, что он улыбается, как на спектакле. Текст выступления Берута, несомненно, был написан заранее, и не им.

Ну, с лондонской стороны такой тонкой режиссуры не было. Премьер-министр "лондонского" правительства, Миколайчик, в своем выступлении сказал, что прежде чем высказываться по поводу Львова от лица всего польского народа, делегациям следовало бы выработать общую позицию, и что польское правительство в изгнании, которое он здесь представляет, признано Соединенными Штатами и Англией, в то время как "люблинский комитет" признан только Советским Союзом.

Черчилля явно возникли подозрения, что такое заявление может сорвать его наметившийся было диалог с русскими, потому что он немедленно сказал следующее:

"Я не думаю, что при теперешнем состоянии дел было в интересах польского правительства отдаляться от позиции, принятой британском правительством. В ходе этой войны мы, англичане, были на волосок от поражения, меч висел над нашими головами. Поэтому у нас есть право просить поляков сделать широкий жест в интересах европейского мира".

И добавил, повернувшись лицом к Миколайчику:

"Надеюсь, вы не обидитесь на меня за мои неприятные, но откровенные слова, которые были сказаны с наилучшими намерениями".

Миколайчик ответил:

"Я в последнее время выслушал столько неприятных вещей, что еще одно такое высказывание вряд ли выведет меня из равновесия".

У него уже был тяжелый разговор с Черчиллем в Лондоне, и он сказал ему, что *"...СССР намерен превратить Польшу в свою 17-ю республику..."*. Про *"...17 республик..."* он говорил потому, что в то время Карело-Финская Республика номинально имела одинаковый статус с Эстонией или Украиной, автономией в составе РСФСР она стала позже.

Надежды у Миколайчика не было никакой. Выстоять против давления Сталина Миколайчик не мог, американцы в поддержке ему отказали, у Англии помогать ему не было ни сил, ни охоты, и еще в Лондоне Черчилль сказал ему прямо, что Англия не поставит на карту европейский мир из-за вопроса о том, где именно пройдет польская граница на Востоке. Миколайчик все это, конечно, понимал, но и в безнадежной ситуации продолжал сопротивляться.

Черчилль в черные для Англии дни лета 1940 сказал - приведем его слова в оригинале:

"...you may come to the moment when you will have to fight with all the odds against you and only a small chance of survival. There may even be a worse case: you may have to fight when there is no hope of victory, because it is better to perish than to live as slaves..." – *"...вы можете оказаться в ситуации, когда вы будете драться в самых неблагоприятных условиях, с ничтожными шансами на победу. Может быть случай еще хуже, когда вы будете драться без всякой надежды на победу - потому что лучше погибнуть, чем жить, как рабы..."*.

Польский премьер был храбрым человеком, и чувства, выраженные столь недавно самим Черчиллем, разделял совершенно. Поляки вообще считали безрассудную храбрость достоинством - это заложено в национальной культуре.

Можно, собственно, сказать, что на англо-русско-польской встрече в Москве в октябре 1944 шли не только дипломатические переговоры, но и некое трехстороннее столкновение трех разных национальных культур. Если уж американцы и англичане, при самом тесном сотрудничестве и при наличии общего языка - и то непрерывно ссорились - то трений между Россией сталинского образца и Англией времен Черчилля можно было ожидать с полной уверенностью. Стороны не понимали друг друга. Это положение куда нагляднее можно проиллюстрировать даже не протоколом политических переговоров, а просто на бытовом уровне.

Черчилль в октябре 1944 взял с собой в Москву, как он делал всегда, своего личного доктора. Лорд Моран, не будучи особо занят (в конференции он, ясное дело, не участвовал) захотел посмотреть Ленинград.

Бывший советский посол в Великобритании, И.М.Майский, обещал было ему персональный самолет, но что-то там не вышло, и он полетел туда обычным рейсом. Самолет был маленький, ждать пришлось долго, в зале ожидания в окнах не было стекол, в Москве в октябре не слишком тепло, но что поделаешь - война. Прилетел он в Ленинград, его там встретила женщина из спецбюро по приему знатных иностранцев, она же и переводчик, и он настоял на том, чтобы не ехать сразу в гостиницу, как предлагала она, а пойти посмотреть город, пока еще светло. На улице, поскольку они были вдвоем, без других сопровождающих, она расхрабрилась, и стала задавать ему вопросы вне протокола, про разные английские дела. Больше всего ей не давала покоя одна поистине неразрешимая для нее загадка: почему Моран - "лорд", а Черчилль, человек, возглавляющий Великобританию - всего лишь "мистер"? Ну, лорд Моран объяснил ей, как мог, и про свое пэрство, и про всемогущую Палату Общин, в которой титулованные лица, такие, как он, заседать не имели права, и задал встречный вопрос: "...что она будет делать потом, когда война закончится и когда Сталин умрет?...".

Всплеснув руками, она ответила: *"Я очень надеюсь умереть раньше, чем славный вожь нашего народа!"*.

По-моему, это очень показательно. Она не понимает, почему он "лорд", в то время как его премьер - всего лишь

“*мистер*”, но и лорд Моран не понимает, какой вопрос он задал - ужасный, поистине убийственный.

Не удивительно, что люди настолько разных культур иногда могут совершенно не понимать друг друга.



(продолжение следует)

Семён Талейсник

Парусник с именем ведьмы



Впервые клипер «Катти Сарк» водоизмещением 963 тонны был спроектирован Геркулесом Линтоном и спущен на воду реки Клайд 23 ноября 1869 года в шотландском городе Думбартоне компанией Scott & Linton. По замыслу его первого владельца Джона Уиллиса по прозвищу Белый Цилиндр парусник должен был стать самым быстроходным транспортировщиком чая из Индии и Китая в Лондон, но, по инженерным расчётам, просуществовать лишь 30 лет. Однако его жизнь оказалась более длинной, и считают, что корабль этот и впрямь родился в рубашке.



"Катти Сарк". Рисунок австралийского художника Джона Эликота (John Alicot)

Интересна история названия легендарного клипера. В переводе с шотландского «Катти Сарк» означает дословно короткая рубашка. Своим названием судно обязано именно той короткой рубашке, в которую, якобы, была одета ведьма Нанни, (Nannie), героиня поэмы «Тэм о'Шэнтер» (Tam o'Shanter), написанной Робертом Бернсом (Robert Burns) в 1790 году. «Катти Сарк» («Cutty Sark») - «Короткая рубашка») – это персонаж шотландского фольклора, миловидная молодая красавица, носившаяся по глухим и мрачным болотам, завлекая мужчин на

погибель. Так молодой шотландец Тэм чуть не пропал, встретив однажды красавицу...

«Дул ветер из последних сил,
И град хлестал, и ливень лил,
И вспышки молний тьма глотала,
И небо долго грохотало...
В такую ночь, как эта ночь,
Сам дьявол погулять не прочь...

Но Тэм неожиданно разглядел
Среди толпы костлявых тел,
Обтянутых гусиной кожей,
Одну бабенку помоложе.
Как видно, на бесовский пляс
Она явилась в первый раз...
Она была в рубашке тонкой,
Которую еще девчонкой
Носила, и давно была
Рубашка ветхая мала...

Но музу должен я прервать.
Ей эта песня не под стать,
Не передаст она, как ловко
Плясала верткая чертовка...

О Тэм! Как жирную селедку,
Тебя швырнут на сковородку.
Напрасно ждет тебя жена:
Вдовой останется она.
Несдобровать твоей кобыле –
Ее бока в поту и в мыле.

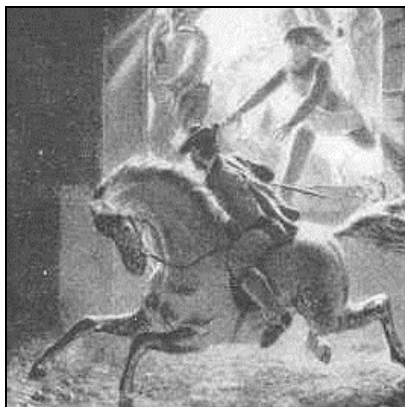
О Мэг! Скорей беги на мост
И покажи нечистым хвост:
Боятся ведьмы, бесы, черти
Воды текучей, точно смерти!

Увы, еще перед мостом
Пришлось ей повертеть хвостом.
Как вздрогнула она, бедняжка,
Когда Короткая Рубашка,
Вдруг вынырнув из-за куста,
Вцепилась ей в репей хвоста!..

Ах, после этой страшной ночи
Во много раз он стал короче!
На этом кончу я рассказ.
Но если кто-нибудь из вас

Прельстится полною баклажкой
Или Короткою Рубашкой, –
Пусть вспомнит ночь, и дождь, и снег,
И старую кобылу Мэг!..»

Эту коварную обольстительницу, якобы, много раз рисовали на живописных полотнах. И картинку, изображающую эту ведьму, которая была весьма мила и красива в описании поэта, нам не без труда всё же удалось найти в Интернете. На ней видно, что эта молодая женщина одета лишь в "катти сарк", коротенькую рубашку, напоминающую вполне современное открытое платьице. В поэме она исполнила настолько волнующий эротический танец, что Тэм невольно воскликнул: "Браво, Катти Сарк!" Юная ведьма, увидев мужчину, погналась за ним, но его спасла река, ибо ведьмы по шотландским преданиям не могут пересекать текущую воду. Ведьма только успела схватить коня Тэма за хвост и оторвала его, что и спасло Тэма от жарких и смертельных объятий ведьмы Нанни.



В честь быстроногой ведьмы из шотландских болот и назвал Джон Уиллис свой корабль, желая передать ему стремительность и дерзость тэзки. Но моряки, как известно, народ суеверный, стараются избегать всякой чертовщины, верят в приметы, остерегаются выходить в море по пятницам, не любят число «13» и перебегающих дорогу черных кошек. И поэтому, когда узнали, что новое судно будет названо именем ведьмы,

крестились, сплевывали и уверяли, что проку от этой затеи не будет, а судно, не пройдет и года, потонет со всем экипажем. Тем не менее, и моряки и торговцы неожиданно быстро привыкли к странному названию, очевидно и потому, что оно легко произносилось.

Об этом паруснике можно многое рассказать, подобрав любопытную информацию из печати, Интернета и рассказа знаменитого писателя-фантаста Ивана Ефремова под тем же названием, что и имя парусника. А подтолкнули меня к написанию этого очерка случайная фотография, сделанная при посещении Гринвича с группой туристов 22 сентября 1998 года, на которой я оказался на фоне стоявшего в доке парусника, клипера «Катти Сарк». Недавний пожар на паруснике (21 мая 2007 года), фактически, уничтожил реликвию Британского парусного флота, показав, что всё же отразилось на судьбе корабля проклятое ведьмино имя...



Парусник «Катти Сарк». (Англия, Гринвич) (Фото из личного архива до пожара 22.09.98 г.)

Как вы понимаете, снимок сделан, исходя из туристической настырности запечатлеть себя на фоне чего - то достопримечательного и тем доказать всем сомневающимся, если таковые найдутся, что ты там был. Да и себе кое-когда доставить удовольствие «побывать», раскрыв альбом, ещё раз в этих местах. Не говорю уже о детях и внуках, которым видеть это небезынтересно, хотя бы раз – другой. Но не о моей личности идёт речь, а о стоявшем на вечном приколе в сухом доке позади меня клипере – музее, морском судне с опущенными давно парусами.

Сам клипер «Катти Сарк» было богато украшен. Деревянная женская фигура на носу клипера, была превосходно выполнена мастером Ф. Хельером из Блэкуэлла. Правда,

найденная и выставленная в музее носовая фигура, кариатида, к несчастью, уже не первоначальная, не та самая Нанни - Короткая Рубашка. Ниспадающая складками довольно длинная одежда красотики переходила в волнорез на форштевне, и бывшая ведьма-распутница неожиданно получила облик, чуть ли не древнегреческой богини.



Художник Геркулес Линтон по-другому представлял себе носовое украшение клипера - фигуру Нэнни-Ко-роткая-Рубашка, вырвавшей клочок из хвоста кобылы Мег. Таков его карандашный рисунок. Он более скромный и скорее отвечает описанному Бёрнсом оригиналу.

Но в итоге появилась дебелая древнегреческая богиня с соблазнительной грудью...



Ведьма Нанни (?) - кариатида на восстановленном судне

Корпус поблескивал черной, как смоль краской; кривизна и палубы подчеркивались двумя наложенными на борта линиями из тонкого листового, золочёного, полотна. Тем же золотом были покрыты буквы названия клипера и порта приписки – «Лондон», а также узор – переплетение гирлянд из лавровых листьев. Центром

кормовой композиции была вырезанная из дерева «Звезда Индии» с многозначительной надписью по кругу: «Небесный свет укажет нам путь». Под звездой красовался фирменный знак Джона Уиллиса – буква W в лучах восходящего солнца.

Судьба чайного клипера «Катти Сарк» оказалась на удивление счастливой, а «жизнь» долгой, вопреки слову «короткая», входящем в его название. Однако успехов в торговых рейсах он своему владельцу так и не принес. А после открытия Суэцкого канала "Катти Сарк" и вовсе оказался невостребованным, уступив место менее быстрому, но более надежному и вместительным пароходам, которым, к тому же, не приходилось огибать африканский континент.

Клиперы изначально предназначались для перевозки чая, теряющего свои качества при длительном пребывании на морском воздухе. Поэтому скорость судна имела большое значение, так как расстояния до Китая, а позже до Индии и Цейлона, откуда англичане и завозили чай, было весьма значительным. Однако, не выдержав конкуренции с пароходами, парусник «Катти Сарк» позднее, начал перевозить шерсть из Австралии в метрополию, и скорость его передвижения уже не была столь значимой. Хотя, как рассказывает Иван Ефремов, при случайно возникших гонках клипера и парохода «Британия», шедшим тем же курсом в Австралию, парусник, вначале, в штиль, отставал. Затем «поймал» попутный ветер, надувший его паруса, и обогнал пароход, показав, на что способен экипаж на счастливом судне.

На этом поприще в 1885-м парусник здорово отличился: добрался из Австралии через Мыс Горн в Англию всего за 72 дня. Его лучший пробег — 360 морских миль (666 км) за 24 часа, за что клипер признали самым быстрым судном его класса. Однажды в шторм он лишился штурвала и части мачт, но выстоял, хотя матросы, запаниковав при резком крене судна, крестились и ещё раз вспоминали и проклинали зловещее имя ведьмы и считали, что всё месть рокового провидения. В Первую мировую войну, в 1915-м, старушка «Катти Сарк», уже разжалованная до перевозки угля, совершила настоящий подвиг: подошла к тонущему английскому кораблю и взяла на борт семьсот терпящих бедствие моряков. А после успешных гонок в Австралию один из сортов виски был назван «Cutty Sark», хотя не ясно в чью честь так был назван крепкий напиток: то ли в честь имени клипера, то ли в честь ведьмы. По-видимому, всё же, в честь ведьмы, но в дни торжества на корабле.

По прошествии времени Тэм О'Шентер, который не побоялся самого черта, удостоился именного скотча. Им стал

новый вариант существующего купажа Cutty Sark 25 YO, обладающий более темным, более необузданным нравом. Бутылка Cutty Sark Tam o' Shanter 25 Year Old изготовлена из коричневого стекла, а на нём выгравирована сцена погони из поэмы Бёрнса. На воске пробки изображено лицо самого Тэма О'Шентера. К памятной бутылке 25-летнего виски Cutty Sark Tam o' Shanter приложена книга – в ней напечатана любимая всеми шотландцами эпическая поэма “Тэм О'Шентер” с красочными иллюстрациями художника Александра Гауди (Alexander Goudie). Так выглядит подарочный набор, предназначенный для традиционного торжественного ужина (Burns Supper), когда принято подавать блюда национальной шотландской кухни, чувствуя память поэта драмом (глотком) виски и декламацией его стихов.



В память о выигравшем гонку клипере при перевозке чая из Китая в Лондон, ещё в 1871 году, в дальнейшем международные гонки больших судов, проходящих раз в два года, назвали в честь этого клипера – Cutty Sark International Tall Ships Race.

Позже из-за возникших финансовых проблем кораблю был продан в Португалию и выкуплен только в 1922 году по инициативе британского энтузиаста капитана Уилфрида Доумана и на его личные сбережения. В сентябре 1922 г. «Катти Сарк» вернулась в Фальмут, с тем чтобы навсегда остаться в Англии. Капитан Доумэн израсходовал все свои средства, чтобы выкупить и восстановить «Катти Сарк». Приобретение мачт и рей было последним усилием старого капитана. Но начатое им дело не остановилось. Был открыт сбор средств на такелаж и каждый из ветеранов флота считал своим долгом что-нибудь достать для

знаменитого корабля, хоть бухту троса или несколько блоков. Кто не мог дать материалов или денег — помогал работой. Сменялись сгнившие брусья и доски обшивки, перестилалась палуба, постепенно выростали громадные мачты.

С 1922 года "Катти Сарк" превратился в учебное судно, последний раз он выходил в море в 1938 году. Парусник стал учебно-тренировочным судном, а в 1938 году был завещан лондонскому мореходному училищу. В конце 1951 г. в Клэрнс-Хауз собралась группа людей, заинтересованных в судьбе клипера, на этот раз под председательством герцога Эдинбургского. Образовалось Общество сохранения «Катти Сарк». Подлинным любителям парусных судов, собравшим по подписке средства на восстановление судна среди всех моряков Англии, удалось его реставрировать и поставить на вечную стоянку в Гринвиче, вблизи королевского Морского колледжа. В 1957 года королева Елизавета II провозгласила открытие музея на знаменитом судне.



Единственное фото "Катти Сарк" на ходу. Снимок сделан капитаном Р. Вуджетом. Картина из коллекции капитана Миллета.

Капитан Вуджет о ней сказал, что не видел лучшего изображения своего судна

Ещё задолго до пожара существовал фантастический проект предупреждения разрушения и консервации легендарного клипера с 2006-го по 2009 год, который был доверен сэру Николасу Гримшоу. Им в ноябре 2004 года был обнародован достаточно смелый план, который прозвали «судном в архитектурной бутылке». Гримшоу предложил выгачить парусник из дока и посадить его в сети из кевлара или арамида - синтетического волокна, обладающего высокой прочностью (в пять раз прочнее стали). Сверху клипер для большей сохранности

был бы полностью покрыт сложным "куполом", напоминающим волны или гигантскую шляпу адмирала. Более простым и подешевле был вариант просто накрыть судно кевларовым колпаком с возможностью осматривать его и снизу. Но проект из-за финансовых проблем не вышел дальше чертежей, а сейчас и вовсе потерял смысл.

В результате пожара одно из главных достопримечательностей города Гринвич и английского флота самый известный в мире трёхмачтовый парусник, 138-летний чайный клипер, знаменитый корабль-музей «Катти Сарк», «полностью в огне» или «очень сильно поврежден». Так звучали тревожные сообщения СМИ всего мира в эти дни.

Это был, стоявший в сухом доке в пригороде Лондона, совершивший в 1872 году 107-дневный «чайный рейд» из Лондона в Китай, последний из оставшихся в мире чайных клиперов, «Катти Сарк».

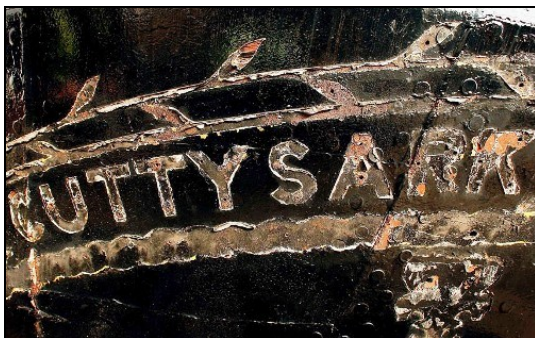
Клипер загорелся во время его реконструкции. Он должен был вновь открыться для посетителей в 2009 году. На обновление клипера британское правительство выделило почти \$50 миллионов. Но для спасения сгоревшего судна теперь правительству её Величества придётся раскошелиться на значительно бóльшую сумму.



Клипер в огне

Кое-что из такелажа и устройства всё же не пострадало – около половины деталей судна, включая мачты, паруса, резную фигуру с бушприта, были вывезены на время реконструкции и хранились в другом месте. Так уж совпало. Поэтому есть маленькая надежда, что "Катти Сарк" однажды вернется, хотя на месте «Катти Сарк» остался почерневший остов, так как, по

сообщению представителя пожарной бригады прессе пылало 100% поверхности парусника.



Сохранившееся после пожара имя парусника

На следующий день после пожара пепелище посетил герцог Эдинбургский, возглавляющий Фонд "Катти Сарк". Он сравнил происшествие с пожаром в Виндзорском замке 1992 года, от которого резиденция британской королевы значительно пострадала. Но ныне замок восстановлен и открыт для проживания королевы и для публичного обзора. Этот факт вселяет надежду и на восстановление судна.

Тогда я думал:- «Поможет ли имя паруснику воскреснуть, либо он будет предан забвению, как и легенда шотландских болот, ведьма Нанни. Что покажет будущее? Надеялась Англия, надеялись сотрудники Гринвичского музея, надеялся и я, так как хотел, чтобы моя фотография ещё ожила, а кто-то мог бы тоже сделать такой снимок, но на фоне красавца клипера «Катти Сарк».



Наконец всё свершилось, и в среду 25 апреля 2012 года Королева Великобритании Елизавета II в торжественной

обстановке открыла чайный клипер "Катти Сарк" после пятилетней реставрации.

Вот и не верь теперь, после описанного, в мистические предчувствия и в значение имени...



Александра Куликова Российская Неделя Искусств



17 по 20 апреля 2013 года в одном из павильонов парка «Сокольники» под патронатом международного фонда «Искусство будущего» начнет работу выставка-конкурс «Российская неделя искусств/Russian Art Week» (www.artweek.ru).

Журнал "Семь искусств" – официальный информационный спонсор этого мероприятия



Российская Неделя Искусств

В апреле 2013 года каждый, кто увлечен творчеством и искусством, сможет найти себя, попытаться счастья или с пользой провести время, для дальнейшего профессионального роста, в КВЦ «Сокольниках» на весенней Международной выставке современного искусства.



Современная выставочная площадка конгрессно-выставочный комплекс «Сокольники», павильон 7А. Эксклюзивный двухэтажный павильон общей площадью 3650 кв.м

Всё то прекрасное, что происходит вокруг нас, всё, что рождается под кистью художника, под сильными руками скульптора, при помощи ловких движений компьютерной мышки дизайнера и т.д. – это актуальное, происходящее прямо сейчас, современное искусство! В нем отражаемся мы, наша, жизнь,

чувства, переживания, стремления и надежды. За всеми этими процессами так интересно наблюдать, участвовать в них и анализировать происходящее. «Российская Неделя Искусств / RUSSIAN ART WEEK» как раз то исключительное событие в Мире Искусства, дающее не только возможность выразить и заявить о себе практически любому автору, но и окунуться в атмосферу творчества и созидания



12-я Российская Неделя Искусств. Международный конкурс декоративно-прикладного искусства. Профессиональная категория: Любитель. Номинация: Декоративные объемные объекты. 1 МЕСТО Куликов Игорь Николаевич Конкурсная работа: Скульптура «Цейтнот»

Общая программа Российской Недели Искусств «Весна 2013» не будет замыкаться только на выставке-конкурсе, помимо всего прочего она будет включать в себя:

1. Международную Выставку-ярмарку – возможность не только выставить свои работы, но и найти на них покупателя.
2. Научно-практическую конференцию «Искусство будущего» - станет важным академическим вкладом в обсуждение и решение различных вопросов, проблем Творчества и Искусства.

3. Мастер-классы и лектории – известные художники и мастера своего промысла делятся своим опытом, знаниями, ноу-хау.

4. Международный пленэр - по мнению организаторов, позволит установить новый рекорд Книги Гиннеса – «Самый многочисленный пленэр в мире».

Новый формой работы Российской Недели Искусств в 2013 году станет стильная и эффективная художественная выставка-ярмарка, которая должна привлечь посетителей с подлинной страстью к искусству, от серьезных коллекционеров до тех, кто покупает свою первую оригинальную работу. На ней будет представлен широчайший спектр уникальных арт-объектов. Международная выставка-ярмарка – превосходный повод для важного разговора и идеальное событие для выстраивания дружеских взаимоотношений с галерейстами и меценатами, стремящимися приобрести эксклюзивные произведения современного искусства.



Российская Неделя Искусств «Осень 2012»
Мастер-класс «Богородская резьба по дереву».
Лектор: Вайсера Валентина Филипповна

Традиционным в программе XIII Международной выставки Russian Art Week будет выставка-конкурс, которая охватит практически все категории творчества:

- 1) Международный конкурс живописи
- 2) Международный конкурс графики
- 3) Международный конкурс графического дизайна
- 4) Международный конкурс скульптуры
- 5) Международный декоративно-прикладной конкурс

6) Международный конкурс художественного текстиля

7) Международный конкурс фотографии

Без изменений останутся также способы участия в конкурсе, как очная, так и заочная форма участия. Конкурсные работы будут оцениваться членами Экспертного Совета – профессиональным жюри. В состав Экспертного Совета войдут как представители Мира Искусства и арт-индустрии из России, так и из стран Евросоюза, Америки и Азии.

Оргкомитет проекта придерживается принципа сохранения в выставке-конкурсе образца музейного качества современного российского и иностранного искусства, объединяя работы маститых художников и тех, кто еще не известен в мире искусства. По итогам проведения мероприятия все работы участников выставки-конкурса входят в каталог «Новые лица в искусстве», что продлевает презентацию их творчества не только в России, но, и представляет в странах дальнего зарубежья.



Член жюри конкурса Фотографии Российской Недели Искусств
«Осень 2012» Сергей Львович Лидов

Уже седьмой год подряд проект включает в свою программу большой образовательный блок - мастер-классы, лектории и творческие встречи, на которых известные художники и мастера своего промысла делятся своим опытом, знаниями, ноу-хау. Известные живописцы, графики, скульпторы, фотографы и художники, работающие в области декоративно-прикладного искусства из России, стран СНГ и нескольких европейских стран дают открытые для широкой аудитории специализированные уроки. Слушателям будет интересно узнать о специфических техниках, материалах и подходах, используемых в мировой практике создания арт-объектов.

Важным академическим вкладом в решение различных вопросов и проблем Творчества и Искусства станет Международная художественная конференция «Искусство будущего». В конференции примут участие представители общественных организаций – Союзы и Ассоциации художников, дизайнеров, фотографов, мастеров декоративных промыслов, представители городских и федеральных структур власти, руководители высших учебных заведений и заведующие художественных кафедр, директора галерей, салонов и дизайн-студий, искусствоведы, журналисты и главные редактора журналов, специализирующихся на освещении вопросов Мира Искусств и арт-индустрии. Основным лейтмотивом конференции станет рассмотрение вопросов практической реализации знаний, опыта, навыков и методов в области Мира Искусства и Арт-индустрии; методики, стимулирующие творческий потенциал; тенденции Мира Искусства и механизмы их формирования; коммерческое продвижение творческой личности и произведений. Формат конференции предполагает официальные мероприятия, доклады, брифинги, круглые столы и творческие встречи. Материалы конференции публикуются в форме сборника статей, и будут доступны в бумажном и электронном виде.



Российская Неделя Искусств «Осень 2012».
Мастер-класс «Основы рисования фигуры человека, как элемента пейзажа или интерьера». Лектор: Агапова Елена

Российская Неделя Искусств проводится два раза в год, в весенний сезон обычно проводятся пленэры для участников. В 2013 году не будет исключением, но будущий пленэр планируется

в расширенном формате. На нем будут представлены российские и европейские художественные школы живописи и акварели. Каждый посетитель выставки сможет попробовать себя в амплуа художника, графиста или другого мастера, насладиться природой и творческой атмосферой, царящей в Сокольниках. Рисование на открытом воздухе, на природе позволяет отточить своё мастерство с любым доступным материалом – будь то пастель, акварель, масло или любой другой. В течение всего проекта с 17 по 20 апреля – участники пленэра будут писать картины под руководством известных живописцев и акварелистов, а все желающие смогут проследить за процессом создания полотна от эскиза до готового произведения.

Используя уникальную возможность провести массовый пленэр в удобном для этого парке «Сокольники», организаторы Недели Искусств решили пригласить на пленэры жителей Москвы и установить новый рекорд Книги Гиннеса – «Самый многочисленный пленэр в мире». Статистика предыдущего года показывает, что аналогичный рекорд был установлен в Калькутте (Индия), и участвовало в нем 2800 человек.



Церемония награждения Российской Недели Искусств

Для гостей Российской Недели Искусств «Весна 2013» будут организованы специальные программы на время их пребывания в павильоне. Это аэрография и песочное шоу, выступление мимов и специальные концертные номера экспериментальной музыки. Разнообразные мероприятия не оставят равнодушными любую публику! А наличие звезд и богемных гостей на самом мероприятии всегда вызывает большой интерес со стороны средств массовой информации.

Такое разнообразие программы позволит найти каждому участнику проекта своё место на этой международной арене, увидеть своими глазами инновации и тенденции, которые происходят в мире культуры и искусства. Для многих авторов участие в RUSSIAN ART WEEK становится хорошим стартом для вхождения в Мир Большого Искусства.

Подробнее о проекте и возможности участия вы можете узнать на сайте www.artweek.ru



Лев Мадорский, Анатолий Зак

Удивительные истории о музыке

(продолжение. Начало в №6/201)

Однорукий скрипач



еловек, который любит музыку, способен творить чудеса...

3 июня 1929 года мексиканскому мальчику Анхелю Тавира исполнилось пять лет. Вечером после праздничного ужина, на котором собралась вся семья (родители, трое детей и дедушка) папа весело подмигнул, встал на стул, достал со шкафа продолговатую картонную коробку, перевязанную цветной ленточкой, и вручил её Анхелю: «Это тебе». Мальчик стал быстро развязывать ленточку. Она не развязывалась. «Давай помогу, - подбежала старшая сестра Глория. «Нет, я сам. Я сам». Наконец, у него получилось. Анхель открыл коробку и закричал от восторга. Там, поблескивая розоватым лаком, лежало то, о чём уже давно мечтал - маленькая скрипочка. Не игрушечная, которая у Анхеля уже была, а самая что ни на есть настоящая. Позже Анхель вспоминал, что тот день рождения был для него самый счастливый.

До этого скрипки были почти у всех: у дедушки, папы, дяди, старшей сестры. Потому что семейство Тавира зарабатывало себе на жизнь тем, что работало уличными музыкантами. А, точнее, уличными скрипачами. Это была самая, пожалуй, большая династия мексиканских уличных скрипачей.

Уличные музыканты - это совсем не то, что обычные музыканты. Большинство из них никогда не посещало музыкальную школу. Многие даже не знают нотной грамоты. Им приходится играть при любой погоде. Иногда их, как обычных нищих, гоняет полиция. Бывало, что проиграв целый день, они зарабатывали недостаточно, чтобы поужинать. И всё же среди уличных музыкантов встречаются настоящие мастера своего дела. Которые могли бы украсить любой оркестр или даже выступать как солисты. Во всяком случае, в Мексике эта профессия была и

остаётся уважаемой и мало кто из обычных музыкантов может так же хорошо, как уличные, сыграть мексиканскую народную музыку: танго, марьячи, кукарача и др. Поэтому в Мексике без них не обходится ни одна свадьба, ни один большой праздник.

С того дня скрипка стала лучшим другом Анхеля. Он любил разговаривать с ней как с живой. Иногда, даже тайком от родителей брал с собой в постель. Вообще-то, он в глубине души и считал её живой. Потому что только живое существо может издавать такие красивые звуки и говорить человеческим голосом. Особенно, когда её берут в руки папа и дедушка. Папа стал первым учителем Анхеля.

- Почему, когда я играю, она так сердится, скрипит и не поёт красиво как у тебя? – спрашивал Анхель папу.

- Потому что так она говорит тебе: «Ты неправильно держишь смычок. Ты слишком сильно жмёшь на струны. Ты мне делаешь больно». Когда ты будешь держать смычок и скрипку, верно, она с тобой подружится и начнёт петь красиво.

Анхелю очень хотелось подружиться со скрипкой, и он много занимался. Играл упражнения и пьесы, которым показал ему папа. Постепенно он замечал, что скрипка уже не так сердится и голос её становился всё более красивым и певучим.

Однажды наступил день, и папа пошёл на работу играть на улице вместе с сыном. К этому дню Анхелю приготовили сомбреро и мексиканский костюм. Он волновался так, как если бы это было выступление в настоящем концертном зале. Игру маленького музыканта прохожие принимали хорошо. Теперь каждый день после школы мальчик играл на улице два-три часа. Со временем он стал играть один. Без папы. Мастерство юного скрипача росло с каждым днём.

Беда пришла, как это всегда бывает, неожиданно, 31 января 1942 года. Прямо под новый год. Анхелю было 13 лет. В тот вечер, как и под Рождество, у уличных музыкантов много работы. Да и платят прохожие в праздничные дни особенно щедро. Анхель так увлёкся игрой, что не заметил, как мальчишки, чтобы подшутить над юным музыкантом, подложили петарду прямо у его ног. Они не хотели ничего плохого, но случилось ужасное. Петарда взорвалась и тяжело ранила мальчика. Истекающего кровью скрипача скорая помощь доставила в больницу. Вскоре началась гангрена, и врачи вынуждены были ампутировать ему кисть правой руки.

Когда Анхель выписался из больницы, он впал в глубокую депрессию. Жизнь потеряла смысл. Он даже перестал ходить в школу. Отец отвёз его в клинику пластической хирургии

в Мексико. И тут мальчику повезло. Ему захотел помочь чудо-хирург Освальдо Риос: «Я сделаю тебе такой протез, - сказал он, - что ты сможешь снова играть на скрипке». В то время пластическая хирургия делала только первые шаги, и мало кто верил в такую возможность. Но у Анхеля появился шанс и он решил сделать всё возможное и невозможное, чтобы его использовать. Когда протез был готов, однорукий скрипач взял в искусственную руку смычок и начал заново учиться играть. Чтобы снова скрипка запела человеческим голосом. Это был адский труд. По много часов каждый день. Чтобы скрипка красиво пела, музыкант и инструмент должны хорошо чувствовать друг друга. Должны составлять, как бы, одно целое. Добиться этого с протезом было очень нелегко. Порой, особенно, первое время приходилось преодолевать нестерпимую боль. Когда пишем о Анхеле Тавира, вспоминаем лётчика Алексея Маресьева, который потерял обе ноги, но сумел вернуться в небо. У Анхеля, как и у Алексея, получилось. Он сумел подняться в небо: снова вышел на улицу и стал играть. Со всего города приходили люди послушать однорукого скрипача. Не только прослушать, но и убедиться на что способен человек, если он чего-нибудь очень захочет.



Анхель Тавира

В 60 лет Анхель Тавира (рекорд для книги Гиннеса) поступил в консерваторию. В 2006 году, снялся в главной роли в фильме режиссера Фернандо Варгаса «Скрипка» и получил за эту роль пальмовую ветвь Каннского фестиваля. Однорукий скрипач прожил долгую жизнь и умер 1 июля 2008 года в возрасте 84 лет. В центральной мексиканской газете ему был посвящён некролог, заканчивающийся словами: «Умер скрипач, доказавший, что любовь к музыке позволяет сделать невозможное».

НАРОДНАЯ МУЗЫКА ПОБЕЖДАЕТ БЕЗВКУСИЦУ

Не все согласятся, но, по нашему мнению, конкурс «Евровидение» редко пересекается с настоящей музыкой. Чаще это не столько музыка, сколько яркие костюмы, прекрасно оформленные танцевальные номера и шумовые эффекты. Оценка этих эффектов происходит не столько с музыкально-эстетической, сколько с национально - патриотической точки зрения. Поэтому удивительная история ансамбля бурановских бабушек, исполняющего народные песни, и ставшего кандидатом на участие в «Евровидении», символична. Суть истории этой мы вынесли в заголовок и готовы повторить ещё раз: народная музыка побеждает безвкусицу.

Если проехать по шоссе от Ижевска на восток вёрст 30-35 (чтобы войти в ритм этой чисто российской истории будем измерять расстояние в вёрстах), а потом через лес, по просёлочной, мало хоженой дороге ещё вёрст пять, то попадаешь в деревню Бураново. Довольно большую. Примерно, 200 дворов. Если вы приехали зимой часов в пять, то кругом стоит темень. Единственно освещённое место - высвеченный прожектором скотный двор. И ещё светятся окна сельского клуба, откуда разносится по всей деревне стройное, душевное пение. Это репетирует хор бабушек - главный герой нашей удивительной истории. Остановитесь, прислушайтесь и услышите удмуртские, русские народные песни, другие песни в народной обработке.

В этой истории три составляющие, которые удачно совпали и создали этот своеобразный феномен: народная музыка, певучие, деревенские старушки, или, как их ласково называют, «бабули», из забытой богом удмуртской деревни, и талантливый руководитель, Ольга Туктарёва.

Народная или фольклорная музыка, прекрасная и разнообразная, как известно, является музыкально-поэтическим творчеством народа. Но это вовсе не музыка второго сорта. Народная музыка, без сомнения, не только стоит в одном ряду с музыкой классической, но, зачастую, является для последней важным источником вдохновения. Не случайно многие композиторы - классики использовали народные мелодии в своих произведениях. Например, русская народная песня «Во поле берёза стояла» в четвёртой симфонии П.Чайковского, или русская народная песня «Во саду ли в огороде» в опере Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Из народной музыки черпали мелодии М. Ипполитов-Иванов, М.Глиэр, И.Стравинский

(вспомним хотя бы его балет «Жар-птица»), Б.Барток, З.Кодаи, М.Глинка, Л.Бетховен, многие другие композиторы.



Хор «Бурановские бабушки»

«Бабули». Бабушкам в хоре, в основном, далеко за семьдесят. Таких старушек, добрых, всё понимающих, ласковых, («Зайди сынок, попей молочка») можно, наверно, встретить только в русских деревнях.

- Мы пели всегда, - так ответила на вопрос корреспондента местной газеты: «Когда вы начали петь?» старейшая участница хора Елизавета Зарбатова (84). – В нашей деревне испокон веков пели народные русские и удмуртские песни. И когда пряли, и на сенокосе, и на скотном дворе, и когда на грузовике с полевых работ возвращались. Раньше пели и на свадьбах и на больших праздниках. Говорю раньше, потому, что теперь молодых в деревне, практически, не осталось. Все в город уехали.

Ольга Туктарёва. Без неё бы, конечно, эта удивительная история не состоялась. Ольга родилась и выросла в Бураново. С детства любила петь. И мать у неё была певунья, и бабушка. Ольга училась в Кирове. Потом что-то не сложилось. Она вернулась в деревню и иногда пела вместе с бабушками. Позже стала заведующей сельского клуба.

Ольга – человек талантливый и энергичный. Всё, что делает, делает основательно. «Если хор так хорошо поёт, - посчитала она, - то почему он не может спеть для других. Мы вполне могли бы пением заработать деньги на постройку нового клуба». Молодая заведующая становится не только художественным руководителем хора, но и деловым организатором. По-современному - продюсером. Бабушки тоже загорелись. «Если получится заработать деньги, - решили они, - построим православный храм».

И дело начало раскручиваться. Местные рукодельницы пошили для хористок удмуртские национальные костюмы. Ольга под будущие заработки пригласила хорошего баяниста из города. Но главной силой стала, конечно, прекрасная, народная музыка.

О бабушках узнали. О них стали писать в газетах. Их приглашали выступить на праздниках, на свадьбах в городе. Про них организовали передачу работники местного телевидения. Постепенно хор бабушек стал своеобразным культурным брендом Удмуртии. И вот, как кульминация, приглашение «Бурановских бабушек» в 2010 году выступить в Москве на отборе к ежегодному конкурсу «Евровидение». Бабушки занимают второе место после Петра Налича. В 2011 году ещё одно приглашение. На этот раз они получают третье место.

В чём секрет успеха бабушек из Бураново? В талантливом организаторе и руководителе? Да, конечно. В хороших голосах старушек? Тоже. Но главный секрет успеха, повторяем, в силе музыки. Удивительной силе народной музыки. Музыка, которая пробилла все препоны шоу-бизнеса, разбросала в стороны однотипных, как будто клонированных, «звёзд» и расставила всё по своим местам. Благодаря исполнительницам народных песен, бабушкам из Буранова, всем стало ясно, где искусство, а где безвкусица...

ОРДЕН ЗА МУЗЫКАЛЬНУЮ ПАМЯТЬ

Трудно поверить, но такое, действительно, случилось. Орден за музыкальную память получил в 1770 году 14-летний мальчик. Впрочем, не простой мальчик, а Вольфганг Амадей Моцарт. И не от кого-нибудь, а от папы Римского.

Чтобы лучше понять в чём, собственно, состоял подвиг юного Моцарта, давайте разберёмся, что означает это словосочетание - музыкальная память? Ведь наряду с музыкальным слухом и ритмом, музыкальная память традиционно входит в число компонентов, определяющих музыкальные способности ребёнка. Во всяком случае, в тех музыкальных школах, где мест меньше, чем желающих, и при поступлении есть конкурс. После обычных «Спой песню, простучи ритм», приёмная комиссия просит: ребёнка повторить мелодию. Считается, что чем более длинную и сложную мелодию сумеет повторить юный абитуриент, тем лучше у него музыкальная память.

Музыкальная память – это, с одной стороны, способность узнавать музыкальные произведения и, с другой, играть те или иные пьесы, подчас, очень длинные, без нот. Наизусть. Нас иногда спрашивают, чем отличается музыкальная память от обычной

человеческой памяти. Отвечаем: ничем не отличается. Это просто один из видов памяти. Как есть память на лица, на местность (одни люди ориентируются хуже, другие лучше), на запоминание стихов, так есть память на узнавание и исполнение музыкальных произведений.



Вольфганг Амадей Моцарт

Мнения о том, как проходит запоминание исполняемого произведения у музыкантов разделились. Одни (Г.Нейгауз, А.Рубинштейн) считали, что надо запоминать осмысленно. Другими словами, чтобы лучше запомнить, необходимо проанализировать произведение. Представить себе его структуру, гармонию, эмоциональный характер. Другие (Д.Ойстрах, С.Рихтер) были убеждены, что музыкальные произведения запоминаются автоматически, само собой, в процессе работы. Авторы тоже придерживаются последней точки зрения. Не случайно говорят о механической, произвольной «памяти пальцев».

Конечно, у всех процесс запоминания происходит индивидуально. Одни музыканты запоминают быстрее, другие медленнее. Одним помогает погружение в те или иные образы, воспоминания, у других, как, например, у А.Скрябина музыка вызывает цветовые ассоциации. То, что сделал Моцарт,

совершенно невероятно и вряд ли кто-нибудь, когда-нибудь сможет это повторить. А дело было так...

В 1770 году Моцарт и Наннерль (сестра Моцарта прекрасно играла на клавесине) были на гастролях в Риме. У Наннерль приближался день рождения и Вольфганг раздумывал, какой же сделать подарок любимой 16-летней сестричке. Как-то он услышал, что по религиозным праздникам папский хор исполняет литургическую мессу известного итальянского композитора Грегорио Аллегри для двух хоров. Рассказывали также, что месса Аллегри – личная собственность папского хора. Её ноты запрещено переписывать и, тем более, издавать. Месса хранится в Ватикане под строгой охраной в рукописи и в одном экземпляре. Тогда у юного композитора появляется сумасшедшая, немного мальчишеская идея - записать по памяти эту мессу и подарить ноты сестре.

Как раз приближался религиозный праздник. Моцарт пошёл в церковь, прослушал один раз эту сложнейшую, девятиголосую, длившуюся целый час, мессу и, придя домой, записал её в нотах. По памяти! Наннерль была очень довольна необычным подарком.

Доносчики Папы Римского знали всё и через некоторое время Святейшему сообщили о случившемся. Но он не поверил: «Человеку такое не под силу» Однако, упорные слухи, что великий музыкант сделал невозможное, продолжали ходить по городу. Однажды вечером около гостиницы, где во время гастролей проживал Леопольд Моцарт с детьми, остановилась карета с папским вензелем. Из неё вышел священник в чёрной сутане. Он спросил портье, в каком номере проживают Моцарты, поднялся на второй этаж и постучал. Открыл дверь Моцарт старший.

- Я руководитель папского хора, - представился пастор.

- Проходите, пожалуйста, садитесь, - пригласил его Леопольд, подозревая, о чём пойдёт речь, и немного волнуясь.

Они сели. Вольфганг и Наннерль вышли из соседней комнаты.

- Это правда, что Ваш сын по памяти записал мессу Аллегри?»

Леопольд помолчал и посмотрел на сына.

- Да, правда, - сказал мальчик. – Разве это запрещено?

- Принеси, пожалуйста, ноты, - не отвечая на вопрос, попросил пастор.

Вольфганг взглянул на сестру. Та ушла соседнюю комнату вернулась с рукописью и передала её священнику. Тот погрузился в изучение нот. Все напряжённо молчали.

- Просто немислимо! - воскликнул пастор, просмотрев ноты до конца. - Я не нашёл ни одной ошибки. Неужели ты слушал мессу всего один раз? – спросил он мальчика.

- Да, один.

Пастор восхищённо развёл руками и удалился.

Через некоторое время вышел указ папы Римского о награждении Вольфганга Моцарта одним из высших орденов Ватикана, орденом рыцаря Золотой Шпоры за удивительный, данный Богом, музыкальный дар.

ШАЛЯПИНА НЕ ПРИНИМАЮТ В ХОР, А ВЕРДИ В КОНСЕРВАТОРИЮ



Фёдор Иванович Шаляпин

Сын крестьянина Федор Иванович Шаляпин родился и провёл детство в Казани. Семья жила крайне бедно и Федя с детства вынужден был зарабатывать себе на жизнь самостоятельно. У мальчика был красивый голос (дискант) и он любил подпевать

матери. Когда Феде исполнилось 15 лет, он прочитал в местной газете, что объявляется конкурс на место хориста в Казанский драматический театр. Это был прекрасный случай улучшить материальное положение семьи. Трудность была в том, что как раз в это время у подростка началась голосовая мутация.

Прослушивание было назначено в 10 утра, но Фёдор пришёл на час раньше. Однако оказался не первым. У дверей в театр уже прохаживался долговязый юноша лет 18-ти. Прослушивал конкурсантов весь хор. Федю пригласили первым. Никогда ещё он не выступал перед таким количеством слушателей. Неизвестно какую песню выбрал мальчик. Позже, уже будучи известным певцом, Шаляпин рассказывал, что спел очень неудачно. Чуть ли ни после каждой ноты, что называется, «давал петуха». В хор отобрали долговязого, сильно «окающего» юношу.

Через много лет, когда в Нижнем Новгороде познакомились, а позже, подружились уже известный певец Фёдор Шаляпин и молодой, подающий надежды писатель, Алексей Пешков (Максим Горький), Шаляпин рассказал Пешкову-Горькому историю своего провала в хор.

Горький расхохотался: «Феденька, это же был я. Правда, вскоре меня из хора выгнали, так как голоса у меня не было никакого».

Гениальный итальянский композитор Джузеппе Верди (полное имя Джузеппе Фортунино Франческо) родился в 1813 году в глухой деревушке Ле Ронколе на севере Ломбардии, в небогатой семье трактирщика. Он тянулся к музыке и начал учиться игре на органе у местного деревенского органиста Петро Байстрокки. Позже музыкальное дарование Джузеппе заметил купец и любитель музыки Барецци и в 12 лет мальчик переезжает жить к нему в Буссето. По воскресеньям Джузеппе приезжает к себе домой в Ле Ронколе и играет там в церкви на органе. С 17 лет он также становится штатным органистом в Буссето.

В 1833 году, когда Верди исполняется 20 лет, муниципалитет города выделяет юноше стипендию для обучения в миланской Консерватории, в то время лучшей в Италии. И тут случается невероятное. Верди в Консерваторию не принимают ввиду, как записано в решении приёмной комиссии, «...недостатка музыкальных способностей». Остаётся добавить, что после смерти великого композитора миланской Консерватории присвоили имя Джузеппе Верди.

Подобные нелепые ошибки встречаются не так уж редко. Это только кажется, что большой талант всегда найдёт своё место.

Особенно много ошибок происходит на приёмных экзаменах в музыкальную школу. Причины разные. Встречаются дети замкнутые, застенчивые, которые теряются при виде приёмной комиссии. У других плохо развит голосовой аппарат или очень небольшой диапазон голосовых возможностей. Поэтому они не могут повторить голосом тот или иной звук (это часто входит в программу экзамена) или спеть песню. Встречаются музыкально одарённые дети, которые попросту не знают песен и потому остаются за бортом музыкального обучения. И мы, возможно, теряем великих музыкантов или композиторов.



Джузеппе Верди 1888 г.

Что можно посоветовать родителям? Узнайте заранее требования приёмного экзамена и соответствующим образом подготовьте ребёнка. Разучите с ним песню. Научите повторять за вами (хлопать в ладоши или стучать на бубне) тот или иной ритм. Сначала простой, потом более сложный. Неплохо, если удастся показать сына или дочь преподавателю музыкальной школы, чтобы он прослушал ваших детей в спокойной обстановке.

ГАММЕЛЬНСКИЙ ДУДОЧНИК

Благодаря легенде о гаммельнском дудочнике, (его ещё называют «гаммельнский крысолов», а также, видимо, за пристрастие к яркой одежде, «пёстрый дудочник», «пёстрый флейтист»), город Гаммельн в Германии излюбленное место для

туристов. Гиду есть, что показать экскурсантам: дом крысолова, улицу молчания, где нельзя играть на музыкальных инструментах, церковь XIII века с табличкой, рассказывающей о произошедших в легенде событиях, мост через реку Везер, по которому дудочник вошёл в город.

Легенда о дудочнике явно отличается от других произведений средневекового фольклора. Отличается не только необычностью сюжета, но и его почти документальной подтверждённой. Судите сами. Нам известна точная дата, когда эти удивительные события произошли - 6 июля 1284 года. В день святых Иоанна и Павла. Этот день официально считается началом истории Гаммельна. В ежегодных празднованиях, посвящённых этому событию, проводятся костюмированные балы, на которых, как правило, обыгрываются события легенды.



Гаммельн, 2009 год

Этим событиям историк и монах Йобус Финцелиус во второй половине XVII века посвятил целую главу в книге «Правдивые описания событий необыкновенных». Да, что там главу. Современная американская исследовательница Шейла Хартли посвятила целую жизнь сбору данных, подтверждающих эти события. Именно она нашла в Хрониках 1384 года запись: «Десять лет назад пропали наши дети».

Думаем, что достаточно заинтриговали читателя, чтобы перейти к изложению самой легенды.

В начале 80-х годов XIII века город Гаммельн подвергся крысиному нашествию. Крыс было так много и они были такие большие, что справиться с ними городу оказалось не под силу. Злобные, вечно голодные животные огромными стаями бегали по городу, нападая не только на кошек и собак, но даже на маленьких

детей. Это была катастрофа. Жители покидали город. Спасение пришло неожиданно. 26 июня 1284 года весёлый молодой человек в красной шляпе и ярком костюме охотника вошёл в город и направился к зданию магистрата.



Дудочник уводит из города крыс

- Я могу спасти город и уничтожить крыс, - твёрдо заявил он бургомистру. - Сколько Вы заплатите за это?

- Если сможете уничтожить крыс, - воскликнул бургомистр, - то мы дадим Вам столько золота, сколько Вы сможете унести. - Горожане, присутствовавшие при разговоре, громкими криками подтвердили слова бургомистра.

Тогда молодой человек достал из кармана серебряную флейту (в некоторых вариантах дудку) и заиграл. На необыкновенно красивые звуки стали собираться крысы. Огромные полчища крыс. Флейтист, играя, уходил из города, а крысы шли за ним. Он зашёл в реку и утопил всех, оказавшихся такими музыкальными, грызунов.

Однако, счастливый конец не наступил. Напротив, дальнейшие события приобретают трагический характер. Когда крысолов-дудочник вернулся за обещанной оплатой, то получил отказ.

- Если каждый будет получать кучу золота за игру на флейте, это будет слишком накладно для города, - заявил бургомистр под одобрительные возгласы всё тех же горожан.

- Но Вы же обещали, - возмутился дудочник.

- Да, пообещал сгоряча. Извините, - ответил бургомистр. Выражаясь современным языком, «...чего не скажешь в шутейном разговоре».

Молодой человек ушёл, затаив обиду. Через несколько дней он снова в том же ярком костюме появился в городе. На этот раз, когда «крысолов» достал флейту и заиграл, стали собираться замороженные его игрой дети. Флейтист уходил из города и дети, 130 мальчиков и девочек, уходили за ним. Больше никто детей не видел. По одной версии, молодой человек увёл их в пещеру горы Коппельберг и никого из них больше не видели, по другой, дети перешли горы и обосновались в Трансильвании, сегодняшней Румынии.



Дудочник уводит детей

О чём эта легенда? О наказании за обман или о волшебной силе музыки? Наверно, и о том и о другом. Во всяком случае, на протяжении многих столетий трагедия, разыгравшаяся в Гаммельне, привлекает внимание поэтов, писателей, композиторов. Из наиболее известных произведений отметим балладу И. Гёте, стихотворение «Крысолов» Г. Гейне, рассказ А.Грина под таким же названием, «Романс Крысолова» И. Бродского, Романс «Крысолов» С. Рахманинова, пьесу американского драматурга Р. Нолли «Пёстрый флейтист», концерт для флейты с оркестром Д. Корньяна.



Светлана Богданова

Интервью с Оскаром Борисовичем Фельцманом

В квартире композитора, Москва, Газетный пер., д. 13

Время: 8 августа 2012 г., 14-00

Беседовала Светлана Анатольевна Богданова



- **асскажите, пожалуйста, о своем детстве, где Вы родились, в какой семье, что Вы помните...**

- Сейчас я все Вам расскажу. Родился я в Одессе, в семье врача. Откуда, как моя семья пришла в Одессу я не знаю. Отец мой был врачом, а мама, как сейчас принято говорить, домашняя хозяйка. Ее звали Циля Абрамовна, девичья фамилия ее была Рабинович. Но надо Вам сказать, она была домашней хозяйкой, которая исполняла огромную роль в моей жизни. Может быть, если бы не мама, я не был бы таким композитором, как сейчас. Мама уделяла мне огромное внимание, водила меня в музыкальную школу, потом в консерваторию: в общем, она жила моей жизнью музыкальной.

Родился я на Малой Арнаутской улице. Я мог бы родиться на Большой Арнаутской, но родился на Малой. Малую Арнаутскую все знают, это знаменитая улица, а Большую Арнаутскую не все знают. Но, так получилось. У меня были дедушка и бабушка, с маминой стороны. О них я всегда говорю с огромной нежностью и с большим волнением. Я их очень любил. И сейчас, когда их давно уже нет, я их люблю по-прежнему. Эти замечательные люди тоже сыграли в моей жизни огромную роль и уделяли мне огромное внимание. Очень были довольны, что я занимаюсь музыкой и помогли мне во всем.

В нашей квартире был рояль. На этом рояле я с четырех лет играл до поступления в московскую консерваторию.

Я должен Вам сказать, что я был связан с музыкой накрепко. Не такого дня, нет такого периода жизни, чтобы я был без музыки. Мой отец был врачом, одним из самых знаменитых врачей-хирургов в Одессе. Но кроме того, что он был хирургом, он еще был музыкантом. Он учился музыке и очень хорошо играл на рояле. В Одессе, знаете, все с юмором. Про него шутили, что среди музыкантов он самый лучший врач-хирург, а среди

хирургов он самый лучший музыкант-пианист. Вот в такой обстановке я родился и в такой обстановке я жил.



Оскар Борисович Фельцман и его жена
во время проведения интервью

У нас в доме, внизу, была синагога. И я как сейчас помню, мне было тогда четыре года, пять лет, мой дедушка меня повел в эту синагогу, и я слышал, как поют канторы, как поют люди, как звучит еврейская музыка. Я должен Вам сказать, что это произвело на меня огромное впечатление. Я до сегодняшнего дня чувствую, что вселил в меня еврейский дух вот этот самый кантор в еврейской синагоге на Малой Арнаутской. Это большое-большое дело.

Я учился в знаменитой школе имени Столярского.

- У него самого?

- Нет, я сейчас расскажу как я учился. Я у Столярского, у самого, занимался две недели. Знаете почему? Вначале меня папа и мама привели к Столярскому, он был скрипичным мастером. Он меня послушал и сказал: «Я с этим мальчиком буду заниматься». Но, должен Вам сказать, что я две недели только прозанимался у Столярского, а потом я ему сказал: «Я больше не хочу у Вас учиться. Я хочу играть не стоя, а сидя». Он ответил: «Тогда Вас надо отвести к Берте Михайловне Райнбалд. Она будет Вас учить играть на рояле. И будете сидеть». И с тех пор я учусь и играю на рояле.

Я Вам должен сказать, что интуитивно я сделал это очень правильно, потому что рояль – это оркестр, а скрипка, все-таки, это не совсем... у нее, ограниченные, сравнительно, возможности.

У рояля больше, все-таки, возможностей. И вот я учился игре на рояле в школе Столярского. Я очень хорошо занимался и делал большие успехи. И в 1939 году, когда я поехал в консерваторию, я играл концерт Рахманинова с оркестром. Я был, одаренным, в общем, мальчиком.

В то время, когда я жил в Одессе, в Одессе были замечательные музыканты. Я учился, и рядом со мной был гениальный, выдающийся пианист Эмиль Гилельс. Я учился у Берты Михайловны Райнвальд, которая учила Эмиля Гилельса (он был старше меня). И я мог слушать, как он играет и как он занимается, это большое-большое было дело.

В 1939-м году я уехал в Москву и держал экзамены в консерваторию. Я должен Вам сказать, что я лучше всех поступил в московскую консерваторию. Я был очень хорошо подготовлен. В Одессе я не только учился игре на рояле, а я рано начал писать музыку. В пять лет уже были мои первые пьесы для рояля. И вот я поступил в консерваторию по двум специальностям, по роялю и по композиции. По композиции меня принял Шебалин Виссарион Яковлевич. Шебалин, знаменитый композитор и знаменитый педагог. А рекомендовал меня Шебалину Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Шостакович меня с раннего детства знал. Он приезжал в Одессу, и его со мной познакомили. Дальше, как только Шостакович приезжал в Одессу, он приходил к нам, и я играл ему новые свои сочинения, играл на рояле, и от этого получал огромное удовлетворение. В общем, в Москве я учился у Шебалина, и, должен Вам сказать, был одним из самых заметных учеников – студентов консерватории. Достаточно сказать, что со всего композиторского факультета я единственный получил сталинскую стипендию, 500 рублей. В то время довоенное это были большие деньги. На эту стипендию я снимал квартиру (комнату), питался, и еще мои родители мне присылали деньги. В общем, я жил неплохо.

Потом, когда началась война, я уже был довольно известным композитором. Меня послали в Новосибирск. В Новосибирске я был избран председателем Всесибирского союза композиторов. *(В действительности – ответственным секретарем Новосибирского отделения Союза советских композиторов, с 1970 стал называться Сибирская организация Союза композиторов РСФСР, с 1995 г. – России. – прим. Ред.)* Мне было тогда 20 лет. В 20 лет я был уже таким человеком, которому поручали большие дела. В Новосибирске я окупился в большую музыкальную жизнь. В эвакуации там был симфонический оркестр Ленинградской филармонии под

управлением Мравинского, Александринский театр, знаменитые артисты. И в том числе приехал туда знаменитый джаз под управлением Утесова. Я впервые в Новосибирске познакомился с Утесовым и впервые почувствовал любовь к музыке легкого жанра.

После Новосибирска я вернулся в Москву, и в Москве меня уже знали как молодого, подающего надежды композитора. Заказывали мне музыку к спектаклям, и я писал музыку.

Я начал писать песни. Песня – это огромное дело, это большое искусство. Я к песне пришел непросто. Я раньше писал сонаты, квартеты, серьезную музыку, а потом начал писать песни.

Во время того, как я начал писать песни, меня уже узнали как композитора легкого жанра, и обратили на меня большое внимание. Ну, короче говоря, вот так началась моя музыкальная жизнь, в легком жанре, после войны. А дальше Вы все знаете.

Я должен Вам сказать, что я начал писать не только песни. Во время войны меня познакомили с Московским театром оперетты, который был в эвакуации в Сталинске (*Ныне – Новокузнецк. – Прим. Ред.*). После войны, когда я приехал в Москву, я пришел в Московский театр оперетты. Меня уже там знали, обратили внимание. Я начал в Москве большую музыкальную жизнь с того, что я начал писать оперетты. Это большое дело. Обычно начинают с песни, с малой формы, а я начал с оперетты. Это потому что я был хорошо подготовлен. Я должен Вам сказать, что еще в Одессе я был знаком с Шостаковичем, он обратил на меня внимание. Когда я приехал в Москву, меня уже знали и Шостакович, и Прокофьев, мне было уже не так одиноко.

Я написал первую мою оперетту, это «Суворочка или дочь фельдмаршала». Она была поставлена в Московском театре оперетты. Я был тогда совсем молодым человеком.

После того как с большим успехом прошла «Суворочка» в Московском театре оперетты, я начал думать о том, чтобы начать следующую оперетту. Следующая оперетта была «Воздушный замок», на либретто В.Винникова и В.Крахта. Действие этой оперетты происходит во Франции. В центре – прообраз Раймонды Дьен (*французская общественная деятельница, активная участница антивоенного движения в 1950-х гг. – прим. Ред.*). Эта оперетта тоже была поставлена в Московском театре оперетты и еще в других театрах. Короче, первые мои шаги в музыке были связаны с опереттой, а потом уже я начал писать песни, и эти песни стали известны.

- Дунаевский тоже в это время писал?

- Когда я писал «Воздушный замок», я писал его под впечатлением музыки Исаака Осиповича Дунаевского. Исаак Осипович в это время был в Москве, писал музыку к кинофильмам, и, кроме того, писал оперетты. Его знаменитая оперетта «Вольный ветер». Вот после «Вольного ветра» я написал «Воздушный замок». Это большое, большое было дело.

- Не было ли на Вас как на еврея гонений?

- Вы знаете, это было не такое простое время, 1948-й – 1950-е годы, очень много было постановлений ЦК партии, «Об опере Мурадели» и так далее. Вы можете меня спросить, как ко мне тогда относились? А потом, как ко мне относились как к еврею? Я должен Вам сказать, я не знаю, почему это получилось, я думаю, потому что я был одаренный человек, но меня еврейский вопрос не касался, до сегодняшнего дня. Вы понимаете, в эти трудные годы, когда евреев притесняли, меня не трогали. Очевидно, думали, пусть один такой талантливый еврей будет, она нам пригодится (Смеется). Вот так я начал писать, и меня никто не притеснял. Были постановления ЦК, но они меня не касались. Наоборот, в Союзе композиторов меня продвигали и хотели, чтобы я был известным человеком.

- Как Вы себя определяете, свою национальную принадлежность?

- Почему я считаю себя евреем, и как это все произошло? Я должен Вам сказать, я себя считаю евреем, потому что я еврей коренной. Мой отец еврей, мать еврейка, бабушка, бабушка... все евреи. Должен Вам сказать, что я тогда еще в Одессе понял, что евреи – это очень талантливая нация. Эмиль Григорьевич Гилельс евреем был, Таня Гольдфарб, пианистка – еврейка, и так далее. Но, должен Вам сказать, я жил в атмосфере интернационализма, никто не тыкал, русский ты или еврей. Я жил как музыкант, как человек.

- В консерватории тоже не было антисемитизма?

- Нет, в консерватории тоже не было. Я еще раз Вам говорю, что антисемитизм на протяжении моей жизни меня не касался.

- Вопрос о сыне

- Я должен Вам сказать, что точно также, с самого детства, я определился как будущий музыкант, также мой сын с четырех-пяти лет начал заниматься музыкой, игрой на рояле. Владимир Фельцман. Я могу без лишней скромности сказать, что он один из самых выдающихся пианистов мира сейчас. Он живет в Америке уже больше двадцати лет. Он приезжает сюда каждый год. Играет в Большом зале консерватории. Мне звонит по телефону, я ему

звону. Поэтому у нас с ним тесная связь. Я страшно доволен, что он не композитор, а пианист. Но пианист замечательный.

- Ваши произведения он играет, конечно?

- Нет, мои произведения он не играет, потому что я для роля не пишу. Только то, что раньше, в детстве писал – да.

Он знаменитый пианист, играет во всех самых лучших залах мира, с лучшими оркестрами, с лучшими дирижерами. Он – президент музыкального колледжа в Нью-Полсе, около Нью-Йорка. Этот знаменитый музыкальный колледж пользуется большой известностью среди музыкантов в Америке. Он преподает, большой профессор. Когда он приехал в Америку, его встретили на аэродроме и вручили сертификат пожизненного профессора консерватории.

- Насколько тяжело это написать песню?

- В двух словах я расскажу. Я же говорил, что начал свою творческую жизнь с оперетты, а потом пришел к песне. Но, должен Вам сказать, что песня как жанр – один из самых трудных. Песня длится три-пять минут, за которые ты должен рассказать людям очень многое. И, должен Вам сказать, я шел к песне через хорошую, большую, серьезную работу. И сегодня, должен Вам сказать, написать песню это дело очень трудное, очень ответственное. И я горжусь тем, что я работаю в песне и достиг, честно говоря, больших успехов.

- Какая Ваша самая любимая песня?

- Ну я могу назвать «Черное море мое», «Дунай, Дунай», «На тебе сошелся клином белый свет», «На пыльных тропинках далеких планет», «Баллада о красках», «Мир дому твоему». И знаменитая песня, которая мне принесла, с одной стороны, мировую славу, а с другой стороны, мировые неприятности – это «Ландыши».

- Почему они тогда на Вас так накнулись?

- Я думаю, знаете почему? Может, это не хорошо, что я так говорю, но из зависти. Потому что я в один день стал знаменитым, не только в нашей стране, но и во многих странах мира.

- А еврейские у Вас есть мелодии?

- Я Вам рассказывал, как еще в раннем-раннем детстве меня дедушка повел в синагогу. И с тех пор еврейская интонация, еврейская музыка зашли в мою душу. Во время войны, в Новосибирске, я был заведующим музыкальным еврейским театром. Я заведовал там музыкой, писал музыку еврейскую.

- А сейчас Вы пишете еврейскую музыку?

- Все время - нет, но время от времени я пишу еврейские песни, и многие мои еврейские песни поет Иосиф Кобзон. Я специально для него пишу, и это большое для меня удовлетворение.

- Большое спасибо за то, что уделите нам время.



Артур Штильман

Н.В.Подгорный в Большом театре

Из книги воспоминаний «В Большом театре
и Метрополитен Опере»



Во второй половине 50-х годов, самом прекрасном времени молодости в условиях недолгой «оттепели», недалеко от нашего дома жил какой-то молодой иностранец. Из моих знакомых лично его никто не знал, но имя его знали очень многие. Его звали Люсьен. Он был французом. Чем он, собственно, занимался, тоже никто не знал. Знали только, что он сын довольно известного французского корреспондента, также жившего в «Доме Жолтовского», то есть в доме, выстроенном по проекту знаменитого архитектора И.В.Жолтовского на Большой Калужской.



Приблизительно так выглядела машина Люсьена Но -
«Шевроле» 1956 года, вызывавшая на улицах Москвы
у одних неодобрительное удивление, а у других
«нездоровое преклонение перед Западом»

Люсьен был тем, что теперь называется «плейбой», то есть повеса. А знаменит он был лишь потому, что являлся владельцем вероятно самой роскошной тогда частной машины в Москве – американской «Шевроле» выпуска 1956 года. Машина

была двухцветной – верх и кабина цвета слоновой кости, а низ и крылья – бирюзово-голубым.

Когда он ехал по почти пустынным улицам Москвы, он, естественно, привлекал всеобщее внимание. Говорили, что он женился в Москве на одной из самых красивых женщин, (Лилия Бернес-Бодрова теперь рассказала о своей жизни в интервью журналу «Люди» Reople.ru 29 янв. 2013. Она рассказала, что Люсьен был фотокорреспондентом «Пари-Матч», то есть был партнёром-помощником своего отца, и об обстоятельствах своего ухода от Люсьена к киноактёру Марку Бернесу). Главной фигурой, конечно, был его отец – «специальный корреспондент журнала «Пари-Матч». Просто Люсьен всплыл в памяти в связи с женой его отца. Люсьен, совершенно очевидно, был сыном от первого брака, а нынешняя жена отца была лишь чуть старше Люсьена и работала балериной в кордебалете Большого театра.

Звали её **Лидия Меньшова**. После её ухода на пенсию, она уже в моё время - с 1966 года - постоянно появлялась в зрительном зале во время всех самых важных правительственных концертов. Чем она занималась было неясно, но видимая её активность в зале, особенно во время репетиций, не оставляла никаких сомнений в её причастности к «конторе», отвечавшей за безопасность правительственных лиц. Это была довольно крепко сбитая, ещё молодая дама середины сорока, с пышными рыжеватыми волосами, необычайно быстро передвигавшаяся по партеру театра. Вот совсем маленькая информация, попавшаяся мне на Интернетe – короткие воспоминания одной непоименованной бывшей балерины Большого театра, упоминавшей Меньшову в связи с заботами московских модниц:

«1958 году я танцевала в Большом театре, исполняла характерные партии в "Дон Кихоте", "Лебедином озере", "Баядерке". К этому времени действительно появилось много швейных мастерских и модных ателье, попадали к нам и модные журналы, в основном привезенные из Франции. Если прийти со своим материалом, то вещи можно было заказать в мастерской нашего театра. Некоторые балетные сами шили еще с военных времен. Еще бы - недалеко от Большого, в Столешниковом переулке, был известный комиссионный магазин, целых два этажа одежды и обуви; так вот, шубка там стоила тысяч десять-двенадцать - четыре моих оклада (или два оклада прим - Улановой, Лепешинской, Плисецкой)! Много вещей попадало в Большой через **танцовщицу кордебалета Лиду Меньшову**. Ее муж был француз, обожал ее и не считал денег на наряды. Очень сложно было с аксессуарами - с длинными кожаными перчатками или,

например, со шляпками. Помню, как наша прима Ирочка Тихомирова, выглядевшая всегда безукоризненно, выпрашивала у меня маленькую кожаную сумочку - достать их было просто невозможно... По шляпке с приподнятыми полями, кстати, в посетительнице ателье можно узнать модницу - я такие заказывала себе как раз в Прибалтике...»



«Дом Жолтовского» на Большой Калужской, где обитали Люсьен Но, его отец и их жёны, с редким для Москвы подземным гаражом.
Фото 1948 года

Также и небольшая информация о её дочери, родившейся во время триумфальных проездов по Москве её сводного брата Люсьена:

«Виолетта Но родилась в 1956 году в Москве. Ее мать, **Лидия Меньшова**, танцевала на сцене Большого театра. Отец, французский журналист Жан Жак Но, работал специальным корреспондентом газеты «Пари матч» в СССР. Он брал интервью у первых лиц государства и был обласкан со всех сторон. Ведь глазами этого иностранца на Страну Советов смотрела вся Европа. Повзрослев, Виолетта решила пойти по стопам матери. После окончания балетной школы она устроилась в труппу Большого театра, танцевала на одной сцене с прославленными балеринами (*насколько известно, всё же под именем **Виолетта Меньшова**, а не под фамилией своего отца - А.Ш.*). Но куда большую славу ей принесли светские вечеринки. От похожей на цыганку французженки мужчины были без ума. На одной из таких вечеринок Виолетта познакомилась с двукратным чемпионом мира по фигурному катанию Владимиром Ковалевым. У них завязался бурный роман. Виолетта вышла за него замуж. Родила

сына. Но брак со звездой оказался непрочным. Они разошлись. Впрочем, без поклонников танцовщица не оставалась. До недавнего времени она жила в гражданском браке с одним из российских банкиров»

Дальнейшая судьба самой Лидии Меньшовой мне неизвестна. Я её видел особенно близко в памятный день, если не ошибаюсь, ранней весны 1977 года. Это был день «выдвижения в народные депутаты» нашего «президента» - Председателя Президиума Верховного совета Николая Викторовича Подгорного. Концерт в его честь был днём и как раз перед его появлением Лидия Меньшова была главной распорядительницей – «хозяйкой» - при встрече столь важного, почётного и дорогого гостя. Именно она встретила у входа в зал «самого», именно она проводила его в первый ряд почти позади дирижёра. Концертом дирижировал Марк Эрмлер. Это был обычный и, конечно вполне добротный концерт – выступали лучшие солисты Оперы, балета и неизбежный «Ансамбль скрипачей Большого театра под художественным руководством Юлия Марковича Реентовича». К этому времени прошло три года, как я расстался с незабвенным художественным руководителем ансамбля скрипачей. Так что концерт этот я играл в оркестре. Как только концерт окончился, Николай Викторович Подгорный подошёл к оркестровому барьеру. Справа от него, но не за дирижёрским пультом, а пониже в оркестре, стоял недалеко от подиума Марк Эрмлер. Наш президент с ним вежливо раскланялся. А слева от него - с краю за вторым пультом, то есть примерно на таком же месте – стоял я. Взгляд Подгорного упал на меня и он так же вежливо раскланялся со мной. Я, естественно, столь же вежливо и медленно поклонился ему, глядя прямо на него, после чего произошло необычное оживление – всё его «окружение», сидевшее также в первом ряду, стало с радостными улыбками кивать головами... мне! Вероятно они подумали, что их босс каким-то образом знает меня. Среди «окружения» я узнал в лицо только секретаря МГК Гришина. Вот он-то и проявлял максимальную радость, улыбаясь и кивая мне головой. Я с совершенно серьёзным видом ответил на поклоны «окружения», после чего президент был, кажется, даже под руку, уведён Меньшовой и они покинули зал.

Восторгу моих коллег не было предела! Кто только не острил на эту тему, тем более что с 1974 года меня перестали выпускать за границу. К 1977 году меня это уже совершенно не волновало – в это время я получил израильский вызов, и другие проблемы стояли теперь передо мной и моей семьёй. Чему мы были тогда действительно удивлены - довольно скоро и

совершенно неожиданно Подгорный был снят со всех своих постов и отправлен на пенсию

У меня были прекрасные отношения с коллегами, и я сказал тогда одному из них, исполнявшему в то время обязанности инспектора струнной группы оркестра:

«Видишь? Стоило ему только со мной раскланяться, как его уже и сняли!». Конечно, времена стали более вегетарианскими, но такие шутки можно было себе позволить только с действительно близкими людьми. Посмотрим теперь на серьёзную часть истории снятия Подгорного.

Вот как Подгорный описывал своё смещение:

«Лёня рядом, всё хорошо, вдруг выступает из Донецка секретарь обкома Качура и вносит предложение совместить посты генсека и Председателя Президиума Верховного Совета. Я обалдел. Спрашиваю: «Лёня, что это такое?». Он говорит: «Сам не пойму, но видать, народ хочет так, народ». */Википедия/*

«Спустя время, уже на пенсии, Подгорный как-то позвонил бывшему другу-соратнику, но Брежнев трубку не взял, а ответил секретарь: «Товарищ Брежнев просил передать, что у него нет к вам вопросов...» *Ольга ЛЕБЕДЕВА (Источник: «Секретные материалы XX века»)*

Всё это стало хорошо известным теперь, а тогда, находясь иногда физически на близком расстоянии от «вождей» и видя их поведение, хотя и довольно короткое время, мы могли строить свои собственные умозаключения.

Как уже здесь говорилось, оркестр Большого театра всегда участвовал в самых важных концертах – ноябрьских празднованиях годовщин Революции, Первого мая, и часто также в заключительных концертах, посвящённых закрытию партийных съездов, благо было «недалеко ходить» – Кремлёвский Дворец Съездов, где проходили всегда партийные съезды, был и филиалом Большого театра.

Где-то в начале 1976 года мне довелось участвовать в концерте, посвящённом закрытию XXV съезда КПСС. Интересно, что уже в это время у меня был на руках вызов из Израиля, но это, как ни странно, никак не отразилось на моём участии в подобных мероприятиях. Принято было считать, что как раньше НКВД, так и теперь КГБ, исключительно скрупулёзно изучает всех участников, прежде чем дать им на руки пропуск на участие в «спецмероприятии». Можно предположить, что либо там работали всё же не так уж хорошо, или же это было новое веяние – никого не «обозначать» до поры официальной подачи документов, но я

участвовал все три года (вызов один раз был продлён) до подачи документов на выезд во всех подобных мероприятиях.



Один из залов, через который мы проходили тогда во Дворец Съездов

Тот концерт запомнился по ряду причин. Помнится, что на генеральную репетицию во Дворец Съездов нас вели так сказать «огородами», то есть окольными путями. Мы, как всегда вошли в Кремль через Кутафью башню, где была первая проверка документов.

Затем, уже на территории Кремля нас ввели в какое-то здание, где была вторая проверка пропусков и мы начали длинное шествие: через Грановитую палату, где я никогда не бывал раньше, через большой Кремлёвский дворец, через какие-то ещё парадные залы, чтобы наконец выйти во внутренний двор прямо к служебному входу в КДС. Для чего был весь этот «переход через Альпы» - никто не мог понять, да и не пытался. В КДС всё было без изменений. Только в буфетах – даже наших служебных – появился «дефицит» - растворимое кофе. Началось быстрое «отоваривание» и зазевавшиеся до «дефицита» уже не добрались. Народу собралось на это мероприятие – за кулисами – огромное количество. Тут были танцевальные ансамбли со всего Союза, знаменитые драматические актёры, солисты балетов нескольких театров - из Баку, Тбилиси, Риги и других городов. Казалось, что

всем участникам просто не хватит времени в этом концерте. Но каким-то образом, всё же все приехавшие в Москву уместились в почти двухчасовом концерте. Программа была в основном похожей на другие концерты подобного рода.

Наконец настал день самого концерта. И в антракте концерта одна моя коллега, муж которой был хотя уже на пенсии, но в недалёком прошлом чуть ли генералом КГБ, увидев в первом ряду знакомого, воскликнула: «А ты что тут делаешь?». Знакомый, как я понял, был из «конторы» её мужа – молодой ещё довольно парень, нагнулся к ней через барьер и сказал: «Да вот... сидим. Через одного...», - добавил он конфиденциально. Как видно он также занимал определённое положение, если моя коллега его знала (может быть и не на уровне её мужа, но всё же в чинах). Как я понял, они сидели в первых рядах – через одного делегата один «сосед» («соседами» в МИДе всегда называли членов КГБ, так как старое здание Министерства иностранных дел находилось совсем рядом с Лубянской). Кстати, муж моей коллеги начинал свою службу именно в МИДе скромнейшим служащим на минимальной зарплате. Я помню, когда они поженились в начале 1950 годов (мы учились у одного и того же профессора, только она была на пять лет старше меня), они просто невероятно нуждались, пока она не поступила в Большой театр. А его, как видно, к концу 50-х заметили «соседи» и он под «крышей» МИДа теперь уже был в числе служителей «Щита и меча» революции.

После окончания концерта оркестровая «яма» была поднята достаточно высоко и мы увидели примерно в четвёртом-пятом ряду Брежнева. Тогда стало понятным такое значительное присутствие «соседей» в этом близком пространстве. Съезд - съездом, а охрана - охраной! Ведь было там всё же около пяти тысяч делегатов! Значит, около тысячи составляла охрана – зал вмещал шесть тысяч человек.

Брежнев выглядел хорошо – довольно здоровым и бодрым. К нему бежала через зал специально подготовленная маленькая девочка-школьница (тот же старый сталинский сценарий!), чтобы вручить букет цветов «дорогому Леониду Ильичу». Девочка показалась тоже номенклатурной девочкой – что-то её отличало от обычных школьниц. Она ловко вручила букет нашему вождю и вдруг – как на выступлении фокусника – у Леонида Ильича из-под правой подмышки показалась огромная коробка с шоколадом! Это был подарок девочке за её букет! Но кто с такой ловкостью быстро просунул подмышкой генсека эту здоровенную коробку - было совершенно незаметно. Заметно было только то, что девочка лишь на мгновение привлекла внимание Брежнева. А глаза его были

заняты самым внимательным наблюдением за «соратниками»! Это было настолько очевидным, что не заметить этого мог только человек, не одарённый вообще какой-либо наблюдательностью. Брежнев теперь повернулся к коллегам, что-то им говорил, но при повороте головы можно было снова увидеть его острый, изучающий взгляд. Так что, вероятнее всего он, пока ещё хорошо выглядел и, как видно хорошо себя чувствовал, очень внимательно ухаживал за нежным цветком – своей властью, внимательно изучая, кто из его «окружения» с кем общается, так сказать «группируется». Вот это и стало главным впечатлением от всего увиденного на том концерте в честь закрытия съезда.

Последней встречей с представителями «конторы», то есть охраны во Дворце Съездов был день моего последнего спектакля в театре перед отъездом из Москвы в эмиграцию. Это произошло в июне 1979 года. Дело в том, что подав заявление с просьбой о характеристике для ОВИРа, я был, благодаря хорошему отношению ко мне в театре, не уволен с работы, как того требовал ОВИР, а переведён на «временную работу» на своём же месте с сохранением той же зарплаты. Это была большая любезность и привилегия. Начальник отдела кадров, милейший Николай Михайлович Кругликов (говорили, что бывший боевой герой-лётчик во время войны) принёс мои документы тогдашнему директору Г.А.Иванову, который прочтя «личное дело» и увидев там несколько благодарностей от Фурцевой за гастроли в Японии, Чехословакии и где-то ещё, распорядился перевести меня на временную работу, чтобы обойти требование ОВИРа о непременно увольнении с работы. «Он сказал мне, - говорил Николай Михайлович – что «для него мы должны что-то сделать – его нельзя увольнять с работы. Но он будет последним.

Нужно дать там знать, что это исключение только для него». Я никак не ожидал такой привилегии и действительно доброго отношения ко мне со стороны дирекции и отдела кадров, учитывая, что с 1974 года стал «невъездным». В общем, я должен был теперь работать только в театре, так как замечательный пропуск Большого театра – красный и с гербом – был у меня всё-таки отобран, как только я подал заявление в ОВИР. Таким образом, хотя я этого и не знал, я больше не должен был появляться в КДС на спектаклях Большого театра. Перед самым отпуском – в июне 1979 года, кто-то попросил меня поменяться спектаклями – вместо коллеги я должен был сыграть оперу Пуччини «Мадам Баттерфляй», именованную в Москве - «Чио-Чио-Сан». Я узнал слишком поздно, что не могу пройти в КДС без

специально выписанного пропуска, так как вход туда был только с «красными» пропусками.



Вход в КДС через Кутафью башню, через мост над Александровским садом, в Троицкие ворота – и дальше прямо ко Дворцу съездов. Справа от Кутафьей башни видно маленькое строение-бюро пропусков. Туда же попадали задержанные при входе в Кремль по тем или иным причинам, где их опрашивали. Такое случалось не раз на наших глазах

Что оставалось делать? Я пришёл всё же в бюро пропусков и стал что-то врать, что-де перехожу на работу в симфонический оркестр, но пока вот дорабатываю на своём месте сезон. Начальник бюро на это сказал: « Так ты тут работаешь много лет? Так? Ты вот что - никому ничего не говори, иди себе прямо в оркестр, да и всё. Тебя же все там знают». Он оказался прав. Никто меня не остановил, не спросил пропуска, я сыграл свой последний спектакль в оркестре Большого театра, а мой друг-инспектор получил устное замечание за техническую накладку – всё же мне не полагалось играть в КДС, а ему санкционировать моё назначение на этот спектакль. Тем дело и кончилось.

А летом 1979 года во время гастролей балета Большого театра, в Америке остался знаменитый солист Александр Годунов. Осенью обстановка изменилась и мне, как это ни странно и казалось бы не связанного с моим отъездом событием, Н.М. Кругликов уже не смог продлить мою работу в театре – сменился директор, изменилось отношение к уезжающим. Когда я пришёл по его приглашению в отдел кадров, Николай Михайлович

мне сказал: «Артур! Ну не вините меня! Всё, что можно было, я сделал! Видите, что теперь получилось? Зато я сделал всё, чтобы вы благополучно уехали. В конце октября вы получите открытку из ОВИРа. Так что – счастливый путь и удачи вам!» Я был, честно говоря, совершенно ошеломлён таким добрым отношением ко мне. Так Большой театр остался в моих воспоминаниях о Москве самым лучшим местом, где мне приходилось быть – учиться или работать - не Консерватория, не Госконцерт, а именно Большой театр, работой в котором можно было гордиться тогда, да и теперь. Я имею в виду Большой театр тех лет. Сегодня кажется, что и его не миновали изменения, постигшие страну. Как это ни грустно. А в год нашего приезда в Нью-Йорк – 1980-й - репутация Большого театра была настолько высока, что узнав о моей принадлежности в недавнем прошлом к оркестру театра, главный дирижёр Метрополитен оперы Джеймс Ливайн сразу разрешил занимать меня в спектаклях МЕТ задолго до официальных прослушиваний. Этот факт говорил о действительно высокой репутации театра в 70-80 годы прошлого века. Я и сегодня говорю часто самому себе – спасибо Большому театру за всё хорошее, что он дал мне.



Надежда Кожевникова Коллекционеры



транно, что в гуще теперь публикуемых мемуаров об этой семье почти не упоминается. Между тем практически все авторы в их доме неоднократно бывали. В годы, которые они вспоминают, появления там просто нельзя было избежать. Так почему же, стесняются что ли? С чего бы?..

Пропускная способность их дома конкурировала с ЦДРИ, ЦДЛ, ВТО вместе взятыми. Там не только ели, пили, но и получали своего рода "путёвку в жизнь". И те, кто уже прославился, и кто еще только всплывал из неизвестности, включались в коллекцию, что тщательно, много лет собирали хозяева.

Обстановка их московской квартиры и дачи была стильной – семья чуть ли не первой в своём окружении начала собирать антиквариат – но куда больше чем павловской мебелью с "пламенем" гордились гостями, можно сказать, по-отечески, вникая в проблемы, заботы каждого и не гнушаясь мелочами.

Они были активны и в общественной сфере: в преклонном уже возрасте не пропускали премьер, вернисажей, юбилеев. Всегда быть на публике довольно-таки утомительно, но у семьи тут была потрясающая закалка. Светские люди, правда, всегда близки к смешному, тем более в СССР, где всё пародию напоминало, а уж попытки изобразить другую жизнь – вдвойне.

В дневниках у Корнея Ивановича Чуковского драматург Александр Петрович Штейн упомянут четырежды, и каждый раз в связи с похоронами. У Чуковского, скрупулёзно точного, фамилией Штейна открываются списки участников скорбного ритуала: можно представить, что так вот и обстояло. Штейн был тут именно в первых рядах. Хотя на похоронах Пастернака Чуковским отмечено его отсутствие: нюанс характерный.

Короче, если пытаться всех перечислить, кто у Штейнов бывал, бумаги не хватит. Проще выделить отсутствующих. Называю: мои родители. Хотя это долго казалось мне загадкой.

Ссоры не помню, да Штейны наверняка бы её не допустили. Отцу, нрава не мягкого, пришлось, верно, особую изобретательность выказать, чтобы повод найти для обрыва

общения с людьми столь радушными. Просто отбрить, съязвить – ему бы простилось. Хорошо помню отцовский прищур, подбородок затяжелевший, в предвкушении сладостном "шуточки", от которой собеседники багровели. Но Штейны, с их выучкой, пожалуй, улыбнулись бы. Их так, с наскока, было не взять. Следовало проявить упорство, но вот зачем оно папе понадобилось, повторяю, долго не понимала.

Последний раз видела Кожевниковых вместе со Штейнами в году, верно, пятьдесят четвёртом. Считаю так, потому что в штейновской даче в Переделкине уже отстроили второй этаж: там, у камина, гости и собрались. И был Алексей Каплер, после смерти вождя выпущенный из лагеря, которого я называла «дядей Люсей», а тётей Люсей Людмилу Яковлевну Штейн. Мама моя не была беременна, значит, сестра Катя уже родилась, но, видимо, недавно: я еще чувствовала себя любимицей, что в скорости, с появлением младшенькой, прекратилось.

Сталин кончился, пришёл Хрущев. И недоверчивые слились в братании. Недолгом. В сознательном возрасте подобное пришлось наблюдать в начале "перестройки". Надежды, надежды... В доме у нас появляется Галина Серебрякова, переговоры ведутся с Лебедевым, помощником Хрущёва, по поводу её лагерной прозы, что папа собирается печатать в «Знамени». Мама настораживается: Серебрякова, в её понимании, чересчур активна, а папа излишне внимателен. Обычно в застолье сам без умолку говорит: скуку глушит, как я потом догадалась.

В тот период драматург Штейн тоже приобщился к разоблачению культа личности, написав пьесу «Гостиница «Астория», поставленную его другом Николаем Охлопковым с большим успехом. В те годы от писателей не ждали самовыражения, но вот соответствовать **веяниям** следовало непременно, и быть тут чуткими. Тоже непросто: не забежать вперёд и не отстать; не прогневить власть и в то же время вызвать симпатию у либеральной публики, без чего успеха быть не могло. Никакое официальное одобрение, никакая хвалебная рецензия не могли даже отдалённо равняться по влиянию с тем, что возникало из шёпота на тех самых, уже набивших оскомину **кухнях**.

Дом Штейнов и был средоточием слухов-шептаний, хотя крамола в них отсутствовала, а скорее ну просто выпускались пары. Хозяевам, как и гостям, было что терять. Но Штейны особенно тем притягивали, что никого, ни за что не осуждали.

В этой кажущейся неразборчивости действовал механизм, безупречно отлаженный, проверенный и основанный на, скажем, гибкости, характерной для так называемых культурных слоев.

Впрочем, понятно: иметь убеждения, открыто их высказывать, требовало либо геройства, либо упрямства, когда все сомнения в зародыше убивались в самом себе.

Режим всех принуждал к подчинению, но одни становились в известную позу с видом жертвы, а другие – мой отец, например – так держались, будто им это нравится, они-де удовольствие получают, корёжа свою личность, свой талант.

Вот причина, как мне представляется, по которой Кожевников дистанцировался от Штейнов. Ведь иначе следовало бы разделить и униженность, подневольность, в той среде не только не утаиваемые, а декларируемые с вызовом, как единственно возможный протест.

А вот мою маму к Штейнам тянуло, томило непричастностью к празднику, происходящему так близко, по соседству, на той же улице Лермонтова. Ворота штейновской дачи постоянно оставались распахнутыми, автомобили на въезде теснились, и когда мы шли мимо, мама грустнела, хотя и не решалась признаться, как ей хочется туда, в многолюдство. Но папа, редко в чем-либо ей отказывающий, тут был непреклонен.

Я же в ту пору привыкла уже чьему-то веселью не завидовать. Папина отстранённость от цеха собратьев и мне постепенно передалась. С писательскими детьми не дружила, кожей чувствую, что и для них я чужая. И так на всю жизнь осталось, не столько из-за позиции отца, сколько из-за собственного характера, сходного, впрочем, во многом с отцовским.

Но и маму, конечно же, не гульба, пусть шикарная, на широкую ногу, привлекала, – это она и сама могла бы организовать – а оттенок избранности, ни с деньгами, ни с должностями, ни с официальными почестями не связанный. Наоборот даже, лучше было бы – **не иметь**, хотя Штейны с удивительной грациозностью тут балансировали: сами не рисковали, но привечали гонимых, /и не гонимых тоже/ умудряясь прослыть вольнодумцами, казалось бы, очевидному вопреки.

Александр Петрович пьесы писал исключительно правоверного содержания, зять его, Игорь Кваша, снимался в роли вождя мирового пролетариата Карла Маркса, но на их репутации в либеральном кругу это не отражалось. Сливки творческой интеллигенции, такие, скажем, как поэтическая небожительница Ахмадулина или пламенный трибун Ефремов, не морщились, не брезговали бывать завсегдатаями на посиделках у Штейнов. Такая эпоха: компромиссы являли основу существования. Их понимали,

прощали. А вот цельность изображать наверно не следовало, как это пытался делать мой отец.

В пьесах Штейна, ну, выражаясь мягко, относительной художественной ценности, актёры были заняты первоклассные: Плятт, Штраух, Папанов, Миронов, Ия Саввина, Свердлин... Так что ж, и у Софронова играть приходилось. Видимо, искусство лицедейства меньше подвержено коррозии в изначально лживых установках, чем литература. Про драматурга Штейна можно сказать, что он был удачлив, дозволенная полуправда особого ущерба его текстам не приносила. Как, например, и Розову, сохраняющему до сих пор удивительный оптимизм. Но были и другие, чей природный дар эпоха растоптала. Имелся ли у них выбор? Принято думать, что да, но я не уверена. Может быть, для некоторых, помимо творчества, еще ценности существовали, ради которых, по выражению Маяковского, они наступали на горло собственной песне. Валить их в одну кучу с бесстыдными конъюнктурщиками, на мой взгляд, не стоит. Но и желания тут в спор вступать, тоже нет.

Зато интересно сопоставить как представителей разных поколений, отцов и детей, писателя Юрия Германа и сына его, Алексея, одного из самых значительных теперешних режиссёров. Юрий Павлович, с его "Верьте мне, люди", и Алексей Юрьевич с последним фильмом "Хрусталеv, машину!". Разрыв колоссальный, не правда ли? В одном интервью Герман-сын говорит, что когда клали на полку его «Проверку на дорогах», директор картины плакал, умоляя режиссёра отказаться от сделанного, и себя не губить, и других. Режиссёр тоже плакал, но стоял насмерть. Добавляет, что если бы жив был его отец, то заставил бы картину порезать. "Потому что – цитирую – он был добрый человек. И не считал, что из-за пучка света надо такую беду навлекать на многих людей".

Так, может быть, спайка между отцом и сыном всё-таки была и осталась? Сбереглась основа, на которой всё дальнейшее и проросло? Да, жизнь, ростки её уже в другом, новом времени. Рассуждаю, возможно, по обывательски, но в поколении наших родителей вижу не только их заблуждения, но и жертвенность, пусть и не всегда оправданную. Во всяком случае, их строго судить, повторяю, у меня лично влечения нет.

В каждом времени существуют свои **странности**: то, о котором идёт речь, характерно несоответствием яркости индивидуальностей и серой, больше уже негодной к употреблению жвачкой, что тогда называли творчеством. Если обращаться к текстам, той эпохой оставленным, то многие авторы

их предстают чуть ли не недоумками. А между тем в жизни, свидетельствовать о которой скоро уж будет некому, они, эти же авторы, с редкостной щедростью обнаруживали свою личностную недюжинность, заковыристость, неоднозначность, что в песок ушли по закону изначально жестокому: было – и нет.

Нормально: сменяются вкусы и нравы, и взгляды. Но людям творческим всё-таки шанс даётся закрепить своё мимолётное бытие. Импульс, если в него трезво вникнуть, сумасшедший: из задуманного реализуется ноль целых и сколько-то десятых процента, – но именно он побудитель тех завихрений, что отличают артиста от бухгалтера. Беда, если артистов к бухгалтерской осмотрительности принуждают, а бухгалтеров к сочинению поэм. Именно так обстояло в державе, гордо именуемой СССР.

Зато жили захватывающе интересно! Иностранцы, проникнув на московские кухни, слюной от зависти исходили: пир духа, поголовная даровитость, искромётность, блестящие реплики, тосты как философские эссе. На таком фоне их значимости унылыми, скучными казались: всё молчком, всё себе на уме.

А объяснение простое: те в своих книгах себя выражали, наши же – в устном творчестве, опровергая нередко самими же написанное. В застольях выкладывались, в общениях. Штейны, умницы, нишу создали, куда устремлялись, изнывая от невостребованности.

И в прозе, и в сценических воплощениях конфликт допускался только хорошего с лучшим. Всем вменялась прекраснородушная интонация, и можно представить, сколько желчи в авторах скапливалось, особенно в тех, кто надрывался фальцетом, изображая херувима, будучи от природы чертом, призванным, дразнить, язвить.

Хотя не для всех в маскараде участвовать было мукой, терзанием. Может быть, ошибаюсь, но, как мне видится, Александр Петрович Штейн жил в полном согласии с собой. Дружелюбный, к людям действительно расположенный, отнюдь не божественный, он мог при других обстоятельствах быть, скажем, врачом-терапевтом с хорошей практикой, свой интерес к искусству, точнее к людям искусства, удовлетворяющим в хлебосольстве. И не надо было бы самому творить.

И вспоминали бы о нём с благодарностью, без той отчужденности, что потом обнаружил кое-кто даже из домашнего окружения. Игорь Кваша, например, в интервью после смерти Ефремова рассказывал, как Олег Николаевич, уходя из «Современника» во МХАТ, приехал взволнованный к **нему**,

Кваше, на дачу. Меня заело: не вашу, Игорь – Штейнов. Вы там жили на правах родственника. Нехорошо отступаться, даже если ситуация изменилась, и драматург Штейн теперь не в чести.

Соглашатель? А когда, от кого это скрывалось? Между тем, кто только не пользовался его гостеприимством! Многолетиями. А попробовали бы вот так, всей гоп-компанией, экспромтом, что называется, к Твардовскому, к примеру, нагрнуть: вот именно, не посмели бы, и в голову бы не пришло.

Не сомневаюсь, что и Ефремова первой на даче встретила Людмила Яковлевна, наша всеобщая тётя Люся. Усадила, выспросила. И даже Ефремов вряд ли от чар её устоял.

Страсть Люси Штейн быть в курсе всего, как бы и суетная, возвышалась до бескорыстия, свойственного одержимости. Да, бывало, что распираемая объёмом имеющейся информации, она делилась некоторыми фактами с несколько большей щедростью, чем лица, ей доверившиеся, предполагали. Но к сплетницам её было бы несправедливо причислить. Натура её не вмещалась в такое определение, потому что коварство, как побуждение к сплетне, в ней отсутствовало, а если огрехи и случались, её не следовало бы за них винить.

Тут сказывалась специфика тогдашнего нашего существования. Все, несмотря на различия, были спаяны со всеми. И Люся Штейн лишь выразителем являлась общей надобности, общей зависимости друг от друга и всеобщей же невозможности податься куда-либо в сторону.

В обречённости на аморфность во многих жизненных сферах, энергия неумная просыпалась при личных контактах, порой обращающихся в удавку. Никому ничего не удавалось скрыть. Осведомлённость полная друг о друге приводила чаще к конфликтности, чем к дружественности, но силилась выглядеть сплоченностью.

Штейны, оба, и способствовали и сами поддавались иллюзиям, что эпоха, в которую довелось жить, может сойти за нормальную. Люди трезвые, они понимали, что если когда-либо перемены и возникнут, им до них не дожить.

А если бы дожили, их бы ждало большое разочарование: «коллекция», которую так тщательно собирали, обесценилась. Но разве что как собрание казусов, курьёзов её теперь можно воспринимать: никем уже нечитаемые многостраничные романы, увядшая слава когда-то шумных премьер, дерзости – фиги в кармане. А вот что сохранилось, получило преемственность и в теперешних представителях творческих профессий, так это традиционная инфантильность в восприятии реальной

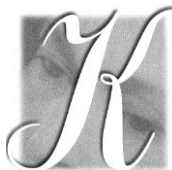
действительности, преувеличение собственной значимости и историческая беспамятность, возможно, умышленная. Неприятно сознавать, что в который уж раз самые совестливые, просвещенные – цвет нации, как принято отзываться о нашей интеллигенции – оказались послушными статистами в шулерских играх, где на кон снова поставили народ и страну.



Тимур Раджабов

Охапка света

Охапка света



как знать: то - отзвук, или звук

трубы, что все не играет -
моя планида гулевая,
как полосатый бурундук,
раздула щёки-паруса,
с небесной музыкой знакома:
не по закону дяди Ома
сопротивляется лиса
охотнику, что крез и знать,
но по фазанам вряд ли сможет
в промозглом небе непогожем
глагол высокий распознать.
И осенило "чужака"
пойти с молитвами к руинам,
чтоб слова мелкого «чужбина»
не стало в наших языках.
И вот по всей земной оси
цвета глядят птенцами с веток:
- Не стой, бери охапку света,
по белу свету разноси -
в барак, в палаты королю,
в стаканы, в царскую посуду -
чтоб вместо «Здравствуйте» повсюду
звучало «Я тебя люблю»

Говори

Говори о столетиях, словно о прожитом дне
на скалистых отрогах, где небо всегда голубое,
где бездомные ветры разносят молитву гобоя
и противно хихикают скрипки при полной луне.
Говори, чтоб земля, под ногами танцуя, плыла,
чтобы звёзды - шальные детишки синьора заката
колыбельку луны не меняли на яркое золото -
в жарких лапах земного огня очень мало тепла.

Говори, словно тысяча юношей разом поёт
о невысказанно страшной, отчаянной девушке-боли,
что в театре подлунном играет заглавные роли -
твёрдый знак, неумело себя выдающий за йот.
Говори, даже если крикливым земным языкам
не обучен, скитаясь по гаваням, докам, причалам,
чтобы время немое, что тысячи вёсен молчало
прошептало: «Люблю тебя и никому не отдам...»

Осеннее прощание

(сонет)

Разлука с летом или просто - осень,
когда забыться - легче, чем забыть.
Сентябрь лает, а предзимье носит
и тянется связующая нить
от вечностей, которые по краю,
до крайностей, которым нет конца,
где не жалеют - там в любовь играют,
где не зовут - там ловят на живца.
Запорошило времени излуку,
снежинки проступили невзначай,
и сколько ни тяни прощально руку
к прошедшему и сколько ни скучай -
рассеется в осенней ворожке
весь белый свет... но не любовь к тебе.

А. Ф.

Снеговерт! Снеговой! Пятый день полыхает зима -
то послушница в белом - метелица, божья невеста
разыгралась, да так, что не стало ни оста, ни веста -
на три тысячи вёрст снеговая одна кутерьма.
Мне приснился июль, бирюзовая лампа небес
на отрогах, с которых речушки слетаются в стаю,
в неземной глубине невесомые трели витают,
и к земному легко навсегда потерять интерес.
Не рисуй тишину - неуместна её красота:
здесь молчать не спешат, а возможно, уже опоздали,
и гремит полонез башмаков и багровых сандалий -
Карфаген опустел, но осада ещё не снята.
Я ещё разглядел в неразгаданной дрёме своей
неприкаянный штиль, над которым хихикает чайка -

одинокства нимфа, морского раздолья хозяйка
королева на час устремившихся прочь кораблей...
Это марево сна ледяному под стать хрустало,
этот пёстрый Эдем - не чета босоногому раю,
но из тысячи снов я тебя навсегда выбираю,
среди тысячи грёз лишь в одной я тебя узнаю.

Зима настала...

Зима настала,
зима случилась -
её не ждали.
На дне бокала
слепая сила
из Цинандали.
Пестрела фреска -
дела и мысли,
палитра планов,
но как-то резко
они зависли
на дне стакана.
На что ты годен -
вчерашним блеском
глядишь устало...
И правда, вроде,
За занавеской
зима настала.

Дымка

Тени вешние - чик-чирик -
серебро - под ребро шайтану.
Папироску восход-старик
прикурил и в лазури канул.
Новый день, словно старый мим,
словно девочка-невидимка -
то ли облако, то ли дым,
то ли марево, то ли дымка.
Нет. Никто не сошёл с ума.
Да. Здоров, то есть, да, богато.
Нет. Весна. То есть, да, зима
без морозного маскхалата,
приодетая в солнцеклём
из холодного ниоткуда

насыпает в ладошки рош
бесконечные изумруды.
Немелодией недождя
невесна расплескалась в мире.
Невосторги твои щадя,
глуше глуши и шире шири.
Далеко-далеко, мой друг,
небо близко (поверишь в это?)
Там восход миллионрук:
золотые стрижи рассвета
разлетаются кто куда,
далеко-далеко, навеки.
Незнакомка и незвезда
неземные прикрыла веки...
...Этот сон, этот старый мим!
Успокойся, моя любимка -
это облако, этот дым -
только марево, только дымка.

Тишина

Тишина - это самый отчаянный крик. Привет,
равнодушное пламя, бесцветный, как воздух, дым.
Кто молчит обо мне, кто придумал немой сюжет
с горячительным кофе, не греющим дух спиртным?
Зреет добрая драка в сердцах, в зеркалах темно,
и разбитым корытом шатается в буднях быт.
Не припомню значения множества слов давно,
да и сам я словами, наверно, давно забыт.
Конденсатор тепла на штампованной плате - труп.
Лоскутами надежды играет сирокко лет.
Одиночество - это в затылок любви шуруп,
но померкнет и тьма, постепенно сойдя на свет.
Ложь и правда фомы для ерёмы - никчёмный спам,
поцелуй бультерьера, сошедший с экрана вождь.
Вынося приговор по известным не нам делам,
ветер рвёт занавески, тоску исполняет дождь.
То, что галстук верблюду, то мне колокольчик -
блажь:
и в гробу я, наверно, вряд ли поверю в тишь -
я любил тебя, слышишь, мой самый глухой мираж
и, надеюсь, за это ты вряд ли меня простишь.
Утешение зиме.

Я помню, из небесной ямы
легла снежинка на ладонь
«Зима! Зима!» - кричал я маме.
Мать улыбалась – «Не трезвонь»...
Не плачь зима! Прощальным снегом
воспоминаний не буди!
Твою размеренность и негу
накрутит март на бигуди -
весна рассыплется в щедротах
и, наклевавшись от щедрот,
любой кулик в своих болотах
Красотке здравицу споёт.
Но переменчивость куплетов -
что конвертация валют -
с весёлым криком «Лето! Лето!»
апрель забвенью предают.
А за весну оплатит осень
и кровью лета вспыхнет лес,
и в ноябре устало сбросит
свой чёрно-бурый ирокез,
сверкнёт в небесной амальгаме
снежинок первых кутерьма,
ребёнок крикнет: «Мама! Мама!»
А мать откликнется – «Зима».

С каждым небом...
Чёрно-белое море неба, рябой закат,
еле слышная песня ветра о дне и дне
одиначества, от которого прочь спешат -
люди, птицы, и рыбы шарахаются в глубине.
Из пустого вагона сойдёшь в пустоту небес -
ничего не изменится от перемены дней.
Бесполезно аукать, за деревом видя лес,
если в этом лесу не одобряют твоих корней.
Так обидно, что хочется ржать всем святым назло,
но прицельно из тех же деревьев стреляет грусть:
улыбаются недорогие тебе тепло,
дорогая - молчит, и вращаются наизусть
(по инерции) - эта планета, а с ней - проспект,
и, "не любит - не любит" отстукивая, метро.
"Одиначество - сволочь" доносится из карет
скорой помощи, с тротуаров, из прочих тро -

из троллейбусов... В общем, мир - за тебя, но ты обозвав тишину скотиной, чего-то ждёшь где солдаты небесные шмякают о зонты, убеждаясь, что небо - пропасть, а люди - ложь. В тёплой куртке звенят монеты "забудь-забудь", но идёшь и слушаешь старый, как вечность хит - бессердечное сердце, твою подрывая грудь, с каждым небом всё громче-громче болит-болит.

На севере юга

На юге любви, а точнее - на севере юга не в чаще лесной потеряла меня подруга - сказала: Ты правда хороший, вздохнула шумно... могла не заканчивать - я ведь и правда умный! И вот потянуло полынным раздольем грусти, но запаха разлуки однажды меня отпустит, и в шелесте дней я не стану глядеть покорно всё то же кино, а точнее - всё то же порно. Меняются в небе лампы - полёт нормальный, но эхо молчания - громче мечты опальной: любил как умел, ненавижу я тоже звонко и глокая куздра кудрячит в куски бокрёнка на севере юга, где душный мороз и морок. Кто предал однажды - разлюбит опять, и скоро счастливцев вчерашний пополнит печали стаю. А я не люблю тебя. Я тебя так - листаю...

Письмо в будущее

Я улыбаюсь в далёком где-то - веке ракет, а для вас - телег. Что там у вечности под корсетом, года трёхтысячного человек? Мне 35. Горизонт - старение: скоро и мой посветлеет кров. Можно летать, растеряв оперение, лишь с неприветливых стенок в ров. Старость - девица-ремикс, на выданье, "с уровнем вышшим" заподлицо: сколько людей щеголяют гнидами лишь бы своё "сохранить лицо". Я закрываю глаза свои карие и представляю тридцатый век: в прошлом остался духовный кариес и чувствоплоуство людей-калек.

В храме моём - без икон и лавочки -
пыльную обувь своей души
я вытираю, терзая клавику, чьи
буквы затёрты в сплошной ушиб.
Правда - не парна копытным слухам,
осень седая - итогам лет:
хватит под старость святого духу
честно признаться, что бога нет
там, где державят гламур и ботокс
девы равняются на чувих.
Больно - это когда жестоко
больно, что боли огонь затих.
Жестикуюлюю этой эклектикой
там, где своими словами - пшик,
напоминаю себе эпилептика,
вдруг проглотившего слог души.
Я расскажу лишь Пина Коладе о
том, что столичный пустынный скис
только поверить в своё же радио -
то же, что резать себя в куски.
В городе этом довольно хворости:
совесть - у честных попов и шлюх -
те и другие не жгут без хвороста:
север - на севере, с юга - юг.
Неомываемым зурбаганом
пристань глухая в "немытой" стране,
только молчание барабана
не говорит о любви и не.
Где не поют, а молчат красиво -
солнцу не жарко, ночам - темно -
аккузативом и аблативом
номинативно трещит кино.
Мелочных днишек крупа темнеет:
смежных цариц-королев этикет:
тысячи правд здесь одна "вернее" -
вся голяком, голова - в платке.
Ты не уснул там, листая юни?
Я поднимаю здесь третий тост,
чтоб сорок первые ваши юни
не превращали любовь в блокпост.
Хочешь - копайся в суглинке книжном:
был такой древний аул Москва,

был интернет и в угаре винном
дым сигарет проникал в слова.
Корреспондент этой грустной песни,
автор безумный - не я, а жизнь...
Ты там не кисни, дружище, если
и для тебя белый свет закис,
если не синь под бровями росья,
если не золото на голове,
это не к богу с таким вопросом,
с этой гранатой - в другую дверь -
в мега-провинцию, в дымный гарлем,
в громкого пастбища глухомань.
Чарли упал - очень больно Чарли -
в смехе кричат ему: "Ванька, встань!"
Хочется выйти из всех составов:
клубов элитных, экспреса лет.
Истина - там, где вина - отравы,
там, где вина и в помине нет.
Стрелки часов продолжают виться...
Кто их поймёт - эти все века:
тридцать секунд и столетий тридцать -
всё одинаково засекают.
Падать на каменную подстилку -
дольно. Чем выше - тем больше доля,
время нанижет судьбу на вилку
и перемелет годами боль,
выплюнет в очередную яму -
Ползай - летай - улыбайся - в путь.
Вечность потрогать нельзя руками.
Можно лишь нужное подчеркнуть.



Лариса Миллер «СТИХИ ГУСЬКОМ»

Книга XII: декабрь 2012 г. – январь 2013 г.

31 января 2013 г.



сё время забываю вас спросить –

Меня не слишком трудно выносить?
Моих стихов немислимую груду,
Мою готовность к празднику и чуду,
Стремленье тайну видеть здесь и там
И следовать за нею по пятам,
Её рифмуня днями и ночами
Из года в год с тенями и лучами?
Не отвечайте. Вижу по глазам:
Мои стихи вам на душу бальзам.
Не затопить бы только вас бальзамом,
Потоком вещих слов о самом-самом.

2013

30 января 2013 г.

Ну почему же мы вечное детство
Не получаем от старших в наследство?
Ну почему получаем от них
Сроки земные от сих и до сих?
И для чего мы наследуем брeнность,
Жизни стремительность, счастья мгновeнность?

2013

29 января 2013 г.

Вопрос, что вечен, не отвечен,
А срок земной не бесконечен.
Так что же делать? Как же быть?
Да просто-напросто забыть
О чём все долгие недели
И годы мы спросить хотели.

2013

И проступает одно сквозь другое.
Злое и чуждое сквозь дорогое,
Гольная правда сквозь голый муляж,
Незащищенность сквозь грубый кураж;
Старый рисунок сквозь свежую краску,
Давняя горечь сквозь тихую ласку;
Сквозь безразличие жар и любовь,
Как сквозь повязку горячая кровь.

1988

28 января 2013 г.

Колесить по бульварам, а после прижаться к стеклу,
Почему-то застряв у какой-то витрины случайной.
Я в те юные годы по следу ходила за тайной.
Мне казалось, она меня ждёт на ближайшем углу.
Глупо? Глупо. Зато как тревожно, как радостно, как
Мне хотелось бродить, отражаясь в витринах и окнах,
Как я дивно однажды под дождиком летним
промокла,
Как мне встречные все подавали неведомый знак.
Не поверите мне, но и нынче с зари до зари
Тайный знак подают мне деревья, дома, фонари.

2013

Не знаю кем, но я была ведома
Куда-то из единственного дома,
Не потому ли по ночам кричу,
Что не свои, чужие дни влачу,
Расхлебывая то, что навязали,
И так живу, как будто на вокзале
Слоняюсь вдоль захватанных перил...
Да будь неладен тот, кто заварил
Всю канитель и весь уклад досадный.
Приходит в мир под свой же плач надсадный
Дитя земное. Кто-нибудь, потрафь
И посули невиданную явь.
Как музыка она, иль Божье Слово.
Но мне в ответ: "Под дудку крысолова
Идти, под вероломное "ду-ду"
Написано всем грешным на роду
С младых ногтей до полного маразма.
Вначале смех, а после в горле спазма,

А после холм и почерневший крест,
И никаких обетованных мест.
Понеже нет иной и лучшей яви,
От нынешней отлынивать не вправо".
1980

27 января 2013 г.

О, как она нужна – уютная рутина:
Чтоб коврик на полу, на стенке паутина,
Чтоб чайник закипал, чтоб дверь слегка скрипела,
Потягивался кот, дитя во сне сопело,
Чтоб весело струя лилась в большую кружку,
Чтоб были все утра похожи друг на дружку.
2013

26 января 2013 г.

Никуда он не делся – залиvistый зяблик.
Никуда не уплыл мой волшебный кораблик,
На котором написано крупно «любовь».
Коль исчезнет на миг, то появится вновь.
Никуда меня жизнь, слава Богу, не дела.
Будет снова весна, чтоб я снова балдела,
И однажды весной не во сне – наяву
На кораблике том я сама уплыву.
2013

25 января 2013 г.

Звёздам прошлого

1.

Ах, звёзды, красивые, юные, гибкие,
И вы, к сожалению, лодочки зыбкие,
И вас, к сожалению, топит волна,
Которая лишь переменам верна,
Капризному ветру, природным явлениям.
Ужель и для вас всё кончается тлением?
Ужели и вас так легко потопить,
Хоть вы и чечётку умеете бить
И петь, покоряя толпу миллионную,
В ваш голос и облик безумно влюблённую?
Смотрю сохранённое чудом кино,
Как будто бы пью дорогое вино,
Хмельное, шипучее, в искорках, пенное,

Где сладко топить свои мысли про бренное.

2.

Они же ведь ангелы, птицы и дети.
Они же играючи жили на свете.
Они же для нас и плясали и пели,
Сверкали, подобно весенней капли.
Они рвали страсти безумные в ключья,
Страдали жестокой бессонницей ночью.
Когда ж отцвели они, отпыхали,
То крылышком мятым нам долго махали.

2013

Мы у вечности в гостях
Ставим избу на костях.
Ставим избу на погосте
И зовем друг друга в гости:
"Приходи же, милый гость,
Вешай кепочку на гвоздь".
И висит в прихожей кепка.
И стоит избушка крепко.
В доме радость и уют.
В доме пляшут и поют.
Топят печь сухим поленом.
И почти не пахнет тленом.

1981

23 января 2013 г.

Я задала вопрос – молчание в ответ.
Но я его люблю куда сильнее ответа,
Тем более, когда в ответ лишь «да» и «нет»,
А ведь оттенков тьма, мильон у тьмы и света.
И все они живут, когда в ответ молчат.
В молчании всегда хранится многоцветье
И небывалый рай, и небывалый ад,
И бесконечность та, которой нет в ответе.

2012

22 января 2013 г.

Хоть убивали наповал,
Вставала я и, отряхнувшись,
Из полной тьмы на свет вернувшись,
Опять закатывала бал

Для тех, кто, как и я, готов
Увидеть повод, подходящий
Для праздника, в листе летящей,
В летучести миров, годов.

2012

Давай отложим всё, что можно отложить,
И даже, что нельзя, давай отложим тоже.
Сегодня вся земля – одно большое ложе,
Застеленное так, чтоб нас заморозить.
На то и снегопад, чтоб было мягко спать,
На то и снегопад, чтоб мы на чистом, белом
Забыли обо всём, и неотложным делом
Считали дивный шанс в перинах утопать.

2012

21 января 2013 г.

Прислушалась и слышу: снег шуршит.
А пригляделась – вижу: ниткой белой
Прошиты дни. О Боже, что ни делай,
Судьба всё непременно сокрушит.
И значит невозможно отложить
Роман со снегопадом. Годы, сутки
Промчатся, и не сможешь ни минутки,
Ни полминутки где-то одолжить.

2012

20 января 2013 г.

А если музыка звучит,
Всё кажется воспоминаньем
О чём-то давнем, чём-то раннем,
Чего и глаз не различит.

А если музыка звучит,
Я вижу с птичьего полёта
Как кто-то близкий, дальний кто-то
В окно туманное стучит.

2012

19 января 2013 г.

Так завидую тем, у кого лишь семь лет за плечами.
О, как смотрят на них небеса голубыми очами,
Как легко прямо в руки плывут золотые лучи,
И волшебники ходят на цыпочках в сонной ночи,

Дивным краем загадочным мнятся любые задворки.
Коль сумею я справиться с ноликом после семёрки,
То и мне от младенческих радостей перепадёт.
Может даже от старших за то, что не сплю, попадёт.
2013

18 января 2013 г.

А можно вас на два словечка?
Пока плывёт вон та овечка
В неповторимых небесах,
Пока идёт на всех часах
Земное время, и покуда
Не устарело слово «чудо»,
Душа не бросила парить,
Нам есть о чём поговорить.
2013

17 января 2013 г.

Принимать эту жизнь с её метаморфозами
Не единым глотком, а мельчайшими дозами,
По чуть-чуть, по чуть-чуть, чтоб её раскусить,
Разжевать и вкусить, и ещё попросить.
Хоть и горечь в ней есть, но добавки так хочется –
Новых вешних лучей и травы, что щекоchetся.
2012

15 января 2013 г.

А хорошо бы жить в траве
Или в бездонной синеве,
Иль в речке светлой тихоструйной,
Но толку что, коль в дикой, буйной
Стране, не помнящей родни,
Навек прописаны они.
2013

14 января 2013 г.

Вермееру
А можно обходиться малым:
Одним мостом, одним каналом,
Одной рекой, одним окном.
Увидеть можно и в одном
Окне весь мир, хотя дорожка
Всего одна видна в окошко.

Но и на ней, но и на ней
Танцует множество теней,
Теней, лучей, небесных пятен,
Внушая: мир невероятен.

2013

13 января 2013 г.

Увы, никак я точку не найду,
С которой лучше видно всё на свете,
С которой каждый лепесток в букете
Большом и ароматном – на виду,
С которой, будто в стереокино,
Я втянута в сюжет необъяснимый,
И всё, что прежде проносилось мимо,
Летит ко мне, стучит в моё окно.

2013

Юрию Карякину
Живи, младенческое “вдруг”,
Уже почти замкнулся круг,
Уж две минуты до конца,
И вдруг — карета у крыльца.
И вдруг — среди чащи светлый луг.
И вдруг — вдали волшебный звук.
И вдруг — жар-птица, дед с клюкой,
Края с молочной рекой.
Уходит почва из-под ног,
Ни на одной из трех дорог
Спасенья нету, как ни рвись.
Но вдруг, откуда ни возьмись...
1979

12 января 2013 г.

Не обладаю нужной хваткой.
В жизнь, что бывает горькой, сладкой,
Не в силах так вцепиться я,
Чтоб знать: она навек моя.
За луч, что так горазд светиться,
Мне б мёртвой хваткой ухватиться,
А я даю ему лизнуть
Меня в лицо и ускользнуть.

2013

Чем все кончится? Чем? Листопадом?
Шелестящим заброшенным садом,
Спелым яблоком, пеньем скворца.
Это значит, что нету конца.
Есть предел или нету предела —
Птица крыльями ветку задела,
Солнце тронуло землю лучом,
Ты ко мне прикоснулся плечом.

1984

11 января 2013 г.

Чего хочу? Хочу хотеть,
Хочу всегда хотеть чего-то.
К примеру, нынче мне охота
Над этой строчкой попотеть.
Но только, чтоб моя строка
Не пахла потом и трудами,
А только лесом и садами
И чтоб струилась, как река.

2013

Я проснулась, таким нетерпением горя,
Будто вспыхнула первая в мире заря,
Будто в очередь встали счастливые дни,
Будто ждут меня только подарки одни.
Так жила я тогда, когда было мне пять,
Когда новую куклу спешила обнять.

2010

10 января 2013 г.

Всё время время отнимают —
Беда, отчаянье одно.
Неужто же не понимают,
Что людям дорого оно,
Что надо изменить порядки -
Чтоб никаких календарей,
Что наступать нельзя на пятки
И приговаривать: «Скорей!»,
А надо складывать в копилку
Любой прожитый день и час
Иль рисовать их под копирку,

Чтоб был неистощим запас.

2012

Все эти времена лихие
Все времена
Как листья прощуршат сухие.
На письма
Похож узор на листьях клёна.
Роняет клён
И нынче как во время оно
Поток письмён.
Что время пишет — ветер носит
Несёт, несёт,
Не то в глухую пропасть сбросит,
Не то спасет.

1996

08 января 2013 г.

А вот бы мне нырнуть в те три котла
С водою ледяной, водой кипящей
И с молоком, чтоб юной и летящей
Походкой в даль умчаться, что светла.

Я суетна? Наивна? Так и есть.
Ребячлива? Ну да, куда деваться.
Вы только мне скажите – раздеваться
Или в котёл в одежке можно лезть?
2013

06 января 2013 г.

А нынче день нежней голубки.
Он не показывает зубки,
Он коготки свои вобрал
И никого не сёк, не драл.
Он просто занялся побелкой
И всё до веточки до мелкой
Посеребрил и подновил,
И кайф от этого ловил.
И я ловлю, когда о счастье
Пишу, презрев тоску, напасти.
2013

05 января 2013 г.

А эта снежная пыльца
Нужна, чтоб разбивать сердца,
Чтоб всё вокруг любви вертелось
И чтоб вовек не расхотелось
В рассветный снегопад нырять,
От счастья голову терять.

2013

Наступают сна неслышной
Снегопада времена
Невесомые Всевышний
Густо сеет семена.
И кружится нам на зависть,
Не страшась судьбы своей,
Белый снег, едва касаясь
Крыш, заборов и ветвей;
И зовет забыть усердье,
Пыл, отчаянье и страсть,
Между облаком и твердью
Тихо без вести пропасть.

1973

04 января 2013 г.

Ни вспышки не было, ни гула,
И даже нас не потрянуло,
А просто нам сказали: «Вот
И наступил он – Новый Год».
Смотрю правее и левее:
Быть может, стала ночь новее?
А может, изменился цвет
Ночных небес? Да, вроде, нет.
Зачем мы в ожиданье даты
Весь день готовили салаты?
И пироги зачем пекли?
Уж лучше б рано спать легли,
Чтоб, позабыв про даты, сроки
В нерасчленённом плыть потоке.

3 января 2013 г.

Устаревшее — «сквозь слёз»,
Современное — »сквозь слёзы» —

Лишь одна метаморфоза
Среди тьмы метаморфоз.

Все меняется, течет.
Что такое «штука», «стольник»
Разумеет каждый школьник,
И детсадовец сечет.

Знают, что «тяжелый рок»
Это вовсе не судьбина,
А звучащая лавина,
Звуков бешеных поток.

От скрежещущих колес,
Вздутых цен и дутых акций, —
Обалдев от всех новаций,
Улыбаемся сквозь слёз.
1993

03 января 2013 г.

Не получается сейчас?
Ну, значит, в следующий раз.
Одни лишь тяготы в избытке?
Ну, значит, со второй попытки
Удастся, что не удалось.
Считай, что всё уже сбылось.
Ведь мы же опытнее будем,
Когда опять сюда прибудем,
Когда средь лета иль зимы
Сюда опять вернёмся мы.

2012

02 января 2013 г.

У нас с тобой (а мы – земные жители)
Высокие такие покровители –
Высокие такие небеса,
Которые – ну чем не чудеса! –
Заботой окружают нас, вниманием,
Относятся к нам с полным пониманием
И, несмотря на нашу блажь и дурь,
Нет-нет да и подкинут нам лазурь,
А в этот снегопад ещё и золото
И серебро, что мелко перемолото.

1 января 2013 г.

Я тоже, заглотив наживку,
Влюбилась в эту жизнь – паршивку,
Которая то предаёт,
То сладко на ухо поёт,
То шлёт любовные записки,
То держит в самом чёрном списке.
Но даже в пору чёрных дней
Никак не удаётся ей
Внушить мне, что я зря к ней льнула
И зря наживку заглотнула.

1 января 2013 г.

01 января 2013 г.

Ого, как времечко несётся!
А это значит – рассосётся
Беда любая, как отёк.
И не горюй, что год истёк.
Считай, что время нас спасает
Тем, что в беде нас не бросает.
31 декабря 2012 г.

Да будет ли всё это кем-то читаться?
Да будет ли это стихами считаться?
Да вникнет ли кто-нибудь, вникнет, поймёт
Рифмованных строчек и горечь и мёд?
Да будет ли вовсе нужда в этих строчках?
Да надо ли нынче стоять на мысочках
И, вперясь в грядущее, не замечать
Как Музе охота диктовку начать?

31 декабря 2012 г.

31 декабря 2012 г.

Кто его знает – как на самом деле,
Как в самом деле обстоят дела?
Одно наверняка – конец недели,
Метель утихла и земля бела,
И снег чистейший, утомлённый кроссом,
Успевший всё и вся запорошить,
Покоен. Остальное – под вопросом,
Который, слава Богу, не решить.
2012

Так надо, чтоб легко дышалось,
Но почему-то сердце сжалось
И улыбаться нету сил,
И если бы Господь спросил
Что ранит, что дышать мешает,
Желанной лёгкости лишает,
Терзает душу, застит свет,
Я разрыдалась бы в ответ.
2007

30 декабря 2012 г.

А захочу, сбегу в свою тетрадь,
В ней потону, в неё совсем заруюсь,
В ней от всего, что ненавистно, скроюсь
И буду в ней от счастья умирать,
Дивясь тому, как каверзное «вдруг»
Руководит процессом, точно в сказке,
Тому как я, ловя его подсказки,
Боюсь тетрадку выпустить из рук.
2012

- Откуда ты родом,
Идущий по водам
Дорогою вешней?
- Я - местный, я – здешний.
Я – здешний, я – местный,
Я – житель небесный,
Шагающий к дому
По небу седьмому.
1988

29 декабря 2012 г.

А новый день, как гость нагрянет,
Как снег на голову падёт.
И темнота в испуге прянет,
Когда поймёт, что день грядёт.
Его шагов слышав звуки,
Мы тихо ахнем: «Это ты?»,
А он совать нам станет в руки
Конфеты, яблоки, цветы.
2012

28 декабря 2012 г.

Да жизнь не идёт под уклон.
Она просто клонит к чему-то.
Она просто, что ни минута,
Меняется, как небосклон.
К чему-то всё время клоня,
Лучами она, сквозняками,
Намёками, обиняками
Пленяет и манит меня.

2012

Чем кончится вся эпопея?
Гоморра, Содом и Помпея.
Помпея, Гоморра, Содом...
Куда бы ты ни был ведом,
Тебе не поспорить с лавиной.
Так слушай коран соловьиный
В июньскую светлую ночь,
Коль в силах тоску перевозмочь.

1981

27 декабря 2012 г.

Всё ускользает, всё летит,
И ты скользи, как луч, как тени,
Как прима юная по сцене.
Нас только вечность приютит -
Та, о которой ничего
Не ведаем, и в чьи объятия
Летим с мгновения зачатья
Таинственного своего.

2012

25 декабря 2012 г.

Что тебе надо, крохотное «я»?
Чего ты хочешь, милое, родное?
Господне чудо ты очередное?
Каприз природы? Выдумка ли чья?
И почему душа твоя болит?
И почему тебе всегда неймётся,
То плачется тебе, то так поётся,
Как будто петь сам Бог тебе велит?
И как ты научилось жить, любя,

Чужое «я» сильнее, чем себя?

2012

24 декабря 2012 г.

Зачем беду встречать на полпути?
Она сама прекрасно доберётся.
Ты лучше погляди как счастье трётся
У ног твоих. Прижми его к груди,
Пока оно обиженным щенком
Или котёнком не ушло понуро
Из-за того, что ты глядишь так хмуро
Иль отгоняешь его прочь пинком.

2012

Тьма никак не одолеет.
Вечно что-нибудь белеет,
Теплится, живет,
Мельтешит, тихонько тлеет,
Манит и зовет.
Вечно что-нибудь маячит...
И душа, что горько плачет
В горестные дни,
В глубине улыбку прячет,
Как туман огни.

1993

23 декабря 2012 г.

Я тоже уроженка здешних мест,
В которых нынче холод - минус десять,
В которых, если сядешь на насест,
Рискуешь ножки прямо в бездну свесить,
Поскольку мы здесь вечно на краю,
На грани бойни, хаоса, разрухи
И, как ребенка, любим боль свою,
И, как всегда, не в форме и не в духе.

2012

А я мечтаю только об одном,
Чтоб больше не ходила ходуном
Земля, вернее, почва под ногами,
Чтоб не пришлось «другими берегами»
Назвать края, где жизнь моя и дом.

1994

22 декабря 2012 г.

Коль утром заново рождаться,
То можно запросто дожидаться,
Не постарев и не устав,
Времён, где море юных трав
И море серебристых трелей,
И море свежих акварелей,
Где вышина ли, низина –
Всё рай. И смерть упразднена.
2012

21 декабря 2012 г.

Мы все матрёшки, все с секретом,
До срока спрятанным внутри.
Ну а точнее, мы все с приветом.
Что с виду в норме – не смотри.
И вообще гляди-ка мимо
Своих любимых чад, Господь.
Ведь чадо, что Тобой любимо,
Такую может чушь молоть,
Такое учудить готово
Над ближним и самим собой,
Что непонятно как Ты снова
Нам даришь полог голубой,
Его позолотив с востока,
Чтоб нам оттенки показать,
Вместо того, чтоб нас жестоко
И справедливо наказать.

Мы все матрёшки, все с секретом,
Что в нас живёт зимой и летом,
И этим интересны мы
Как летом, так и средь зимы.
Непредсказуемы, опасны,
А временами так прекрасны,
Что в пору нам всё-всё простить
И чудом света окрестить.
2012

20 декабря 2012 г.

Я знаю: со мною беда –
Страдая сладчайшей из маний,
Блокнотик держу я в кармане,

Слова заносу я туда,
Хоть надо б подумать всерьёз
О более прибыльном деле,
Но лучше на этой неделе
Оставить открытым вопрос,
Чтоб нынче, точь-в-точь, как вчера,
Терпя, как обычно, убытки,
Слова ворошить – эти слитки
И золота и серебра.
2012

Дни целомудренны, чисты,
В снегу деревья и кусты,
Фонарь, скамейка. И прохожий
Сегодня бел, как агнец Божий.
2010

18 декабря 2012 г.

Всё должно быть волшебно, прекрасно,
А на меньшее я не согласна.
Знать должна, что родных не лишусь,
А на меньшее не соглашусь.
Небывалой должна быть концовка,
А не прежнего перелицовка,
Тыщу раз повторяю на дню,
Что решение не изменю.
2012

17 декабря 2012 г.

Что дальше? А дальше в щебечущем мае
Поедем куда-нибудь в звонком трамвае.
Продаст нам кондуктор счастливый билет.
Ты знаешь, куда мы поедем? Я – нет.
Но будет маршрут непременно удачным,
И солнечный зайчик в трамвае прозрачном,
Сменив много окон и множество мест,
Проедет весь путь, не платя за проезд.
2012

16 декабря 2012 г.

У снега задача – зимой темноту освещать.
Весьма благородная, надо добавить, задача.
И то, что он нас посещает, - большая удача,

И тянет поэтому строки ему посвящать.
Ну что бы мы делали здесь без его белизны?
В тоску бы впадали, живя постоянно во мраке.
А он, серебристый, внушает, что мрак – это враки,
И явь светоносна, воздушна, как детские сны.
2012

Болела моя детская душа:
Я утопила в море гольша,
Случайно утопила в бурном море.
Насмарку лето. Ведь такое горе.
Купили паровозик заводной,
Но нужен был единственный, родной
Гольш – нелепый бантик на макушке.
А жизнь, как оказалось, не игрушки.

2010

15 декабря 2012 г.

Не то летучий эскадрон,
Не то тяжёлая эскадра
Ночей и дней. Пусть я лишь фон,
Не выйти только бы из кадра,
Когда снимается кино
О днях, ночах текущей эры.
Оно, возможно, лишено
Сюжета, вкуса, чувства меры,
Но, тем не менее, и мне
Охота, пусть не крупным планом,
Ходить по старенькой земле,
Как тот Серёга с тем Коляном.
Ищу того, кто, как и я,
По ней ещё не набродился,
Балдея так от бытия,
Как будто лишь вчера родился.

2012

13 декабря 2012 г.

Люби меня, жизнь моя, что тебе – трудно?
Сияй мне навстречу светло, изумрудно,
Утри свои слёзы, рассеяй свою мглу,
Встречай меня чуть не на каждом углу
Счастливой улыбкой, охапкой сирени.
Пускай у меня не возникнет и тени

Сомненья, что я – красоты неземной,
И ты расставаться не хочешь со мной.

2012

Спроси, чем я жива. Отвечу, что люблю.
Спроси, чем я жива. Отвечу, что любима,
Что наступивший день я, как умею, длю
И что душа моя, как куст, неопалима.
Скажу, что жизнь моя есть чудо из чудес,
Что я сама себе завидую всё время.
А ведь она могла страшить как тёмный лес,
И безнадёжный бред, и пагубное бремя.

2010

11 декабря 2012 г.

А кто там притаился между строк?
А кто там меж словами притаился?
А кто там невидимкой притворился,
Сидит и дышит, тихо, как сурок?
И пусть сидит. Нельзя его теснить,
Пугать его, хватать его руками.
Он – то, что строки делает стихами.
Он – то, что ни назвать, ни объяснить.

2012

10 декабря 2012 г.

Ну что добавить в эту бочку?
Как что? Конечно, каплю мёда:
Стихов удавшуюся строчку,
Слова: «Чудесная погода!».

Ну что добавить в ад кромешный,
Который без конца и края?
Как что? Смешной глазок скворешни,
Улыбку, то бишь каплю рая.

2012

“Oh, I believe in yesterday”

Beatles

Пели “Yesterday”, пели на длинных волнах,
Пели “Yesterday”, так упоительно пели,
И пылали лучи, что давно догорели,
Пели дивную песню о тех временах,

Полупризрачных тех, где всегда благодать,
Где пылают лучи, никогда не сгорая...
Да хранит наша память подобие рая,
Из которого нас невозможно изгнать.
1998

09 декабря 2012 г.

И, даже дома захотев остаться,
Продолжу, тем не менее, скитаться.
Спасибо, что не по чужим углам,
А в тех стенах, где мой родимый хлам:
Торшер, трюмо, ребячье одеяльце,
Скрипучий стул. Мы – вечные скитальцы
Из мига в миг, из часа в новый час,
Где не было живой души до нас.

2012

Повнимательней, ну что ты.
Ты не те играешь ноты,
Свет от тьмы не отличаешь,
На кивок не отвечаешь
Юных зорь, что рады встрече,
Не находишь в тихой речи
Будничной, на дождь похожей,
Непостижной тайны Божьей.

2012

07 декабря 2012 г.

О как мне наскучило в ногу с судьбой
Всё время шагать. Я б вперёд забежала,
На завтрашнем солнышке бы полежала.
Короче, дала бы какой-нибудь сбой.
Я б тем позвонила, кого уже нет.
Они мне сказали бы: «Здравствуй, привет».

2012

06 декабря 2012 г.

Ну кто ни забегал на огонёк?
Ну кто ни заходил на землю в гости?
Бродяжка Чарли с неременной тростью,
Танцор Астэр. Парить – его конёк.
Луи Армстронг, чьё соло на трубе
Есть ворожба, и Элвис бесподобный.

Ах, жизнь есть случай редкий и удобный
Заняться тем, что нравится тебе.
А если осчастливишь и других,
Ты – из гостей ну самых дорогих.

2012

Низ зелёный, а верх голубой.
Жить согласна, но только с тобой.
Без тебя - цвета нет никакого –
Ни зелёного, ни голубого.
Без тебя - нет ни ночи, ни дня
И, надеюсь, не будет меня.

2008

05 декабря 2012 г.

Люблю легенды. Пусть они живут.
Париж. Кафе зовётся «Две сороки».
В нём сочинял чарующие строки
Поэт. Не помню, как его зовут.
А в том бистро художник молодой
За чашкой кофе делал почеркушки,
Рисуя профиль ветреной подружки.
Он беден был. Всё кончилось бедой.
А тут, а там, в том доме, в том саду,
В мансарде той, а, может, в том подвале,
Там тоже часто гении бывали
В каком-то приснопамятном году.

О, этот след, меня пленивший след
Того, что то ли было, то ли нет.

2012

04 декабря 2012 г.

Да знаю, знаю, что сто тысяч раз
Употребляла я словцо «летучесть»,
И рифмою ему служила «участь».
Наверно, мал словарный мой запас.
А может, просто не могу никак
К летучести годов и дней привыкнуть,
К тому, что день, начни он даже никнуть,
Никак не может перейти на шаг
И всё летит на крылышках к концу,
Даря нам свою снежную пыльцу.

2012

03 декабря 2012 г.

Ты на меня так мрачно поглядела.
Ты, часом, жизнь, ко мне не охладела?
Так нынче мрачен взгляд твоих небес.
Послушай, ты нужна мне позарез.
Ну что мне делать без тебя на свете?
Пока ты есть, со мной любимый, дети.
2012

02 декабря 2012 г.

Любимые давно куда-то делись,
Но тени их опять ко мне слетелись,
И я опять ловлю любимый взгляд
И снова вспоминаю всё подряд:
И то, как дед мой, шелестя страничкой,
Чужую мудрость метил в книге птичкой,
Как мама чашку ставила вверх дном
На блюдечко. Я вечно об одном.
Нет, не про птичку я и не про блюдце –
Про то, что не могу не оглянуться.
2012

01 декабря 2012 г.

Ах, оборви стишок, пока он дышит,
Пока сквозняк строку его колышет,
Покуда пульс неровен, учащён
Стиха, что робким светом освещён
И посвящён в секреты, о которых
Поведал ветер, заплутавший в шторах.
2012



Лорина Дымова Что нас заставляет?..



то нас заставляет садиться за стол и
писать,

Хотя впереди не маячат ни деньги, ни слава?
Ах, ты утверждаешь, что людям пытаешься что-то
сказать?
Да полно! Иные заботы у них и другие забавы.

К чему им твои рассужденья? И мысли твои?
Живется им трудно и скучно. И часто неможется.
Им горько и муторно. И не хватает любви
И денег...
А все остальное – приложится.

Оставь их в покое.
От пышных твоих рассуждений – тошнит.
И все-таки что-то к столу нас упорно толкает!
Нехитрый мотивчик в мозгу поселился –
Свербит и звенит,
И плачет, и хочет наружу, и нас допекает.

К тому же бесчинствуют так за окном соловьи!
И так тяжелы и таинственны грозди акаций!
И грустно, и муторно. И не хватает любви.
Как это осилить?
Куда же нам с этим деваться?

И как победить этот лютый сердечный озноб,
Который и ночью, и днем заставляет нас маяться?

...Тот самый мотив на листке записать.
А потом – хоть потоп.
Хоть адская бездна.
Нас это уже не касается.

Стих торжественно-серьезный,

Легкомысленный куплет...
Будем рано или поздно
Мы за все держать ответ.

Только нет приспособлений,
Чтобы оправдали нас:
Ни изысканность сравнений,
Ни удачный парафраз.

И когда Господь Всевышний
Спросит с нас за все грехи –
Будет совершенно лишней,
Папка, где лежат стихи.

Штора летняя кольшется,
Окна смотрят на восток.
Ах, не пишется, не пишется,
Ручеек-то мой утек.
Где ему теперь бормочется?
Что поет - о чем, о ком?
И на волю шторе хочется
Вслед за синим ручейком.

А если б я тогда не написала,
Как ты любим, прекрасен и высок –
Сейчас бы думали: ты был всегда усталый,
Сутулый, незаметный старичок.
Что ты всегда ходил в неглаженной сорочке
И что никто тебя не пробовал любить.
А так – читают пламенные строчки
И думают: «Кто знает... Может быть...»



Игорь Гельбах

Мастерская

I



Мастерская, которую Блюм порой вспоминал, располагалась в полуподвале, и днем лучи света всегда прорезали ее пространство, так что только часть помещений была освещена ярко, и тени никогда не покидали ее, они жили по углам.

Вспоминался сразу же громадный стол с бумагами и эскизами, с кистями, составленными в керамической вазе, и всем прочим, нужным и ненужным, - длинным своим плоским телом он вытянулся у окон. Была еще стойка с книгами и журналами, - интересно было иногда порыться в периодике двадцатых годов и в книжках издательства «Academia».

Блюм набирал с полок журналы, стряхивал с них пыль и пододвигал кресло к окну. Иногда он довольно долго листал эти журналы и курил, а большой мольберт стоял в углу, картины были прислонены к стене, ящики с красками лежали на полу или разложены были по нескольким колченогим стульям. Спал же Блюм во второй, маленькой комнате с одним окном, где у стены, боком упираясь в выложенную кафелем печь, стоял диван; к этой же стене прислонены были натянутые на рамы холсты, и свет падал на них из окна. В этой комнате Блюм часто лежал поперек дивана и курил, глядя на пустую светлую стену напротив, а свет сквозь окно попадал в кухню-прихожую, где на старой заляпанной газовой плите он иногда варил кофе. Блюм приезжал сюда с юга, и считалось, что он хорошо варит кофе.

Обычно он вылетал первым рейсом и шел на остановку автобуса-экспресса в ранний час. По дороге он останавливался, оглядывал деревья, потом снова шел, прислушиваясь к звукам собственных шагов по цементным плитам тротуара, и снова останавливался, когда пил воду из городских колонок, облицованных мрамором. Потом экспресс пронесил его по просыпающемуся городу, а Тбилиси в середине 60-х годов был еще не слишком большим городом, и черепичные, теснящиеся по склону горы и в котловане красные, бурые крыши, тела церквей и сизый дымок вскоре исчезали из виду, оставаясь на другой стороне реки; экспресс проезжал по облепленному балконами

обрывистому берегу, городской шум постепенно стихал, и экспресс мчался по сухой карталинской равнине к аэропорту.

Зимой и весной равнина была голая, серая, сухая, в остальное же время она зеленела, дул ветер, в небе не было ни облачка, вдали серебрились пыльные тополя, по обочинам желтели цветы дрока. Но потом это все исчезало, на губах оставался привкус сажи и металла, и самолет медленно, порой проваливаясь в воздушные ямы, летел на север...

II

«Он напоминает Павла с картины Эль Греко», - подумал Блюм, вспоминая краснеющую плоскость в массивной раме в одном из небольших залов Эрмитажа. Картина называлась «Апостолы Петр и Павел».

Но сейчас он был в мастерской, и Мельников стоял перед ним, чуть посмеиваясь, было в нем что-то от ребенка, а потом спросил:

- Ну что? Снова был в Эрмитаже и опять смотрел Греко?

- Нет,- сказал Блюм,- мы так и не дошли.

-Хорошая вещь, - сказал Мельников,- наверное, лучшая из того, что я видел. А знаешь, где он написал себя?

Блюм кивнул, и Мельников подошел к столу, у стола он обернулся, внимательно посмотрел на Блюма и спросил:

- А она придет сюда.

- Я жду ее,- сказал Блюм и направился к креслу у окна.

- Свою знакомую,- пробормотал Мельников, помедлил и снова спросил, - почему ты ее так называешь?

Жест Блюма предвещал его ответ и, опустившись в кресло, он помолчал, а потом ответил:

- Я не знаю, как иначе определить это. Она вам нравится?

- Интересная девушка, - пробормотал Мельников, скрывшись в тени. Блюм потянулся за сигаретами, но тут Мельников вновь появился на свету и принялся расставлять свою живопись в узких деревянных рамах вдоль стены. Потом он отошел, оглядел работы и обратился к Блюму:

- Вот они, те, что я делал последний год, остальные ты знаешь...

Блюм кивнул и принялся разглядывать отсвечивающие картины, прошел мимо них, остановился и посмотрел на Мельникова. Тут он припомнил, что тот рассказывал о происхождении своей фамилии. В армии его отца переписали из Мельника в Мельникова, а вообще-то Блюм знал о нем мало, знал, что в войну, еще совсем мальчишкой, Мельников работал у

токарного станка, получал паек, после войны кончал школу, учился в архитектурном, потом на стройке что-то рухнуло и он сидел. Потом его выпустили, и он стал зарабатывать книжной графикой. Была у Мельникова семья - жена и сын. Блюм даже не помнил, где и когда они с Мельниковым познакомились, но приезжая в Ленинград, он всякий раз останавливался у него в мастерской.

Мельников стоял неподвижно, и Блюму странно было смотреть на его чуть закинутую назад голову с открытым, смуглым лбом, на его невысокое крепкое тело, обычно легко и быстро двигавшееся, а теперь словно застывшее. Потом Мельников спросил:

- Ну, когда же я напишу твой портрет?

А Блюм ответил:

- Когда-нибудь потом...

- Не знаю почему, но в последнее время у меня мало что получается, сказал Мельников, - я задумал кое-что, некую программу, знаешь ли, - тут он усмехнулся, - но...

Он прошелся несколько раз от одного угла помещения до другого, после чего остановился у окна, а свет падал из окна и отражался от записанных холстов.

Блюм подошел к одной из работ и сказал:

- Удивительная вещь... Здесь присутствует время, то, что ушло, состояние... Я прав?

Он старался говорить посуше и покороче, но хотелось ему сравнить впечатления от этой работы с опрокинутым кувшином, откуда выплеснулось кислое зеленое вино, капли которого повисли на ободке, прощаясь с глиной.

Но он этого не сказал, а посмотрел на часы, старые часы в высоком деревянном футляре с цепью, гириями и потускневшим циферблатом, совершенно выпадавшие из прежде знакомого интерьера.

- Эти вещи похожи на вас, - произнес он наконец.

- Не я делаю их такими, - сказал Мельников, - они начинают дышать, когда ломается скорлупа...

И внезапно добавил: Я хочу написать портрет твоей девушки. Она согласится?

- Наверное, - сказал Блюм и посмотрел в сторону окон.

В правом окне он увидел ноги человека, топтавшегося на месте в свете влажного тротуара. В другом окне виднелись камни мостовой, решетка канала и вода. Можно было разглядеть и другой берег канала с деревьями, кроны которых были очерчены спящей линией, а дальше парили темные фасады.

Много позднее, припоминая этот разговор, Блюм вспомнил об одной из десяти зефирот-сущностей в кабалистике, о клиппоте, шелухе, скорлупе любого явления, где гнездятся злые бесы, но это совпадение никак не могло послужить каким-либо ключом к ответу на тот вопрос, который его волновал.

III

Он не дождался ее, а потом вспомнил, что сам обещал зайти за ней в библиотеку, такая странная забывчивость его удивила, и тогда он не нашел ей объяснения.

Вообще, как это позднее ему казалось, многое из происходившего с ним в ту пору было бессмысленным, но неизбежным - спасительная формулировка, с которой он сам примирился, как принял и эти медленные перелеты с юга на север и с севера на юг.

Роман их тянулся уже несколько лет.

Юля жила с больной матерью в маленькой тесной квартирке неподалеку от Пяти Углов и работала в архиве Публичной библиотеки, что же до Блюма, то он знал, что ни о какой более-менее осмысленной работе в Ленинграде ему не стоит и мечтать, пока он не защитит кандидатскую диссертацию.

В библиотеке, как и во всяком публичном заведении, пахло человеческой усталостью, у зеленой лампы сидел лучший в стране знаток Гегеля, по профессии служебный собаковод, в буфете была кислая сметана, у каталогов болтали что-то о спецхране, а на улице шел дождь.

Через полчаса они промокли, но дождь, казалось, уже кончился, в саду меж деревьями лежал туман, сзади дымно розовело здание Инженерного замка, а по черным стволам деревьев, по обшлагам рукавов и по лицу текли капли дождя.

Когда они вышли из сада, людей на улице почти не было, и Юля сказала:

- Ты всегда приезжаешь на несколько дней, дни проходят быстро, и мы ничего не можем решить...

Он посмотрел на противоположную сторону улицы, на женщину в темном, бесформенном пальто, что медленно шла через лужи к прозрачной будке телефона-автомата.

- И я сижу в мастерской, - сказал он, - а потом мы идем куда-нибудь...

Может быть, мне лучше вообще не приезжать?

- Я тоже все время об этом думаю, может, и в самом деле было бы лучше, если бы ты вовсе не приезжал...

- Хотел бы я не приезжать сюда, - сказал он, припоминая

внезапные приступы тоски или меланхолии.

В такой день можно было купить новый галстук в лавке на Майдане, спуститься в подвальчик, позвонить изредка вспоминаемой знакомой или зайти побриться в парикмахерскую к Василию Гаспаровичу, который любил выпить на работе, порой угощал и клиентов и, заточивая голубую бритву, приговаривал: «Есть люди красные, есть люди желтые, есть люди черные - это мы, но есть люди чернее нас, и мы с ними никакого дела не имеем, конечно».

В парикмахерской пахло одеколоном, кожей и опилками, их разбрасывала по полу уборщица, перед тем как подмести в очередной раз. В кривом зеркале напротив кресла Блюм видел себя с намыленными щеками. Василий Гаспарович то ли заточивал бритву, то ли пил вино, разговоры вокруг велись о чем угодно, даже о троне иранского шаха Аббаса.

«Скорее всего, - думал Блюм, - парикмахерская и есть то место, где острее всего переживаешь подлинность жизни».

IV

Перед отъездом Блюм вернулся в мастерскую за полночь.

Мельников работал, сидя за столом, и, когда он повернулся, чтобы взглянуть на Блюма, его голова заслонила свет настольной лампы. Стало совсем темно, и Блюм подошел к столу. К длинному столу, на котором лежали книги и листы бумаги, стоял кувшин с кистями, и присутствовало все остальное, что необходимо, и то, что ненужно, но всегда бывает на рабочем столе.

- Ну вот, утром улетаю, - сказал Блюм.

- Ну, а как ты там живешь-то? - спросил Мельников.

- Чудесно, - ответил Блюм.

- А приедешь когда?

- Не знаю, - сказал Блюм.

Он уселся в кресло, закурил, лениво потянулся и прикрыл глаза.

Часы вскоре тихо зазвенели, и Блюм встрепенулся.

- Я было задремал, - сказал он. Мельников встал из-за стола и направился к вешалке. Блюм пошел вслед за ним до двери и сказал:

- У вас хорошая мастерская. Свет, пустота, спокойствие.

- Это только скорлупа, - сказал Мельников. - Дело, понимаешь ли в том, что человек всегда пытается уйти от того, что происходит на самом деле...

Он взглянул на Блюма и добавил:

- Ключи я забрал. Приезжай...

Блюм закрыл за ним дверь, прошел сначала в большую комнату, потом в маленькую, улегся поперек дивана и снова закурил. Потом он вспомнил, что лампа на длинном столе осталась включенной. «Надо встать и выключить свет», - подумал он.

V

В следующий раз Блюм приехал в Ленинград осенью. Сначала погода стояла хорошая, а потом пошли дожди, но это не мешало гулять по городу.

В тот день дождь начался около одиннадцати и к часу дня уже прошел, вода блестела в лужах, прохожих становилось все больше, а по стеклу витрины, у которой они остановились, вода не переставала течь равномерной каймой, смывая себя и свои следы, а за стеклом стояли стеллажи с фруктами.

- В Тбилиси в это время виноград продается на каждом углу, - сказал он. - Хочешь виноград?

- Мы с тобой всегда ужасно голодные, - засмеялась Юля, и он направился в магазин. Там было темно, как всегда бывает темно в доме, когда на улице только что прошел дождь. Фрукты темнели на стеллажах перед стеклом, по которому все еще текла вода, за ним смутно мелькали люди, а внутри они передвигались темной массой, и пробивавшийся свет изредка выхватывал из полутьмы их лица, пока Блюм шел к кассе, то и дело позванивавшей, и пробирался к прилавку сквозь толпу. Когда бумажный пакет с виноградом был уже у него в руках, рядом с ним оказался пожилой человек в тусклых очках под потертой шляпой, который, поглядев на него, спросил:

- Пожалуйста, попробуйте виноград, не кислый ли... Мне нельзя есть кислый виноград.

Блюм посмотрел на лицо пожилого человека и ответил, протянув ему бумажный пакет с виноградом:

- Попробуйте сами, зачем же мне его пробовать...

- Ну, я, пожалуй, возьму одну, - сказал человек, пожевал виноградину, поморщился и исчез. А Блюм направился к выходу, к двери, откуда уже всюю ломился свет.

На улице Блюм рассказал Юле о человеке из магазина, и Юля попросила:

- Расскажи мне еще что-нибудь, я люблю, когда ты рассказываешь. Ведь что-то происходило с тобой все это время...

Тут он засмеялся, как в тот раз, когда сказал, что и сам не хотел бы приезжать, но приезжал...

- Когда я уезжаю, то перестаю верить в происходящее всерьез, или просто ни о чем таком не думаю. А о тебе я думаю

слишком много, - признался он, а потом сказал:

- Ладно, расскажу тебе как я был в Бетани... В сущности, это то же самое, что и Вифания... Только по-грузински... Мы отправились туда большой кампанией, но по дороге настроение изменилось, и большинство решило устроить пикник, не доходя до монастыря. Тогда я решил пойти туда один...

VI

Он сошел с дороги, миновал неширокие заросли и по проселку вышел на раскинувшееся по склону холма желтое поле, где-то у края его росли деревья, а далеко за ними голубой, смятой драпировкой с небес ниспадали горы.

Пройдя поле со скошенной недавно травой, он попал в лес, тропинка вела его то спускаясь, то поднимаясь в гору. На одной из полян он увидел стадо щипавших траву коров. Свет, пробиваясь сквозь листья, ложился на их плоские лбы и поблескивал на обводах глаз.

Потом он спустился на дно ущелья, где протекал ручей.

Перейдя его, он попал в негустые заросли кустарника, который постепенно редел, а потом начался крутой подъем к самому верху противоположного склона ущелья, где стоял монастырь.

- Первый раз я увидел его, выйдя на гребень, перед спуском в ущелье, сказал он Юле.

Оказавшись на территории монастыря, он первым делом заглянул в полутемную церковь, вдоль стены которой были сооружены лавы, а у алтаря сидел человек и ел хлеб с сыром, рядом с ним стояла бутылка с водой, на алтаре лежали папки, планшеты и рюкзак; здесь же, чуть поодаль, стояли раскладушка и фотоаппарат на треножнике.

Человеку было лет пятьдесят на вид, у него были темные, спрятанные под густыми бровями глаза. Черные, курчавые волосы тронуты уже были сединой. На голове у него была серая сванская шапка.

Войдя, Блюм поздоровался, и сидевший предложил ему разделить трапезу. Он говорил по-русски не спеша, с легким акцентом. Блюм поблагодарил его, взял кусок хлеба и отрезал ломоть от белой, молодой головки сыра. Начался разговор, и Блюм рассказал немного о себе, и узнал, что его собеседник находится в монастыре вот уже вторую неделю. Помимо него в монастыре никого не было.

- А где вы еду берете? - спросил Блюм.

- В деревне, а сначала из города привез...

Вслед за этим, заметив что Блюм посмотрел на фотоаппарат на треножнике, человек в сванской шапке пояснил:

- Я замеры здесь делаю... Надо отчеты готовить, а леса остались после реставрации... Можете подняться, если хотите...

Тогда Блюм сказал:

- Да, спасибо, я, пожалуй, поднимусь наверх...

Он встал, вышел на середину храма и огляделся.

Фрески написаны были давно, кое-где фрагменты их были утрачены, но большая их часть хорошо сохранилась. Он долго рассматривал их, потом шел дальше вдоль стены или вновь отступал к середине, а человек продолжал есть. Потом Блюм подошел к лесам и стал подниматься наверх. Наверху он остановился, стены жили вокруг, каменный пол был далеко внизу, а в оконце на противоположной стене виднелась листва под солнцем. Заметив на площадке кувшин, Блюм присел и немного отпил из него, в кувшине было вино.

«Значит, этот человек поднимается сюда, смотрит по сторонам и пьет вино, - подумал он. - Странное занятие. Пьют обычно на воздухе, под деревьями, или на траве, у ограды, или у могил, здесь, во дворе, их было несколько, каменные плиты в траве с именами настоятелей».

Он решил выпить еще немного и опрокинул кувшин повыше и какой-то голос или ветер, коснувшийся листьев, зашептал ему имена. Он поставил кувшин на помост и спустился вниз.

Человек в сванской шапке куда-то ушел, в церкви было пусто.

У деревьев во дворе лежала сметенная в стожки трава, а тропинка вела вниз, к ручью на дне ущелья.

- Я пересек ущелье и с гребня в последний раз увидел монастырь, сказал он Юле.

А потом снова был лес, стадо коров на поляне и желтое поле, теперь уже поднимавшееся вверх и ведущее к дороге в город.

К тому времени как он вышел на дорогу все вокруг изменилось. Стало прохладно, дул ветер. По небу быстро бежали темные, фиолетовые, совсем как горы вдали, тучи. Ясно было, что вскоре грянет гроза. Он прошел по дороге до ближайшей развилки и обернулся, ожидая появления машин, направлявшихся в город. Потом вдали, над Кер-Оглы блеснула молния. Через пару секунд он услышал гром. Интересно, подумал он, дойдет ли гроза до города. На следующий день начиналась рабочая неделя, и он хотел вернуться в Тбилиси до темноты.

Город лежал в котловане, с трех сторон, окруженный

горами, и летом воздух в городе нагревался, медленно обтекая каменные строения, а листья платанов покрывались пылью. Иногда по ночам на город низвергался дождь, сначала смывая пыль с листьев, крыш и улиц, а затем устремляясь темными потоками к реке, которая вздувалась и пенясь неслась в сторону Метехского замка, Майдана и района серных бань.

В тот раз дождь пролился на город к утру, но затем вышло солнце, лужи высохли, и после некоторого затишья звуки города вновь обрели свою полноту, смешавшую голоса людей, шум воды в фонтанах, клаксоны автомобилей и мелодии, доносившиеся из городских репродукторов. А во второй половине дня в одной из небольших комнат, используемых обычно для проведения семинаров, в институте, где работал Блюм, появился Арзумян.

Свет врвался в окно на третьем этаже, а внизу, на площади, на том углу ее, где, подавая сигналы, все время сворачивали в отходящую, вымощенную булыжником улицу автомобили, сидели подметальщицы улиц - курдянки в желто-красных и зеленых плисовых юбках. Две из них вяло переругивались, а потом неожиданно вскочили, готовые наброситься друг на друга, но пришел старик курд с метлой, разогнал их и принялся медленно подметать улицу, не обращая внимания на проезжающие автомобили и на пыль, поднимающуюся вдоль желтой улицы от взмахов метлы...

Блюм отошел от окна и снова посмотрел на осыпанного мелом человечка, стоявшего у доски. Доска была пуста, человечек мял в руках сигарету, кажется, его фамилия была Арзумян. Тот поймал его взгляд, подошел к нему и сказал:

- Вам я доверяю, потому и рассказываю... Поймите, я смотрю на нее, и она движется. Это маленькая модель, но она движется, я ставил препятствия на ее пути, а она все равно движется, - он почти вплотную приблизился к Блюму и, обратив к нему коричневое сморщенное личико, добавил: - Я не могу открыть вам, как устроена модель, но она выдержит все испытания...

- О чем же тогда говорить, и чем я смогу подействовать? Может быть, вы все же покажете мне ее?

- Я никому не могу ее показать, - почти вскричал человек, - ее могут украсть. Она движется, когда я на нее смотрю...

И Арзумян отошел и принялся чистить рукава пиджака. А Блюм, заглядевшись на пылинки, плясавшие в луче света, вновь обратился к нему:

- Посмотрите, - сказал он, - вот пыль, я на нее смотрю, а

она движется. Вы это хотите от меня услышать?

Арзуманян пробормотал еще что-то и исчез, а Блюм, оглядев аудиторию, обратился к приятелю, сидевшему за последним столом:

- Он преподает где-то в вечерней школе. Иногда он приходит сюда, ловит меня, рассказывает что-то о своей модели и просит придумать теоретический механизм, который бы объяснил ее поведение... Он ищет объяснения... вот так. Иногда хочется ему поверить.

Свет падал теперь из окна прямо на доску. Они были в аудитории вдвоем и приятель, сидевший у стены, внимательно смотрел на него.

Блюм попросил у приятеля сигарету, закурил и пригласил зайти к нему вечером. Потом он вышел, спустился по лестнице мимо окон вниз, на маленькую площадь, где старик с метлой сидел на краю тротуара. Пыль вилась вдоль обочины, и он направился вниз по спуску к мосту, мимо платанов и их синих теней, оставив сзади маленький фонтанчик и край сада со стариком фотографом и камерой-обскурой, накрытой черной тряпкой.

В этом месте, неизвестно почему, его всегда посещало чувство облегчения; переживание это обычно принимало форму музыкальной фразы, некий скорбный вопрос струнных и духовых из одной любимой им симфонии, и теперь фраза эта прошлестела в листьях в предустановленный миг и исчезла... Звуки ушли, растворившись в платанах, скрежете трамвая на повороте, в молчании камеры-обскуры, накрытой черной, выцветшей тряпкой, в неподвижности места над мутным потоком Куры, которую здесь называли Мтквари.

- Вот и все, - произнес он, - ну что тут еще можно рассказать?

- Странно, - сказала она, - ты так интересно рассказываешь, а я все равно не в силах этого представить...

VII

Блюм не заговаривал с Мельниковым о портрете Юли, он вообще не желал каких-либо обсуждений этих развивавшихся помимо его воли отношений, ему было достаточно своих тягостных раздумий каждый раз, когда он принимал решение ехать или не ехать в Ленинград, так, во всяком случае, формулировал он для себя эту проблему.

Но однажды, в свой последний приезд, он все же нехотя ввязался в какой-то разговор с Мельниковым, потом разговор

иссяк, молчание долго не прерывалось, а потом Блюм услышал:

- Посмотри, вот портрет одной твоей знакомой. Он, правда, не окончен...

Слова эти застали его в момент тягостных размышлений, сегодня ему просто не удалось от них уйти, он некоторое время смотрел на портрет, вынесенный Мельниковым из того темного пространства, куда никогда не долетал свет из окон, потом он захотел встать, приподнялся, но снова сел и остался сидеть, а портрет все стоял, прислоненный к стене под косым потоком дневного осеннего света.

«Ну вот, - подумал он, - вот уже и портрет», и едва обратил внимание на вопрос Мельникова.

- Ты ее любишь? - спросил тот.

Пожалуй, ему не стоило задавать этот вопрос, но Блюм ответил:

- Не знаю...

Впрочем, ему было не до этого, никогда прежде не воспринимал он сам феномен портрета так ярко, переживание это приняло форму Моцартовой фразы, скорбного единого вздоха струнных и духовых, претворенного в свет, тень и блики на поверхности записанного холста, и дело здесь было скорее не в живописных достоинствах портрета, позднее уже он обнаружил в нем некую манерность замысла и технические огрехи, а в силе переживания светового всплеска, глубины всепоглощающей тени, умиротворяющего мерцания бликов...

Потом все прошло, он овладел собой, мир стал несколько иным, и надо было жить уже в этом новом мире. Он встал и прошелся, и когда свет из окна ударил ему в лицо, он остановился.

Остановился и сказал что-то о портрете.

Когда зазвенел звонок, он направился в прихожую отпирать дверь Юле, повесил ее пальто на вешалку между газовой плитой и дверью и увидел, что она направилась в маленькую комнату, а Мельников поднялся из-за стола и пошел ей навстречу.

- А ты куда? - спросила Юля у Блюма.

- Да вот хочу убрать твой портрет, - сказал он.

- Ну, а ты как поживаешь? - спросила она у Мельникова, чуть нахмурившись.

- Плохо, долги, - сказал он, засмеялся, а потом обратился к Блюму и предложил пойти куда-нибудь пообедать.

Блюм улыбнулся, пожал плечами и отошел к столу.

- Может быть, ты сваришь кофе? - Предложил Мельников.

- Ты ведь варишь его лучше, чем я...

Но Блюм не желал варить кофе. Тогда Мельников пошел в

маленькую Комнату, где Юля уселась на диван, сел рядом, закурил и спросил, смеясь:

- Скоро выпадет снег, я уеду в пансионат, буду гонять на лыжах. Ты приедешь ко мне.

- Зимний спорт не для меня, - сказала Юля. - К тому мне необходим хотя бы минимум удобств.

- Приезжай, там будет хорошо, - сказал Мельников.

- Да, - ответила она, - могу себе представить. Давайте лучше и впрямь куда-нибудь сходим...

Позднее они отправились пообедать, Мельников недавно получил гонорар за оформление детской книжки, и ему хотелось отметить это событие.

Ночью, когда Блюм и Мельников вернулись в мастерскую, Мельников сказал:

- Видишь ли, все дело в том, что ты всегда должен знать, чего ты хочешь...

Блюм засмеялся, - пожалуй, он выпил больше, чем следовало.

- Чего я хочу? - повторил он. - Да ведь есть просто удивительные вещи... Вот этот портрет, например. Вы просите модель встать у стены, смотрите на нее, и она стоит у стены или сидит в кресле и болтает, а вы стоите у мольберта, ну, скажем, несколько сеансов, а у меня потом перехватывает горло...

- Модель, - повторил Мельников, и Блюм услышал его смешок.

Блюм отошел от стены, сел в кресло, и тут в дверь позвонили.

В двери стояли две женщины. Одна из них, казалось, была навеселе. А другая сказала Мельникову:

- Пустил бы нас переночевать, друзья твои - ну просто скоты.

Мельников промолчал. Тогда та, что была навеселе, обращаясь к Блюму, спросила:

- А ты что тут делаешь?

- Уйдите, - сказал Мельников, - ко мне друг приехал...

Он закрыл дверь, но было слышно, как пьяная засмеялась, из-за двери донесся ее смех, а Мельников вернулся в комнату.

Через пару дней Блюм улетел в Тбилиси и никогда больше не бывал в этой мастерской.

Весной Юля написала ему, что перестала ходить в мастерскую, а в начале осени Блюм получил письмо от товарища, который когда-то познакомил его с Мельниковым. Тот писал, что Мельников умер летом, в две недели, от рака желудка.

VIII

В середине ноября у Блюма выкроились две свободные недели, и он решил поехать на море, в Сухуми, в тот год осень была сухой и солнечной. Он провел несколько пустых, светлых дней в городе и на пляже, обосновавшись в пустой квартире, предоставленной ему знакомыми, те уехали в круиз на пароходе. Однажды ночью он проснулся, заказал разговор с Ленинградом и пригласил Юлю приехать:

- Ты ведь никогда не была на Черном море, не так ли? - сказал он.

На море все было иначе. Ночью, просыпаясь, он слышал шум волн на пустой набережной, видел в окне пустой причал под желтым фонарем, уходивший вглубь шумящей темноты, густую тьму у опор причала и пустую чистую площадь с дежурными лампочками магазинов.

Утром он одергивал одноцветные полотна штор и распахивал окно. В комнату врывалась осенняя равномерная прохлада, звуки пробуждающегося города и оранжевый свет солнца, поднимающегося из-за гор. На набережной почти никого не было, у причала швартовалось небольшое тупорылое суденышко, и матрос с борта что-то кричал человеку, стоявшему у кнехта, или, иначе говоря, причальной тумбы.

Наутро он пересек площадь перед причалом, где уже открывались магазины и возле луж прохаживались голуби, и по набережной отправился в кафе. Там он позавтракал, не спеша выпил кофе из белой чашки и долго рассматривал листья и тени деревьев в лужах, стоящие полукругом столики, кабинеты в дальнем углу кафе и людей.

С утра здесь засиживались преимущественно пожилые люди. Блюм глядел на палки меж их колен, шляпы на стульях, ноги в парусиновых туфлях, мундштуки в зубах, покрытые темным загаром руки, морщинистую кожу лиц и прислушивался к их разноязыкой речи.

У стойки старик попросил «саде», эта разновидность кофе варилась без сахара, и щипчики извлекли из жестяной коробки кусочки колотого сахара. Тут Блюм вспомнил о неизбежной смене декораций: в юности пьют сладкий кофе, с годами количество сахара в кофе все уменьшается, ну, а в старости дело, наконец, доходит до «саде».

Было прохладно, и он решил выпить рюмку коньяка. Человек за стойкой, поймав его взгляд, кивнул и потянулся за бутылкой, а рабочий провез через двор тележку с брусками льда. Один брусок соскользнул с тележки и разбился, разговоры в кафе

на мгновение смолкли, а затем продолжились, время шло.

IX

Утром следующего дня он поехал в аэропорт. Назначенным рейсом Юля не прилетела, но Блюм решил ждать. Сначала он слонялся по аэропорту, разглядывал белые туши самолетов, потом уселся в тени, на выгоревшей за лето траве. Потом белое тело самолета понеслось к посадочной полосе, коснулось колесами бетона, вздрогнуло и покатилося, сворачивая по пути с одной бетонной полосы на другую.

Блюм поднялся, отбросил изжеванную травинку и медленно пошел к барьеру. Юля прилетела дополнительным рейсом, она, разумеется, что-то перепутала.

- Ты обиделся? - спросила она. - Извини, я что-то, конечно, перепутала... Но ты тоже хорош, стоял и смотрел, как я иду по полю с этой сумкой, и даже не поспешил мне навстречу... Мне не надо было приезжать? Ты не хочешь со мной разговаривать?

На пути в город Блюм попросил водителя остановить такси у пляжа, расплатился и сказал:

- В город поедem катером...

Небольшой причал был пуст, пляж лежал вокруг почти пустой, только светлые тенты раздувал легкий ветерок, на аэрации несколько человек играли в карты, буфетчик сидел в тени под навесом сооруженного на песке ларька, время приближалось к полудню.

Блюм указал рукой на город, лежавший на другой стороне залива:

- Посмотри, вот город, он весь перед тобой...

Они шли по песку через пляж, и, проходя мимо фонтанчика, Блюм остановился, выпил воды, разбил рукой невысокую струю, и крупные капли, упав, застыли на песке темными пятнами, а потом сказал Юле:

- Я иногда приезжаю сюда на несколько дней... На пляже всегда хорошо, когда мало приезжих, разве что кто-нибудь из местных играет в карты. Их здесь не тревожат.

И он показал на аэрарий.

Море спокойно лежало там, где кончались песок и полоса влажной гальки, изредка вздрагивая, готовое как будто вздохнуть... Выйдя на деревянный помост причала, они увидели катер, ушедший минут пять назад, который был уже на пути к городу.

- У нас есть время, - сказал Блюм, - катер будет нескорo. Давай все-таки поедem морем, а?

- Хорошо, - сказала Юля.

Выглянуло солнце, сразу стало жарко, и они вернулись с причала на пляж.

Блюм отыскал лежак и оттащил его в тень под выцветшим белым зонтом, туда, где кончался песок и начиналась галька. Потом он скинул пиджак и направился к ларьку. Вскоре он вернулся в тень с бутылкой вина и двумя стаканами, которые поставил на песок.

- Вот, хорошее вино, - сказал он, - давай выпьем... за твой приезд... Ты ведь мой гость.

- Разве я не твой друг? - спросила она. - У тебя много друзей?

- Нет, - сказал он, - совсем немного.

Между этими репликами он сжался и распрямился, словно желая что-то сказать. Так шло время, они сидели на песке, вина уже осталось немного, а сзади белел азарий. Иногда оттуда доносились голоса играющих, и Юля морщила лоб, пытаясь что-то уловить в незнакомой речи.

Солнце поднималось все выше, оно то показывалось, то скрывалось в облаках.

Блюм решил искупаться, и вскоре он уже плыл в колеблющейся тени причала, потом причал вместе со своей тенью остался позади, и его голова казалась белеющим пятном, застывшем в полосе, где зарождалось волнение, но дальше вода была уже совсем холодная, и он повернул назад.

А потом, уже одетый, он стоял на берегу, и там, где одежда прилегалась к телу, на рубаше и брюках были мокрые пятна. Он тряхнул головой, пригладил рукой мокрые волосы и, подойдя к Юле, опустился перед ней на колени. Она засмеялась и, сказав ему, что он похож на собаку, принялась гладить его.

- Может быть ты и права, во мне действительно есть что-то собачье, - сказал он, - во всяком случае, вечерами во время прогулок они иногда привязываются ко мне и идут следом...

- Вот видишь, я была права, - заключила она.

Колени его были в песке, солнце грело спину и голову.

- Как хорошо, что ты приехала, - сказал он.

- Конечно, хорошо, нужно чтобы не только ты приезжал ко мне, но и чтобы я могла вот так, время от времени, вырваться к тебе, да?

Он кивнул и закурил, а потом допил остаток вина, после купания вино казалось чистым глотком тепла и света. Легкий ветер заставлял море шуметь, направляя волны к берегу, было светло и ветрено, когда они шли к причалу, где уже пришвартовался катер.

Мотор застучал, катер вздрогнул и пятясь, начал медленно отходить от причала. Светловолосый парень в тельняшке пнул ногой вытянутые на борт швартовы и исчез в рубке, откуда донесся женский смех и вылетела в воду пустая бутылка из-под пива.

Потом катер медленно развернулся, и огромный пляж, пустой причал и азарии пронеслись по синему, вращающемуся кругу моря, затем он остановился на мгновение, нос его словно нацелился на противоположный берег, и катер медленно поплыл через залив.

Блюму было холодно от ветра и купания в холодной воде.

- Давай перейдем на солнечную сторону, - сказал он, поднял ворот пиджака и закурил сигарету.

- А у нас лежит снег, - сказала она.

- Видишь отроги? - спросил Блюм. - Снег уже довольно близко, но до этих мест он не дойдет, иногда добирается лишь до ближних холмов, и все...

Он обнял ее за плечи и поцеловал.

- Значит, у вас лежит снег, - повторил он, - далеко в России.

Но обсуждать тему «Почвы и судьбы» ему не хотелось, он уже достаточно устал от этих разговоров в Ленинграде,

- Земля, почва, болото, - как-то в сердцах сказал он.

На середине пути они проплыли мимо шестов, торчащих из воды, оттуда же поднимались шлейфы сетей, потом волна от катера затеребила шлейфы, и чайка, усевшаяся на шест, замахала крыльями. Блюм поцеловал Юлю снова и сказал:

- До чего же я рад тебя видеть...

X

На большом причале, широком и асфальтированном, в воздухе стоял свист от раскручиваемых снастей. Снасть раскручивали, выпускали, и она летела в море, сверкая блесной и крючками, а потом ее сразу же тянули обратно, и если была рыба, «змея», длинная и узкая, ее бросали на горячий асфальт, где она подпрыгивала и извивалась. Потом снасть опять раскручивали, и она снова со свистом летела в море, рыболовы то склонялись вперед, то откидывались назад, рыба подпрыгивала и стихала на теплом асфальте. Стоял прекрасный день, дул свежий ветер, а солнце висело высоко над движущимися фигурами и над причалом.

- Видишь, - сказал он, - как хорошо, когда много солнца, на свету жизнь становится совсем другой...

XI

Но что я могу рассказать об ужине? Об ужине, как он представлялся Блюму в тот вечер, или после встречи с Арзуманяном, а, может быть, о более позднем устойчиво сложившемся ощущении.

Ясно одно, к ужину он заказал среди прочего рыбу и красное вино, терпкое и с осадком, оно бывало только в ту пору, когда синие деревья росли из теней, а краснеющее, опухшее солнце в окружении, или, вернее, в сопровождении фиолетовых тучек клонилось к морю. Видели ли они море, когда ужинали на веранде ресторана при гостинице? Море было вдали, за полосой деревьев, они, пожалуй, не то чтобы видели его, а оно иногда, скорей, возникало на веранде, когда разговор умолкал, или вилка скользила по обглоданной кости, или после глотка вина, когда фужер с недопитой каймой оставался на скатерти. Оно появлялось и присутствовало не запахом и не ветром, и не как пространство, но, прежде всего, выделялось глубиной цвета, его молчанием, его осознающим себя присутствием, хотя они и знали, что и сами они не совсем здесь и появляются лишь тогда, когда этот цвет, его глубина вдруг вновь осязает себя в своих правах и ничем не прерываемом бытии.

Во всяком случае, он любил ее в ту пору, или думал, что любил, и все, в том числе и ощущение реальности, представлялось ему волнообразным процессом.

XII

Медленно отходивший от причала пароход загудел, и вверх мимо освещенных вечерними лучами труб и надстроек поползла струйка дыма. Отойдя на середину гавани, пароход начал разворачиваться, и вечерний свет белыми тенями стал отлетать от белых бортов и надстроек. Это напоминало Блюму тот холодный, ветренный и светлый день в Тбилиси, когда ему пришлось письмо с сообщением о смерти Мельникова.

Блюм поднимался домой по дороге, поднимавшейся в гору. Перед домом была площадка, и на ней росло единственное во дворе дерево - миндаль. Ранней весной оно обычно начинало цвести первым в городе, теперь уже начало оголяться к зиме. Блюм поднялся на третий этаж по деревянной, выкрашенной синей краской лестнице, прошел деревянной галереей, поглядел на лежащий внизу, в туманной прохладной дымке город с его черепичными крышами и каменистыми улицами с голыми деревьями.

Перед дверью лежало письмо в белом конверте, Блюм

поднял его, толкнул незапертую дверь и вошел в комнату. Свет проникал в комнату сквозь пару окон на галерею, и в дальних углах ее было темновато.

Большое пустое зеркало, кровать с никелированной спинкой, стоявшая у стены, узкий платяной шкаф в углу, письменный стол у одного из окон на галерею и кресло у другого, составляли ее обстановку. В середине комнаты стоял небольшой обеденный стол. Под кроватью лежали чемодан и пара пустых картонных ящиков, в которые Блюм укладывал книги, когда переезжал с квартиры на квартиру.

Эта квартира ему нравилась, поскольку соседи им не интересовались, а хозяйка разъезжала по стране в качестве администратора какого-то музыкального ансамбля и никогда не была против его многочисленных гостей. Кухня, где он изредка готовил, была большой и просторной, и хотя зимой в ней было холодно, Блюма выручал электрокамин.

Вообще здесь было просто и спокойно, особенно весной, когда в легкой прозрачной дымке город казался отлично выписанной театральной декорацией, обретающей иное, реальное существование по мере того как Блюм спускался с горы.

Узнав из письма, что Мельников умер, Блюм налил в стакан вина из начатой бутылки, стоявшей на столе, и задумался; вновь его посетило томительное ощущение чужой, непонятой им жизни, куда он вторгался, когда посещал мастерскую, и куда все дальше и невозвратней уходила от него Юля. В конце концов, все это нельзя было преодолеть, связав пространство самолетными нитями, и это живое ощущение обреченности и бессмысленности того, что с ним происходило, соединилось вдруг с известием о смерти Мельникова.

Потом он выпил вино, вышел на галерею и закурил. Снизу, по пустой улице, к небольшой площади, куда выходила галерея, медленно поднималась машина, собирающая мусор, который сносили хозяйки из окрестных дворов. Машина остановилась, и из нее выскочил человек в кожаной куртке, который поднес к губам рожок, и трубный, хрипящий звук разнесся по округе. Из дворов к машине потянулись женщины в разноцветных халатах, неся мусор в тазах, ведрах и картонных ящиках.

Человек с рожком влез в кузов и принялся уминать мусор вилами, попутно сортируя его. Закончив, он соскочил на булыжник, поднес трубку ко рту, вновь издал теперь уже короткий сигнал, после чего сел в кабину, и машина с мусором медленно поехала вниз.

ХIII

- Вот я и здесь, - сказала Юля. - Ты ведь хотел этого?

- Да, всегда, когда я здесь, я этого хочу, - сказал Блюм и оглянулся; в зале ресторана уже зажгли свет, постепенно набиралась публика, оркестранты настраивали инструменты, кто-то бормотал в микрофон - раз-два-три, раз-два-три...

- Ты никогда мне этого не говорил, - сказала она.

Он помолчал, а потом признался,

- Иногда мне казалось, что ты вот-вот приедешь, или должна приехать...

- Но ты же никогда меня не звал, - повторила Юля, и тут Блюм подумал: «Боже, неужели все снова начинается». Но она тихо засмеялась и предложила: - Давай выпьем еще, здесь все так вкусно...

- Я закажу еще рыбы, - сказал он, - это замечательно, жареная рыба с гранатами.

- И вино, - сказала Юля, - вино тоже.

Она рассказала, что в последний раз была в мастерской у Мельникова весной.

- Знаешь, мне нравилось сидеть в том кресле у окна и листать журналы, - сказала она. - Мельников доставал вино, стаканы, и мы с ним выпивали понемногу...

Вот и тогда она сказала Мельникову:

- Зима давно прошла, чем же ты меня угощаешь? А? - Она выпила немного сладкого вина и спросила: - Почему ты не пьешь коньяк? Пить коньяк - это чудесно, особенно если делать это каждый день, ведь его можно пить молча, в остальных случаях приходится разговаривать. А просто пить - замечательно. Ты что, не пьешь вино? - спросила она, глядя на стакан с вином в его руке.

Мельников подошел к столу, посмотрел на нее и отпил вина.

- Я работаю, - сказал он, - мужчина должен работать, разве ты этого не знаешь?

Она не ответила, и тогда он спросил:

- А вот ты скажи-ка мне лучше, много у тебя знакомых мужчин?

- Да, я, пожалуй, нравлюсь многим, - сказала она, - мужчины любят говорить со мной о своей жизни, и ты любишь говорить со мной, и еще ты пишешь мой портрет в третий уже раз, хотя он совсем не нужен мне... Ты не обижайся, просто ты не всегда меня понимаешь...

Мельников допил вино, поставил стакан на стол, вернулся к мольберту, посмотрел на нее и спросил:

- Ну а Блюм? Он тебе пишет?

- Да, и часто. Он много рассказывает о своей жизни там, - сказала она, - но я совершенно не представляю, как он там живет...

- Давай как-нибудь поедem туда вместе, - предложил Мельников.

Но Мельников так никогда и не приехал в Грузию.

«Скорее всего, - размышлял Блюм, - его удерживали обстоятельства, безденежье, семья и какая-то внутренняя неуверенность в том, что поездка эта что-нибудь ему принесет».

- Мельников хотел как-то выскочить из того, что его окружало, он хотел изменить свою жизнь, наверное, но причем здесь была я? - сказала Юля и добавила: - Хотя его очень жаль, он, наверное, меня любил... Я сказала ему, что он так и не окончит этот портрет, и чтобы он вообще не обращал на меня внимания, я взяла журнал, там мне попалоcь фото очень красивой женщины, красивые женщины так редки, они гораздо интересней красивых мужчин...

Однажды Мельников сказал мне, что когда он был моложе, он часто писал по ночам, что ему многое удавалось именно в это время суток. Наверное, он больше верил себе ночью... Еще он хотел написать свой автопортрет на красном, почти багровом фоне ... А потом наступили белые ночи, началась сессия, и я больше туда не заходила, да мне и не хотелось туда идти, ты ведь знаешь, как это бывает, в один день вдруг что-то меняется, и тут уж ничего не поделаешь...

XIV

Потом было несколько чудесных дней, солнечных и тихих.

День начинался с того, что одноцветные полотна штор в квартире, где они жили, слегка волновались от порывов налетающего с моря ветра.

По утрам они пили кофе и гуляли по городу, основанному когда-то давно, еще в античные времена. Часть города лежала на дне бухты, и Блюм показывал Юле кривые живописные улицы той его части, что лепились к горе, а потом они спускались на набережную и шли в гости к приятелям Блюма или в ресторан, где, заказав ужин, принимались разглядывать приплывающие в порт и уходящие из порта пароходы.

Однажды им захотелось есть ночью, и поскольку в квартире ничего не было, Блюм пошел по ночному городу в пекарню, где купил горячий и плоский, белый грузинский хлеб.

Поначалу казалось, что погода никогда не изменится, но приближающаяся зима все же победила, начались затяжные дожди,

и стало ясно, что пора уезжать, да и вообще свободное время заканчивалось.

В агентстве Аэрофлота было пусто, казалось никто никуда не собирается лететь, кассирши скучали, судачили, и, выкупив заказанные билеты, Юля и Блюм направились пить кофе.

В кофейне на причале тоже было тихо, лишь стеклянная посуда, оставленная официанткой для просушки на одном из столиков, словно звенела на свету, а рядом холодно блестели мытые ножи и вилки. Круглые металлические каркасы для навесов лежали на бетонных, мокрых от дождя плитах. На них еще должны были натянуть новые, под стать недавно законченному ремонту полотна, а сам причал уходил в темное от прошедшего ночью дождя море, и на последней плите, у проржавевшего каркаса толклись чайки, которые жадно поедали хлебные крошки.

Женщина в белом переднике подошла к перилам и вылила в море мутную и грязную жидкость с подноса, она придерживала его одной рукой, уперев другой его край себе в бок.

- Она гречанка, ее зовут Деспина, - сказал Блюм.

- Ты лучше погадай мне на кофе, - сказала Юля.

Тогда Блюм попросил ее перевернуть чашку левой рукой от себя и спросил:

- А о чем же ты хочешь узнать? Что было, что есть, что будет?

Чайки с шумом поднялись и уселись на спинки пустующих стульев, и Юля оглянулась, а потом произнесла:

- Я хочу знать, что будет...

Выглянуло солнце. Становилось очень светло, и Блюм ответил:

- Нельзя гадать человеку, которого ты хорошо знаешь.

- Значит, и от тебя я ничего не узнаю, - сказала она, но это, казалось, не огорчило ее.

Холодные чайки толклись в конце причала, то и дело взлетая и усаживаясь на голые каркасы и перила, Деспина вышла из кухни, что-то бормоча и выбросила хлебные крошки из подола на плиту поблизости от столика, где сидели Юля и Блюм, подождала, пока чайки не слетелись на хлеб, и ушла.

Блюм допил коньяк и поставил рюмку на стол, птичий гам мешал ему говорить, он посмотрел на Юлю, она ему улыбнулась. Вскоре подул ветер, и они поспешили допить кофе, быстро расплатились и ушли.

По дороге домой было холодно, он отдал ей свою куртку, а когда они поворачивали к дому, Блюм увидел вереницу лодок, связанных цепями, в передней сидел мужчина в сером свитере и

греб, он перегонял лодки от одного причала к другому по морю, снова темневшему под ветром...

XV

Под утро они долго курили, и Блюм сказал, что хотел бы, чтобы она приехала к нему в Тбилиси.

- Тогда мы обязательно пойдем в тот монастырь, - сказал он.

А в сыром плоском пространстве за рамой окна первые пятна света тронули строения на причале, окутанные влагой и сыростью прошедшей ночи, серые бетонные плиты причала, его опоры в тине и ракушках мидий, ступени лестниц, вылизанных волнами, и изгибы бортов маленького тупорылого суденышка, черного пятна на ослепительной полосе единения моря и воздуха в пустоте и покое утреннего часа.

На следующий день Блюм улетел в Тбилиси и через пару дней его снова навестил Арзуманян.

Свет как всегда врывается в аудиторию сквозь окно на третьем этаже, а внизу на площади, на углу, где все время заворачивали автомобили, сидели на обочине тротуара курдянки в желто-красных плисовых юбках. Они поругивались как и прежде, потом вскочили, готовые наброситься друг на друга, но пришел старик с метлой и, хрипло вопя что-то по-курдски, разогнал их и принялся медленно подметать улицу, не глядя на проезжающие автомобили.

Пыль поднималась на желтой улице от взмахов метлы, и Блюм подумал, что здесь, пожалуй, ничего не изменилось. За спиной его скрипнула дверь, и в пустой аудитории появился Арзуманян.

Блюм отошел от окна и снова посмотрел на человечка у доски, осыпанного мелом, хотя доска была совершенно чистой, кто-то вытер ее после окончания семинара. Арзуманян мял сигарету, уже наполовину потерявшую табак.

- Так это снова вы, Арзуманян, вместе со своей чудесной идеей, но почему вы приходите именно ко мне и всегда в эту аудиторию? - спросил Блюм.

В это мгновение он вспомнил, как рассказывал на пляже о собаках, что брели за ним целый вечер, пока он кружил по Серебряной, Авлевской и другим улочкам Майдана.

Потом у него появилась и тут же исчезла мысль о том, что Арзуманян - это просто знак того, что его преследует, но он не придал этому значения.

- Вы знаете, что здесь я люблю курдскими женщинами? - спросил он и дождался ответа. Но Арзуманян молчал. - Вы

знаете это? - продолжил он.

И Блум посмотрел на длинную черную доску, которая подсыхала и снова оказалась мутно-белой, измаранной мелом, а Арзуманян тем временем хихикнул и исчез.

Между тем вдали за окном возвышались горы, и у подножья ближней виднелся лес, и по дороге к лесу шли мужчина и мальчик; мужчина вел его за руку, и вскоре они вошли в тень, под деревья, и лес поглотил их, и они исчезли.



Евгений Брейдо Тихий Институт



Игорь проснулся. Взглянул на часы – пол-одиннадцатого. В Институт нужно к двум. Нехотя встал, поплелся умываться. Можно бы еще посидеть над статьей, хотя знал, что вряд ли успеет – сладкая лень академической жизни уже захватила его. Игорь и злился на эту лень, и гордился ею – она мешала сделать то, что мог бы, во всяком случае, вовремя, но в то же время была привилегией – не ездить на работу к восьми утра, не сидеть по восемь часов за столом в душной комнате, не слышать начальственного хамства. Академическая лень была свободой – за то и ценилась. И давалась отнюдь не даром – если без блата или невероятной удачи, годы уходили на то, чтобы почувствовать ее восхитительный кайф.

Игорь занимался лингвистикой и филологией, честно служа обеим прекрасным дамам, что уже само по себе почти подвиг. Немногие посвященные знают, насколько обе требовательны, ревнивы и обидчивы. Он был сотрудником небольшого гуманитарного института – светлая мечта московского интеллигента советской поры, вполне себя изжившая к концу бурных 80-х. Престиж ученого к этому времени куда-то делся вместе с обеспеченной жизнью, и в академических институтах остались те, кто все равно не мог без Науки, или те, кто ничего не умел и не хотел менять, надеясь на русское авось. Иногда то и другое удачно сочеталось в одном человеке.

Игорь вышел на пронзительную трель звонка – в прихожую влетела маленькая рыжеволосая красавица с зелеными глазищами, распространяя вокруг морозный дух и запах дорогих французских духов. Чмокнула Игоря в щеку, сбросила сапожки и побежала дальше, не снимая шубы и ни на секунду не замолкая.

– Я купила тебе газеты, посмотри. Там – "Сегодня", "Коммерсантъ", "Московские новости", что-то еще, кажется, – голос доносился уже из спальни. Следом оттуда же раздался грохот – войдя, Игорь увидел сиротливо лежащий на полу телефон, снесенный запнувшейся за шнур ногой. Но, удержав равновесие и не удостоив телефон вниманием, красавица целеустремленно бросилась к книжному стеллажу, одновременно вытаскивая с

верхней полки какую-то книжку и освобождаясь от пушистой шапки с двумя большими помпонами в качестве завязок.

– Работает?

– Работает, Аннушка, не волнуйся, – Игорь, улыбаясь, с нежностью смотрел на жену. – Что ты там ищешь?

– Да вот, говорила с соседкой и не смогла точно вспомнить окуджавское пророчество.

– Вселенский опыт говорит, – Игорь понимал жену с полуслова, –

Что погибают царства
Не оттого, что тяжек быт
Или страшны мытарства,
А погибают оттого –

Аня отошла от полки и, бросив шубу на диван, прижалась к мужу – Милый, какой же ты родной и замечательный! –

И тем страшней, чем дольше,
Что люди царства своего
Не уважают больше.

Игорь задумался. В стране, не выходящей из утопии, ценились вещи сугубо материальные. В бесконечных спорах о причинах гибели царства эта, очевидная, даже и не называлась. Люди, знающие толк в поэзии и философии, говорили все больше о ценах на нефть и газ, военно-промышленном комплексе и экономической разрухе.

Потом они с удовольствием завтракали. Аннушка-жаворонок обычно вскакивала пораньше и убегала куда-нибудь – в магазин или просто за сигаретами, и Игорь, каждый раз просыпаясь, удивлялся, не обнаружив ее рядом. Сам он работал, в основном, вечером и ночью и, соответственно, поздно вставал. Но к завтраку, если только не надо было убегать на работу, Аня старалась вернуться. Это был их любимый ритуал – неторопливый кухонный завтрак.

Говорили о чем угодно – о разнообразном искусстве, психологии, политике – только не о быте. Так они оба были устроены.

Сейчас разговор с Окуджавы перекинулся на Чечню. Время демократических иллюзий стремительно проходило. Но все еще невозможно было представить, что Ельцин пойдет на поводу у разных темных людишек из ближнего круга и начнет воевать с горцами. Однако как-то же все эти пашки-мерседесы,

плоскомордые генералы, крупнозадые хозяйственники обосновались вокруг него. Опять же, челядь из бывшей «гебухи». Никто же их не выбирал, вроде даже и не назначал, они вдруг сами пришли.

– Вернее, никуда и не уходили, – тоскливо заметил Игорь. – Они всегда тут были, под рукой, как мебель в их привычных кабинетах. Не в одних, так в других. Он и получил их в наследство вместе с кабинетами. Кого-то вытряхнул, посадил своих, другие остались и начали прислуживать новому царю. Дело-то знакомое – лизать задницу, воровать и доказывать преданность государю, вываляв в дерьме соседа-конкурента. Всю жизнь только это и делают.

– По-моему, Игоречек, застрелить им еще легче. Трудиться не нужно, мозгами раскидывать. Раньше боялись, а сейчас некого, раздолье, – согласилась Аня.

– Ну, мозгами-то им раскидывать ни к чему, да и как, если у человека две задницы – и та, что сверху, практически не отличается от той, что снизу – ни изнутри, ни снаружи. Хотя, может, биологически это и труднодостижимо.

– Наймут журналюг, это у них, Анечка, называется пиар. Черный, белый, а выходит все равно красный. Кстати, там немало уже трудится наших знакомых – усмехнулся Игорь. – Я недавно встретил Леню П. Подвизается. Ну, Ленька хоть не скрывает.

– Господи, – всплеснула руками Аня. – Мы с ним в одной группе учились. Ленька сволочью никогда не был."

– А он и не сволочь, – вздохнул Игорь. – Просто деньги нужны. Выживает. Да ему, в принципе, и врать не нужно. Если не хвалить, про их клиентов неправду сказать трудно. Впрочем, ты права, пристрелить у них еще лучше выходит. Тут ребята себе ни в чем не отказывают. Убийцы у нас, говорят, еще дешевле журналистов. Профессионалов много, даже при нашем спросе работы на всех не хватает.

– Вот начнут воевать в Чечне, как раз на всех и хватит, – вздохнула Аня.

– Типун тебе на язык!

– Ну, скажи, пожалуйста, чем Шаймиев отличается от Дудаева? Почему с Казанью они договариваются, а в Грозный посылают войска?

– Да, в принципе, ничем, просто Шаймиев – часть этой системы, у него там все схвачено навсегда, он с рождения знает, с кем договаривать и о чем, кому откатить и как самому хапнуть. А Дудаев – чужак, да еще упрямый и высокомерный. К тому же Татарстан – в центре России, а Чечня – на окраине, и там нефть,

хоть и совсем мало при нашем размахе. А что Российская империя 65 лет завоевывала Кавказ, начала с Чечни и ею же закончила, они просто не знают и узнавать не хотят. И это с победившей Наполеона армией! У них вон – есть генерал «Пашка-Мерседес» – храбрэц, абрэк, Хаджи-Мурат! Грозный грозился взять в 24 часа с одним батальоном. Ему бы и собрать этот батальон из министерских генералов, там на полк хватит, еще и конкурс устроят, чтоб не попасть, взять в помощь роту «гебешных» полковников – и на Грозный. Их хоть не жалко.

– Милый, тебе не пора в институт? – вернул Игоря к реальности голос жены.

– Да, да, я возьму с собой в метро газеты, ладно?

– Оставь мне "Сегодня", хорошо? Я начала читать и посмотрю еще, у меня пока перерыв между уроками.

Аня была владелицей маленькой частной школы и преподавала там психологию.

Оказалось, что в нежном возрасте – с 6-ти до 9-ти – ребенку можно рассказать раз в 10 больше того, что обычно рассказывают, причем безо всякого для детей излишнего напряжения. Правда, при условии, что учит их не, навсегда от всего уставшая, Марья Иванна, после начального отделения педагогического, а увлеченные своим делом дяди и тети, к тому же любящие детей – и своих, и чужих. Такие дяди и тети в ту пору часто находились в академических институтах, государственных театрах, симфонических оркестрах, да где угодно, только не в советской школе.

Игорь положил "Сегодня" на столик в прихожей, продолжая запикивать в сумку объемистую рукопись диссертации – после отдела должен быть разговор с шефом, к вечеру подойдет заказчик, потом – обсудить статью с Аликом Гронским, и, наконец, немного расслабиться – выпить чаю в соседнем отделе с Ольгой и Алиной. Всё как всегда – обычный «присутственный» день.

Заказчик был «новый русский», издатель и автор-графоман, попросивший Игоря за немалые деньги составить частотный и семантический словари своих произведений. "Господи, зачем?", – недоумевал Игорь, но заказ взял с радостью. Когда зарплату не платят месяцами, а расходуетея она за два дня, лишние вопросы в таких случаях не задают.

В вагоне метро было пусто, можно было спокойно почитать газеты, размышляя попеременно о своей работе и о причудливости советской истории – чем, собственно, мы и занимались все эти годы.

Девяностые теперь ушли в прошлое, медленно и нехотя. За 10 лет революции все страшно устало, кроме неутомимых борцов за деньги и власть. А сколько было демонстраций, многотысячных митингов в Лужниках и совершенно бескорыстного энтузиазма.

Начиналось с комсомольской бездарности и народного неодобрения, нестреляющих танков в августе 91-го, закончилось бравой чекистской спецоперацией со взрывами домов в сентябре 99-го. Между этими событиями как-то вдруг сменилась эпоха.

Мучительно хотелось страны, где можно «жить со всеми сообща и заодно с правопорядком», и тогда, в августе, померещилось, что это возможно. Но к Новому году уже как-то стало ясно, что снова ошиблись. Из Кремля потянуло легким матерком, тут же откликнулась блатная скороговорка.

Чуткому уху филолога эти трели говорили больше конституций и заявлений политиков. Вместо очередной утопии образовалась жизнь «по понятиям». Гэбэшников на время сменили бывшие зэки, на места секретарей потянулись инструктора, комсомольский райком рванул в бизнес. А тем, кто жить по их понятиям не хотел и не мог, оставалась вся гамма чувств – от ярости до омерзения. И больше ничего.

Москва была главной сценой этого вполне театрального действия, хотя временами ей неплохо подыгрывали – везде.

Когда государство, выглядевшее крепким и даже моложавым, вдруг оказалось при смерти, неожиданно обнаружилось, что никому нет до него дела. Бывшие «паладины» были по горло заняты дележом наследства, а рядовые граждане разошлись по своим надобностям, в чем трудно их упрекнуть, зная сволочный характер и неблагодарность умирающего. Кто разбирался с прошлым до Карла Маркса (а иные – и до Рюрика включительно), кто старался хапнуть все, до чего мог дотянуться, кто просто изумленно смотрел по сторонам. Ни лечить больного, ни ухаживать за ним, было некому.

Зато смерть оказалась легкой, а голосить, спохватившись, стали, когда уж почти и не помнили, каков был из себя покойник, чуть ли не на десять лет позже.

Игорь вышел из метро, пересек бульвар и вошел в небольшой особняк. Он был построен в стиле русского классицизма и казался забытым осколком московской барской жизни, состоящей из хороших манер, каретных выездов и нескончаемых разговоров. Игорь любил этот дом, ему нравилось

открывать тяжелую деревянную дверь, подниматься по высокой скрипучей лестнице на второй этаж, где всегда кто-то курил, сидя на широком подоконнике, и легкий треп, витавший в воздухе вместе с колечками дыма, время от времени переходил в политические или литературные споры.

Сейчас он спешил и, наскоро кивнув головой куращим, мимо доски приказов прошел в свой отдел – большую комнату, скорее даже залу, на втором этаже рядом с кабинетом директора. Там за столом в высоком резном кресле красного дерева сидел заведующий отделом профессор Петр Григорьевич Васильев – пожилой элегантный джентльмен с аккуратно подстриженной седой бородкой и черными усами. Он носил пенсне в изящной оправе, курил сигареты через мундштук и ходил с легкой тростью по моде начала ушедшего века. Специалист по недавно еще полузапрещенному футуризму, полемист и фрондер, Петр Григорьевич имел устойчивую репутацию либерала.

Только что вбежавшая энергичная толстуха Вера – без пяти минут доктор наук – уже что-то оживленно говорила, Васильев степенно слушал, рядом стояла томная красавица Люся Неверская, сохраняя остатки светской улыбки и внутренне закипая от возмущения, поскольку бесцеремонная Верочка вклинилась в разговор на полуслове.

Игорь, едва войдя и поздоровавшись, целеустремленно бросился к единственному в отделе компьютеру, радуясь про себя, что его никто еще не занял, поскольку по дороге вспомнил, что забыл напечатать часть их, совместной с Гронским, статьи.

Вслед за ним в комнату, немного запыхавшись, вошла примечательная пара – высокий очень худой и несколько изогнутый сверху, наподобие вопросительного знака, мужчина и, чуть выше среднего роста, женщина с прямой осанкой и решительными движениями. Это был знаменитый академик Викентий Илларионович Кутайсов со своей бывшей аспиранткой, а ныне главной и единственной сотрудницей Мариной Владимировной Путинской. Они присели у стола заведующего, ни на секунду не прерывая разговор. Звонкий пионерский голос Марины Владимировны разносился по комнате, Викентий Илларионович же отвечал медленно и очень тихо, с академически преувеличенной вежливостью, слегка заикаясь. При этом он нежно смотрел на ученицу через очки и наклонял голову в знак согласия. Подошли еще несколько аспирантов и сотрудников, Петр Григорьевич посмотрел на часы и оглядел собравшихся. Разговоры смолкли, все как-то устроились вокруг стола.

– Ну что ж, можно начинать, – сказал Петр Григорьевич, взглянув на Викентия Илларионовича. Тот кивнул.

– Мы должны сегодня обсудить статьи, предложенные для сборника, и назначить темы нескольких следующих заседаний. Ну что ж, господа, кто начнет?

Обращение "господа" было непривычным после многолетнего "товарищи", Васильев с удовольствием выделял это слово и сам ему радовался.

Люся и Вера выступали рецензентками, представляя каждая по несколько статей. Вера говорила мягко и доброжелательно, дипломатично обходя острые углы, Люся дотошно разбирала каждую мелочь, хвалила скупно, но в итоге все статьи были приняты.

Когда обсуждение тихо подходило к концу, Петр Григорьевич вдруг спросил:

– Ну-с, а когда будем обсуждать диссертацию Игоря?

В ответ Викентий Илларионович зашевелился на своем стуле, а Марина Владимировна резко подняла голову. Опытным взглядом, оценив это шевеление и чуть усмехнувшись, он, продолжил, как ни в чем не бывало – На следующем заседании или через одно? Пора бы уже.

Викентий Илларионович, найдя на стуле искомую точку опоры и медленно выпрямив спину, ответил скрипучим механическим голосом: – Я думаю, что недоделок еще очень много, но надеюсь, что через одно заседание Игорь Евгеньевич будет готов. Давайте включим этот пункт в повестку дня условно.

Игорь несколько ошалело слушал этот диалог. В его сторону никто даже не повернулся. Между тем, отпечатанная, почти готовая диссертация, лежала у него в сумке.

Игорь подошел к начальству и остановился рядом, ожидая, когда Викентий Илларионович закончит разговор и обратит на него внимание. Через пару минут академик повернулся в его сторону.

– Викентий Илларионович, – Игорь всегда мучительно преодолевал застенчивость в первые минуты разговора с Кутайсовым, вокруг того словно был выстроен невидимый бастион, который каждый раз нужно штурмовать заново. – Мы собирались сегодня еще раз обсудить вторую главу. Ну, и, в общем, работа почти закончена. Конечно, пока это только черновик.

– Да – да, – почти пропел Викентий Илларионович мягким тихим голосом. – Пойдемте в актовъй зал, там будет удобнее, если, конечно, никакого заседания не назначено.

Заседания не было, зал был свободен, они сели в последнем ряду, и Игорь достал объемистую папку.

– Я п-п-прочитал вашу рукопись д-дважды, – сказал Викентий Илларионович, снова обретя свое заикание (оно время от времени пропадало), – и д-дважды н-нич-чего н-не п-понял. Игорь с жаром бросился объяснять, что вторая глава была самой важной, это была его собственная теория. Он пытался решить старую, как мир, задачу – определить на основе формальных критериев, что такое художественный текст, как он порождается и чем отличается от всех прочих. Кажется, это, наконец, удалось. От этой теории легко перекинуть мостик и к самой большой загадке, к тому, как мы мыслим.

В какой-то момент, остановившись на секунду перевести дух, Игорь заметил, что Викентий Илларионович не слушает. Он замолчал.

– А не могли бы Вы защищать диссертацию без этой главы? – внезапно спросил Кутайсов.

– Но почему? – изумился Игорь. – Ведь там же главное, все остальное – только примеры, частности или результаты, я, может быть, непонятно написал, я отредактирую. Давайте я Вам сейчас еще попробую объяснить, послушайте, пожалуйста, это же очевидно...

Тут в актовом зале внезапно появилась Путинская. – Викентий Илларионович, – заворковала она, – Вы помните, что сегодня заседание в Институте Высших Исследований, потом Текстологическая комиссия? Вам обязательно нужно успеть пообедать, Вы не можете к себе так относиться. – И тут же, железным тоном, Игорю: – У Викентия Илларионовича больше нет времени. Перепишите вашу диссертацию без второй главы, иначе она не пройдет.

Игорь только отрицательно помотал головой, ничего не понимая. Он тупо смотрел вслед удаляющейся выгнутой спине Кутайсова, перекошенной (одно плечо выше другого) под тяжестью битком набитого портфеля и не мог выйти из оцепенения. Вчера, когда он звонил, чтобы назначить встречу, академик был, как всегда, вежлив и доброжелателен, даже весел, во всяком случае, ровно ничего не предвещало сегодняшнего приема. Правда, вторая глава была отдана на прочтение с месяц назад и никаких признаков жизни не подавала, но Игорь думал, что шеф занят, руки не доходят, и вот те на! Он относился к Кутайсову с благоговейным восхищением, больше похожим на восторг курсистки, чем на разумный взгляд взрослого мужчины, что сильно мешало видеть реального человека и практические

обстоятельства. Это был первый крупный ученый в его жизни, да и человек совсем иного склада, чем те, что встречались ему раньше, и окружение Кутайсова, привычно воскурившее фимиами своему кумиру, и, прежде всего, конечно, Путинская, на какое-то время увлекли Игоря в свой хоровод. К тому же, Кутайсов взял его в аспирантуру, сделал одним из «своих», что преисполняло молодого человека благодарностью. Но и в свою научную хватку Игорь тоже понемногу начинал верить. Его теория не была пустозвонством, набором красивых фраз, что сплошь и рядом встречается в филологии, она работала, он видел это на примерах, многие положения были настолько строгими и формальными, что их можно было моделировать на компьютере, и он это успешно делал. В то, что Кутайсов искренне не понимает, Игорь не верил – слишком настоящим тот был ученым. Так в чем же дело? Ну, ладно, Путинская, дочка академика, привыкшая везде командовать, да и вообще – стерва, но Викентий Илларионович...

От этих мыслей Игоря отвлек Верин голос: – Игорь, ты что, я тебе уже пятый раз повторяю – тебя к телефону.

– А? Извини, пожалуйста, я не слышал, – Игорь виновато смотрел на пухленькую Верочку, а та на него, удивленно не понимая, в чем дело.

– Там Алик Гронский, но голос у него какой-то странный.

Алик звучал по-детски обескураженно:

– Марсовича убили.

– Что??!

– Я с ним должен был встретиться в издательстве. Жду, жду, его нет. Девочки говорят, что сегодня еще не приходил. Тогда я попросил позвонить домой, вдруг там знают, куда он делся. Никто не отвечает. Секретарша позвонила соседке, которой иногда оставляли рукописи, если дома никого не было, – такая у них была договоренность, та зашла в квартиру, то ли ключ у нее был, то ли открыто там – не знаю, и нашла его на полу в комнате, в луже крови.

– Алик, слушай, ты сейчас успокойся по возможности и быстренько приезжай сюда, хорошо? Здесь всё обсудим.

– Да-да, именно это я и хочу сделать. Только я прежде заеду к нему на квартиру, заберу рукописи – меня секретарша попросила, она мертвецов боится. Это быстро, у них тут машина.

Игорь положил трубку и во второй раз за полчаса попытался прийти в себя. Господи, а ведь день начинался так безмятежно и расслабленно!

– Марсовича убили, – через минуту сказал он в пространство, ни к кому не обращаясь.

Люся с Верой молча смотрели на Игоря. Вера вдруг выскочила куда-то из комнаты, Люся медленно опустилась на стул.

Петр Григорьевич смотрел прямо перед собой, кажется, ничего не видя.

– Его нашли дома в луже крови, – сказал Игорь, как только всеобщее оцепенение стало понемногу проходить. – Сейчас приедет Алик Гронский и расскажет, что знает.

– Кто и из-за чего мог убить издателя? – недоумевающе спрашивал Петр Григорьевич, отставив чуть в сторону сигарету с мундштуком и выпуская густую струю дыма.

– Ну, убивают у нас всегда из-за одного и того же, – непонятно отозвалась Люся, понемногу обретая дар речи.

Алик приехал часа через полтора, когда народ стал расходиться. Петр Григорьевич церемонно откланялся и ушел, элегантно поигрывая тростью. Верочка была в соседнем отделе. Люся пересказывала Игорю свое интервью с известным шоуменом, она подрабатывала ведущей в популярной радиопрограмме. Беседа крутилась вокруг Содружества, возникшего на месте бывшего СССР, и расползания кусков империи, номинально еще называвшихся Россией. Шоумен приветствовал первое и очень не одобрял второго, он был состоятельным человеком и смотрел на вещи с государственной точки зрения. Люся смотрела со своей, ее больше интересовали цены на продукты в коммерческих ларьках и учебные программы в частной школе, где училась ее дочка. Несмотря на разницу в жизненных позициях, интервью, видимо, получилось острым и интересным, но Игорь слушал невнимательно, он думал об убийстве.

Они с Аликом оделись и вышли на бульвар немного пройтись и обсудить происходящее. Алик рассказал, что милицейский майор в квартире у Марсовича сразу объявил, что убийство заказное, т.е. типичный "висяк", такие не раскрываются.

– Они, по-моему, и пальцем не шевельнут, – говорил Алик. – Зачем, навару никакого, только лишние хлопоты.

– А должность отправлять, такого у них нет в законе? – риторически спрашивал Игорь.

– Ну, Игорек, советская власть – покойница и то их к этому не могла приохотить, а уж у нее методы были – дай Бог каждому, а теперь что ж, в свободной стране живем, – усмехнулся Алик.

– Понимаешь, Алик, я чувствую, что это где-то здесь, совсем рядом, – Игорь повернулся к другу.

– Ты хочешь сказать... – Алик, не закончив фразы, вопросительно взглянул на Игоря.

– Не знаю, я так чувствую. Смотри сам – мы знаем Марсовича около двух лет, да? Весь его бизнес, все интересы были здесь, мы с тобой это видели, он не вылезал из института. Может быть, конечно, был какой-то старый кавказский след, но как-то маловероятно. Он же был весь как на ладони, ни от кого не прятался, каждая собака его знала, если бы там что-то было, они бы давно его нашли – Игорь скатал снежок и оглядывался в поисках достойной цели.

– Ты хочешь сказать, что это кто-то из института, что мы с ним знакомы, раскланиваемся при встрече? Да ты что, я такого и представить не могу. У нас тихий интеллигентный институт, здесь способны доводить друг друга до инфаркта на ученых советах, говорить гадости в глаза и за глаза, не пропускать диссертации, но убийство... Нет, это совсем другой стиль. Марсовичу разнесли полголова. Ты представляешь кого-нибудь из наших сотрудников с пистолетом? Или кто-нибудь из этих докторов наук – тайный миллионер, способный оплатить наемного убийцу? Васильев недавно рассказывал, что ему за квартиру платит нечем. Жена – пенсионерка, зарплату нам уже месяца три не платили, как минимум. А он, заметь, зав. отделом, а не простой доктор наук. Да и к чему такие страсти? Зачем? – Алик отрицательно качал головой, наблюдая, как снежок, брошенный привычной рукой, попал в ствол дерева метрах в десяти от места, где они стояли.

Игорь почувствовал, как укололи его слова Алика. Он не мог знать об их разговоре с Кутайсовым, но угадал точно. Почему он никак не может найти общий язык с Викентием Илларионовичем, ведь тот, безусловно, настоящий ученый, а у Игоря хорошая, работающая теория, так отчего он не может ничего объяснить академику? И еще это безумное убийство. Слова Алика звучат вполне разумно, он просто всё всегда запутывает со своей дурацкой сверхчувствительностью.

– Вот именно, нужно ответить на вопрос "зачем", тогда и на остальные вопросы ответ найдется. Кому и как он перешел дорогу?

– Знаешь, когда менты опечатавали его бумаги, из стола выпала плёнка от фотоаппарата, они не заметили, а я подобрал, надо отдать проявить, может, там есть что-нибудь интересное.

– Мы стоим как раз напротив фотолаборатории. Ты видишь отсюда, что там написано? – спросил Игорь.

– Кажется, работают до пяти – Алик напряженно всматривался в вывеску через бульвар. – Надо завтра не забыть зайти.

– Давай поднимемся к девчонкам – предложил Игорь, – а то замерзли уже, попьём чаю и подумаем.

В отделе лексикографии, на третьем этаже, горел свет. Когда они заглянули, Оля что-то сосредоточенно верстала на компьютере, а Алина набирала текст в "Ворде".

– Ага, – Оля радостно всплеснула руками и привычным движением сдула челку, спадавшую на лоб. – Я как раз собиралась поставить чай. – Алина тоже встала из-за компьютера, сладко потянулась и пошла помогать Оле.

Игорь с Аликом разделись и сели за стол, не прерывая разговора.

Девочки были совершенно обескуражены от услышанного. Марсович приходил, вот так же пил чай, делился планами, рассказывал о жизни. Он был из какого-то горного дагестанского аула, отец его был шофером, а мать – учительницей. В Москву попал в 18 лет, поступил в Полиграфический, и больше уже на Кавказ не возвращался. Как он сам говорил, было особенно и незачем. Мать умерла, сестру он пристроил что-то делать здесь, а пока снимал ей квартиру, отец всё больше жил у него, тем более что работы в ауле не было, а у Марсовича время от времени находилась.

Чем он занимался после института, как получил московскую прописку и заработал первые деньги, Марсович рассказывать не любил, а девочки тактично не спрашивали. По исходящему от него духу опасности, соединённой с мягкой, вкрадчивой властью, ясно было, что такой человек вот просто так, за здорово живёшь, пропасть не может. Лет 30-ти, среднего роста, смуглый, стройный и гибкий, со светло-карими желтоватыми глазами, он напоминал небольшого тигра, сытого и вполне миролюбивого, но всегда готового к прыжку. Вдобавок, схватывал все на лету, был смел, азартен и прекрасно чувствовал людей.

Что случилось, что дало сбой в его, казалось, таком отлаженном, хитром и разумно построенном мире, было совершенно невозможно понять. Казалось, он самой природой был обречён на успех. Марсович как-то умел потихоньку со всеми договориться, кого-то обаять, кого-то убедить, и в результате, издавал почти всё, что не выглядело совсем убыточным. Это при том, что учёные к капитализму не привыкли и ох, не все могли похвастать лёгким характером.

Кроме научной литературы, Марсович издавал еще художественную и явно хотел создать большое, стабильное издательство с хорошей репутацией по образцу Сытина или Брокгауза. Бешеных денег, на тогдашний русский манер, издательский бизнес не приносил, но вроде бы обещал гарантированное процветание и безопасность. И вот тебе на!

Конечно, он никогда не стал бы своим в их профессиональной тусовке. Молодые учёные дамы Оля и Алина, окончившие знаменитый «О НеТ»¹, умные, образованные и острые на язык, смотрели на него скорее с этнографическим, чем с человеческим интересом. Чужаку вообще войти в этот круг было чрезвычайно трудно. Здесь мгновенно отмечали разнообразные мелочи, особенности языка, поведения, просто манеру говорить и себя вести. Вердикт выносился обычно с первого взгляда и обжалованию не подлежал. Если он был благоприятным, у человека появлялся шанс, если нет – ему вежливо улыбались, с ним были любезны, но он не был своим. Это была скорее инстинктивная, чем сознательная защита маленького мира гуманитарной мысли от того, что давило, унижало, губило его все советские годы. От невежественного, но партийного, начальства, безграмотной образованщины, своих, млеющих перед властью подлецов, а теперь – вот еще и от новорусского хамства. Если при советской власти хоть с большими потерями, но как-то удавалось сохранять этот круг, и он был спасательным для многих, в новое безвременье круг стал стремительно размываться и исчезать сам собой, а вместе с ним и та восхитительная атмосфера интеллектуальной жизни, без которой мысль чахнет, а новая не рождается.

Марсович не был интеллектуалом, его и интеллигентом в обычном смысле слова назвать было трудно, хотя некоторые художественные способности имелись. Хорошо чувствуя обстановку, он и не стремился стать своим, ему вполне достаточно было места где-то около.

Оля вспомнила, что пару дней назад, проходя мимо отдела кадров, слышала, как Марсович и зав. кадрами кричали друг на друга, но вряд ли этот факт имеет отношение к делу, поскольку их кадровик, бывший «вохровец» и настоящий мерзавец, Пал Палыч, может довести до белого каления кого угодно.

Алик раздумчиво заметил, что наблюдение занятное, вообще-то Марсович прекрасно владел собой и никогда ни на кого

¹ ОНеТ – Отделение Неисправимых Теоретиков Московского государственного Университета.

не кричал. На том и разошлись. Дело шло к вечеру, «присутственный» день заканчивался, и Игорь повел Алика к себе поработать, наконец, над статьёй, что так и не удалось за весь день, а еще ему хотелось поговорить не только об убийстве, так внезапно смешавшем все планы.

Алик, помимо основной профессии, был полиглотом и замечательным переводчиком-синхронистом, что давало ему возможность не только зарабатывать на жизнь, но и, время от времени, видеть мир довольно далеко за пределами Садового кольца. Его охотно нанимали разные молодые фирмы (а других тогда не было), стремящиеся установить с кем-нибудь контакты или просто радостно объявить о своём существовании. Сейчас Алик только вернулся из Нового Света, причём побывал, кроме Соединённых Штатов, еще в Канаде и Мексике. Вот мексиканскими-то впечатлениями он, главным образом, и был переполнен.

Сделав перерыв в работе над статьёй по немецкой лексикографии, они сидели на кухне, пили чай и сладковатое грузинское вино, купленное в маленьком передвижном вагончике, каких тогда стояло множество у каждого метро. Их почему-то называли палатками, хотя ощущение было, что это – скорее боевая тачанка времён Гражданской войны, и из окна-бойницы сейчас высунется не шоколадка или бутылка водки, а воронёное дуло пулемета.

– Понимаете, ребята, – говорил Алик, – пальмы, песок, море до горизонта, такое изумрудное, а дальше – синее. Точно как в сказке. Или на картинке. Из него выйти невозможно. Я такой лёгкости и блаженства, по-моему, вообще никогда не испытывал. Вокруг – коктейли, вкусная еда, всё бесплатно и в неограниченном количестве, вернее, уже заранее включено в стоимость. Можешь жить в бассейне, там – свой бар, подплываешь, заказываешь коктейль и снова отплываешь, пока не захотелось следующего.

Ребята понимали. Аня зачарованно слушала, выпуская тонкие струйки дыма.

– Ну да, подплываешь, заказываешь, – протянул Игорь, – а для кого это всё? Ну, ты, понятно, был «переводчиком при богатом иностранце», а вообще, кем надо быть, чтобы это себе позволить? Это для миллионеров, или простой труженик может вот так запросто взять и отправиться в рай?

– Я думаю, раи разные есть, но простой труженик – точно может. Я разговаривал с людьми, в основном, как раз очень простыми – парикмахеры, полицейские, учителя, мелкие

бизнесмены, – то, что называется средний класс, я бы сказал, очень средний, правда, одно уточнение – американский. Немного европейцев, что понятно – им далеко, да у них, думаю, и свои курорты поближе есть – не хуже.

– А мексиканцы – чужие на этом празднике жизни? Обслуга?» – заинтересовалась Анечка.

– В основном. Хотя есть и отдыхающие из Мехико. Это место называется Юкатан. Полуостров Юкатан. Там жили индейцы-мая. Сохранилось несколько развалин городов, самый знаменитый – Чичен-Ица. В 10-м веке там проживало примерно столько же людей, сколько во Флоренции в 14-м. Улицы, пирамиды – интересно, только очень необычно и достоверных сведений мало.

– Майя? Кнорозов² дешифровал их письменность, да? – припомнил Игорь статью, о которой было столько разговоров когда-то.

– Он её дешифровал, только написанного оказалось очень мало. Тексты собирал в XVI веке один испанский инквизитор, а потом всё уничтожил в порыве служебного рвения.

– Ну да, всё как всегда. Расскажи мне немножко об Америке, Алик. Что ты думаешь?

– Ты хочешь сказать?», – Алик быстро взглянул на друга. Он почувствовал недосказанность фразы и тут же понял, о чём речь.

– Да, мне всё больше кажется, что всё идёт по кругу. Новые начальники воруют – не чета прежним, а убивают, вообще не задумываясь. Говорить разрешают, что угодно – это да. Особенно, если про Сталина и коммунистов. Лишь бы им не мешали здесь и сейчас. А то, что мы делаем, никому не нужно и поэтому ничего не стóит.

– Зато раньше стоило и нужно было, и давали столько, что мало никому не казалось. «Идёт волна, волной волне хребет ломая». Пожалуй, лучше уж так.

– Ты прав, конечно, лучше. Но ведь тогда выбора не было, всех гнали гуртом на одну бойню. А сейчас вроде как есть. Человек ответственен за свой выбор, за близких, за свою жизнь, так?

– Ты это серьёзно? Это решение?», – Алик переводил взгляд с Игоря на Аню.

² Юрий Валентинович Кнорозов (1922-1999) – лингвист и историк, прославился дешифровкой письменности маяя (1952). Основатель советской школы маяянистики.

Аня безмятежно курила.

– Это мысли, Алик. Хотел вот с тобой поговорить, ты много где был, видел разное, тоже, наверное, думал.

– Думал, как же не думать. У меня нет ответа, Игорь. Там другой мир и другие проблемы. Просто другие, не такие, как здесь. И жизнь не легче, пожалуй, труднее даже. Денег больше, но и нервов, а люди как-то спокойнее, доброжелательнее, естественнее, что ли. Я пока не готов все здесь бросить, не знаю, буду ли готов. То, что мы делаем, там тоже никому не нужно, поверь мне. Работу найти очень трудно, да и скучнее там заниматься наукой, как-то обыденнее. Жизнь сытная, но обыкновенная, хотя можно путешествовать. Это доступно. Слушай, а ты не хочешь поговорить с Васильевым о своих проблемах? – неожиданно закончил Алик. – Он человек разумный и мужик хороший, может, как-то поможет договориться с Кутайсовым?

– Неловко. Если бы он сам спросил. Хотя сегодня как-то он затронул эту тему.

– Да, а что сказал?

– Спросил, когда будем обсуждать диссертацию?

– Это не просто так. Кто-то ему рассказывал или он сам что-то чувствует. Васильев «фишку сечёт» отменно. Поговори с ним, Игорь. Мне кажется, вам с Викентием Илларионовичем не разобраться вдвоём».

– Особенно, если Путинская всегда будет стоять между нами».

– А она будет. Она же его главная ученица, и её – дело всегда стоять вокруг Великого Учителя в почётном карауле. Но дело ещё в том, что ты – лингвист, а он – чистый филолог, вы смотрите с разных точек зрения: там, где ты видишь главную задачу и предлагаешь её решение, он вообще не видит ничего интересного, и наоборот».

– Ладно. Попробую, – вздохнул Игорь, – пошли работать.

Работали и разговаривали за полночь, поэтому Алик остался ночевать. Утром Аня убежала в свою школу, а друзья отправились проявлять пленку. Проявили её быстро, благо – работы у ребят в мастерской было немного.

Плётка была посвящена, в основном, поездке Марсовича с Верой, с их Верой, на какой-то европейский курорт. Вера и Марсович, вместе и порознь, на фоне разных памятников, развалин каких-то замков, на улицах красивых городов, купающиеся в море.

Алик присвистнул.

– И ведь как держались! Ну, ладно Марсович, но эмоциональная Верка!

– Да она и сейчас держалась неплохо. Любила – не любила, всё-таки – близкий человек. И ведь ничем, никак не выдала. Или...

– Знала?!

– Брось, Алик. Нельзя делать выводы без достаточной информации. Мы же исследователи, а какая разница, что исследовать?

– Ну да. Напечатанный текст или жизненный. Ты прав, конечно. Так что, пойти задать несколько вопросов этому тексту?

– Подожди. Давай подумаем.

Они вдруг взглянули друг на друга и одновременно фыркнули. Алик держал на отлёте руку «а ля Васильев» с несуществующей шерлок-холмсовской трубкой, а Игорь гордо закручивал несуществующий ус Эркюля Пуаро.

– Так что, мы расследуем убийство, допрашиваем свидетелей, ищем подозреваемых среди своих коллег?

– Алик, а мы не сошли с ума?

– Сошли.

– Чёрт с тобой, давай поговорим с Верой, расширим контекст и постараемся что-нибудь понять.

– Раз мы специалисты по анализу текста, будем этот текст анализировать, хоть он и не написан.

Викентий Илларионович устал. Десять лет назад он мог спокойно заниматься наукой, переводами, и почти ничего не отвлекало его от этих занятий. Правда, была вечная, в кишках сидящая, опаска начальства да эзопов язык, который один и помогал выдавать полуразрешённые исследования за идеологически чистый продукт. Но опаска – не животный страх тридцатых годов, а эзоповым языком он овладел в совершенстве. Ведь, в конце концов, он писал то, что хотел, и коллеги его понимали и здесь, и там. Сейчас он стал знаменитым, и бесконечные заседания, рецензии, редколлегии, круглые столы, учёные советы съедали девяносто процентов времени. На работу оставалось только несколько утренних часов. Множество людей хотели знать его мнение по самым разным поводам, как это принято в России, где о положении в стране спрашивают у писателя-беллетриста, эстрадной звезды, заезжей знаменитости, но никогда – у президента. Впрочем, и правда, кто же задает вопросы царю? Боярам тоже не задашь. А поскольку – времена либеральные и спросить можно, отвечать приходится шуту и

звездочету. Да еще – толмачу, – ввёл Викентий Илларионович третью категорию, – он, скорее, – толмач, чем звездочет. Нельзя сказать, чтобы всё это не тешило его тщеславие. В свои неполные шестьдесят, он достиг полного признания заслуг, академической славы и известности в широких интеллигентских кругах, его научный авторитет был почти непререкаем. Но больше, чем признания, он хотел нового направления, старое казалось исчерпанным, он много думал об этом в последнее время. И, конечно, своей школы. Это единственное, чего он еще не успел создать. Когда его спросили недавно об одном известном поэте, он сказал, что – тот завершитель, а поэзию делают экспроприаторы. Тут же, мысленно усмехнувшись, примерил эту фразу к себе и подумал, не скажут ли то же и о нём. Он, и вправду, блистательно завершил почти вековое направление в своей науке. Если, конечно, что-нибудь можно завершить. Но ему казалось, что завершил. Теперь он хотел другого, оригинального и полностью своего. Диссертация Игоря смущала и отчасти соблазняла. Было ли это новым, не очень понятно; она построена, в основном, на результатах, полученных в другой науке, которой он не знал. Идти туда не хотел, это не его направление, не его методы, и, скорее всего, всё окажется пустышкой, но он чувствовал здесь что-то привлекательное, какую-то возможность. Эта работа одновременно и притягивала, и отталкивала его. Почему-то Игорь не нравится Марине Путинской, а с некоторых пор он не мог принять ничего, что не нравится Марине. Он и сам не отдавал себе в этом отчёта и пока не хотел разбираться. Совершенно непонятно было, что делать с этой диссертацией. Но, может, как раз лучше ничего и не делать? Больше ничего не делать. На статью Игоря запрашивали его отзыв, и он дал отрицательный. Правда, другой рецензент отозвался с восторгом, автор обстоятельно возражал и статью напечатали. У нас демократия, ну, во всяком случае, в науке, и даже мнение академика – всего лишь мнение. Сумеет Игорь сам пробиться при очевидном его неодобрении, значит, что-то в этом есть, и посмотрим, что будет дальше. Сам Викентий Илларионович всегда сможет возглавить направление. А если не пробьётся, значит, и говорить не о чем.

Впрочем, Васильев, кажется, поддерживает. Ну, и ладно. Увидим.

Вере казалось, что она уже немного пришла в себя, по крайней мере, по телефону с ребятами говорила ровно, без эмоций.

Но когда Игорь разложил перед ней на столе фотографии, вдруг разрыдалась и рыдала, отводя душу, по-бабьи, долго, безнадежно и неистово. Его ли жалела, себя ли. – Господи, бедный мальчик! – «буум, бууумм», – равномерно и гулко, как удары метронома, стучало в голове. Весь день она говорила, улыбалась кому-то – заведённая механическая игрушка, но её самой не было ни в разговоре, ни в улыбке. Она вся была в этих ударах: – Бедный, бедный мальчик! – А сейчас, когда увидела их поездку в Италию – впервые, Марсович, как всегда, замотался, забыл и так никогда и не успел проявить пленку – завод кончился, и будто прорвало, ливнем полились слезы.

Он был непохожим на тех людей, что она видела с детства, на коллег и друзей. С ним почти не было общих цитат, стихов, словечек, всех тех паролей, по которым мы узнаём своих. Совсем не был интеллектуалом. Он вообще думал как-то иначе. Зато умел мгновенно принимать решения, на ходу менял планы. Ей было с ним немного страшно и захватывало дух, как на качелях, летящих вниз. Любила ли она его, Вера не знала. Она никогда не говорила этих слов. Но сейчас уже сутки в голове звучали глухие удары: – Бедный, бедный мой мальчик.

Вера была дочкой известного советского писателя и, в силу преуспевания родителей, жила в собственной квартире на «Профсоюзной». Сидели на кухне, пили чай и разговаривали. Ураган слёз кончился, она еще по инерции всхлипывала, но понемногу успокаивалась.

Толку для расследования от Вериных рассказов, похоже, не было никакого. О бизнесе Марсовича она знала только, что он собирался печатать её книжку и не имела ни малейшего представления, кто бы мог желать ему смерти.

Конечно, при эгоцентризме Верочки трудно было ожидать большего, но всё же.

– Верушка, ну подумай, кто были его партнёры, конкуренты, может быть, какой-то старый след кавказский, – допытывался Игорь. – Ну, пойми, пожалуйста, ни милиция и никто другой ничего делать не будут. Нельзя же спокойно жить, когда вдруг ни с того, ни с сего убивают твоих друзей, добрых знакомых и даже не пытаются понять, что происходит.

– Мальчики, вы же его хорошо знали, он был восточный человек, очень закрытый, сдержанный. Почти ничего не рассказывал. Партнёры? Поставщики, типографии... да нет, все, кого я видела, обыкновенные, нормальные люди. И отношения были приличные. Он людей выбирал разумно, никого не кидал, и

его, вроде, тоже никто. Да нет, не было там никаких проблем. Конкуренты? Да вы их всех знаете не хуже меня.

– Ну, да, – махнул рукой Алик. – Так мы ничего не узнаем. Никаких зацепок.

– А вы знаете, что Марсович был женат? – неожиданно спросила Вера.

Алик с Игорем одновременно на неё посмотрели.

– Впервые слышим – протянул Игорь. – Рассказывай, рассказывай, не томи.

– Ну, они несколько лет уже не жили вместе, хотя официально, кажется, так никогда и не развелись. Марсович продолжал помогать ей деньгами и разными услугами, насколько я знаю. Я её видела один раз. Красивая женщина – из тех, кому нужно всё и немедленно. Привыкла, что она везде королева, что перед ней бегают на задних лапках. Марсовичу это, видимо, надоело в какой-то момент. Но он продолжал её опекать. А знаете, кто её нынешний любовник?

Это был редкий случай, когда ребята ловили каждое слово в потоке женской болтовни. Яснее пока не становилось, но информации прибавлялось.

– Володя из нашего компьютерного отдела.

– Так-так», – проговорил Алик. – Какая-то картинка вырисовывается. А Марсович знал об этом?

– Да, он мне сам рассказывал. По-моему, чуть ли не Марсович Володю туда и устроил. У них всё давно было кончено. Просто хотел, чтобы бывшая жена была счастлива.

– Ну да, и перестала сидеть у него на шее, – усмехнулся Игорь.

– Может, и так, хотя Володя ему не нравился и с этой стороны вряд ли его устраивал, – продолжила Вера.

– Действительно, странный выбор для женщины, которой нужно всё и сразу» – прокомментировал Алик.

– Ну, знаете, мальчики, не всегда есть кто-то другой, – философски заметила Вера. – И потом, если он её сильно любит, это многое объясняет.

Володя был неприметным программистом, в институте работал недавно, и это явно было случайное для него место.

– Ну хорошо, – подытожил Алик. – Сплетни мы обсудили, но давайте всё-таки еще подумаем, не удастся ли нам что-нибудь найти. Не ощущалось чего-нибудь необычного в поведении Марсовича в последние дни?

Вера задумалась.

– Он явно беспокоился об аренде. Говорил, что у него заканчивается контракт, но есть договор с Пашкой, ну с «Падлой Падлычем» нашим, он же у нас арендные деньги гребёт, и издательство должно в следующем месяце переехать к нам в институт, в здание напротив, а «Падла» чего-то крутит, жметесь.

Игорь с Аликом переглянулись.

– Да – задумчиво ответил Алик, – аренда – это серьёзно. Пойти, что-ли, в милицию, попросить их проверить арендные договора.

– Щас! – отмахнулся Игорь, – у Пашки там всё схвачено с самой советской власти, и делится он с ними регулярно, пальцем не шевельнут, ну разве позвонят, чтоб договора эти сжег на всякий случай, если ему не лень.

– Ну, договор и у Марсовича должен быть. Хотя менты, скорее всего, бумаги опечатали для видимости следственных действий. Хрен его знает. Можно к Ирке, к его секретарше, подъехать, она, вроде, неплохая баба, – размышлял Алик.

– Попробуй, любопытно взглянуть на договорчик, Ваша Неотразимость, – попросил Игорь с честным восторгом в глазах.

– Ну тебя, – фыркнул Алик, – можешь и сам.

– Нет уж, – откестился Игорь, – я человек женатый, мне девушкам авансы делать не положено.

Вера молчала – она была совершенно выжата и выглядела печальной растерянной маленькой девочкой. Пока ей больше не нужно было держаться.

Примерно через час друзья входили в Институт.

Алик пошел в отдел кадров охмурять Ирку, а Игорь присел на упоминавшийся уже подоконник. Через некоторое время к нему подошел Васильев, провожавший очередного визитера до лестницы. Петр Григорьевич иногда назначал кому-нибудь встречу в неответственный день.

– Вы, по дошедшим до меня слухам, занялись шерлокохолмщиной, молодой человек?" – спросил Васильев, заталкивая в свой мундштук сигарету.

– Просто хочется понимать, что происходит вокруг, – отозвался Игорь, разгоняя дымовые колечки.

– А я уже давно махнул на это рукой, – сказал Васильев то ли грустно то ли беспечно. – Скажите, что происходит у Вас с Викентием Илларионовичем? Я прочитал Вашу статью в "Вопросах" – очень, очень интересно.

– Спасибо, правда, В.И. другого мнения. Он сделал все, что мог, чтобы статья не вышла.

– Может быть, может быть, – Петр Григорьевич задумался.
– Это на стыке наук. Возможно, он, действительно, не все понимает. А могу я быть Вам чем-нибудь полезен?

– Петр Григорьевич, – Игорь заметно волновался и стал даже чуть-чуть заикаться.

– Мог бы я Вас просить быть вторым руководителем диссертации? Такое разрешается. Тему Вы хорошо знаете, меня тоже.

– Да, – сразу согласился Васильев, – Это решит проблему. В конце концов, зачем еще имя в науке, как не за тем, чтобы помочь в нужный момент доброму делу?!

Игорь просиял.

– Петр Григорьевич, занести Вам диссертацию, когда закончу? Мне чуть-чуть дописать осталось.

– Не надо, Игорек, – мягко улыбнулся Васильев, – Я давно тебя знаю, все понимаю, сам через это проходил. Никакие руководители тебе не нужны, ты уже взрослый мальчик, и работа у тебя прекрасная. Я очень рад, что могу просто по-человечески помочь. Пришлешь автореферат, когда будет готов. Не заигрывайся в детективы!

Васильев лукаво улыбнулся и стал спускаться по лестнице. Игорь смотрел ему вслед, закусив губу и благодарно улыбаясь. Теперь вопрос решен, против Васильева никто не пойдет. Сколько проблем, страхов, переживаний решились одним коротким "да" на их подоконнике.

Павла Павловича Стоеросова в Институте не то чтобы не любили, кадровиков вообще редко любят. Но Павлу Павловичу удалось добиться единодушия, немислимого ни в каком другом вопросе. Его на дух не переносил никто. Утонченные институтские дамы, кажется, за жизнь не сказавшие грубого слова, звали его не иначе, как Падлой Падлычем. И дело было даже не в биографии, хотя она у ветерана вохры, по слухам, не подкачала. Нет, подвигів засекреченного Штирлица в тылу идеологического врага молва ему не приписывала, молва приписывала всего лишь выбитые на допросах зубы и заключенных, насмерть забытых сапогами, разумеется, при попытке к бегству. Но даже не в этом, повторяю, было дело. Дело было в том, что Стоеросов был хам. Причем если люди иногда сочетают с этим свойством души какие-нибудь другие качества, то цельная натура Стоеросова им одним и исчерпывалась. Он орал на сотрудников, невзирая на их пол, возраст и научные заслуги, о которых, ему, впрочем, было неведомо. Врывался на заседания Ученого Совета, топоча

сапожищами и вопил благим матом во всю мочь закаленной портвейном глотки, что здесь, в актовом зале, шумят, и ему мешают работать. Увольнял тех, кто ему почему-то не нравился, не обращая внимания на советское трудовое законодательство, которого, впрочем, не знал и им не интересовался. О подвигах его можно распространяться долго, но скучно, поскольку все они одного свойства.

В общем, Падла Падлыч стоял на страже. Но уже как бы идеологической. В том смысле, что пистолета ему на нынешней службе не полагалось. Впрочем, вохра есть вохра. Лучшего бойца охранять маленький гуманитарный институт найти было трудно.

А вечерами Пал Палыч пил. Одинок надирался в своем кабинете. Жизнь его была однообразна и бессмысленна. С началом перестройки даже и покуражиться удавалось все меньше – бояться практически перестали, уволенные восстанавливались через суд. На него перестали обращать внимание. Кончилась родная чекистская власть. Он оплакивал ее каждый день, доставая заветную поллитровку из казенного сейфа с личными делами. И вдруг в воздухе запахло чем-то свеженьким. Появились накаченные такие мордастые ребята с тренированными затылками в красных и в малиновых пиджаках с золотыми цепями толщиной в каторжные. И они вроде как теперь были главные, эти ребята. Свои совершенно родные плоские хари. Пал Палыч потянулся было к ним всей душой – не вохра, так те же, по сути, зеки. Какая разница-то? Но ему тут же дали укорот. Ты вообще кто, кадровичок, вохровец? У-тю-тю. А деньги у тебя есть, шелупонь?

И Падла Падлович Стоеросов ушел в запой, как на войну. Деньги обесценились, да и тех почти не платили. Только на водку и хватало. Тосковал и пил, уже не просыхая. Притих.

А тут – приватизация. И вместе с ней - возможности. В связи с тяжелым положением государственных служащих можно сдавать в аренду помещения институтов. Приватизировать вроде нельзя, а в аренду сдавать можно, чтоб сотрудникам платить вместо зарплаты, которой нет. Тут Стоеросов и водку забыл кушать, родимую. А кто у нас в Институте будет отвечать за аренду? Ну уж не академики вшивые, не доктора наук. Сколько ждал, жизнь почти прошла. Пробил час. Как же, платить сотрудникам вместо зарплаты. Щас. Да где вы такое видели-то, покажите! Так бывший вохровец Стоеросов из простого советского хама стал вором. Превращение нехитрое, а в начале девяностых просто заурядное.

Все, что он пока сдавал, было так, по мелочи – не шибким кооперативщикам, научным каким-то фирмам, издательствам.

Деньги, конечно, водились – ездил на БМВ, дачу построил, квартиру купил и себе и любовнице, жрал уже не водку, а исключительно дорогой коньяк, но все это, он чувствовал, было еще только начало. Еще не было настоящего разворота. И вот недавно пришли к нему серьезные ребята. Самые что ни на есть. Это он сразу понял, хотя ни малиновых пиджаков, ни цепей на них не было, одеты обыкновенно, даже незаметно как-то. Шофер, правда, в тренировочном костюме, нормальный такой бык – это он из кабинета увидел, пока они к нему поднимались, но что шофер, разные бывают шоферы, да и не все видно со второго этажа. По тому, как зашли в кабинет, как главный сразу сел на его место, холуи – то ли помощники то ли охранники, по стеночкам, ему жестом предложил место напротив себя, садись мол, чувствуй себя свободно, Пашка мигом сообразил, что за люди. Раньше он таких даже и не встречал, всегда был мелкой сошкой, но знал, как бывает, чуял нутром.

– У тебя тут этаж только отремонтирован, – сказали ему. И назвали цифру, от которой глотку перехватило спазмом и сладкие мурашки поползли по спине. – Платим в долларах. На пять лет. – Задумался. – А, там видно будет. Задаток сразу наличными. Проблемы?

Пашка в первый момент ничего не сказал, потому что в горле пересохло от страха и жадности одновременно.

Холуй отлепился от стенки, подошел с папочкой, раскрыл, там были договор и ручка. Подписывай. Договор тут, конечно, был просто для проформы. Тут все по понятиям. И озолотят и урюют. Но... время такое. Договорчик вот.

– Тут это, такое дело, – у Пашки слова ворочались в горле, как прямоугольные бульжники. Главный удивленно поднял на него глаза как бритвой полоснул, холуй недовольно захлопнул папочку, но не отходил еще, не зная, не понадобится ли снова открыть. – Помещение-то это сдано уже, – выдавил из себя Пашка и совсем потерялся.

– Твои проблемы, – сказал главный, поднимаясь. – Разберись, – кивнул холую с папочкой.

Едва они вышли, Пашка сладко потянулся. Сдать бы кому-нибудь еще два этажа за такие деньги, и можно валить, куда глаза глядят.

Алик вернулся к Игорю в глубокой задумчивости. Вроде бы все сходилась и в то же время ничего не сходилась. Ира проверила – договор был, вернее, два – с Марсовичем и с другой компанией с каким-то незапоминающимся названием.

Алик погулял с ней по Волхонке, растрчивая остатки американского обаяния, она сказала, что посмотрит договора, когда Стоеросов уедет, но главное, сама видела, что сегодня в то здание уже переезжают.

– А кто, что за люди?

– Знаешь, так сразу не скажешь. Главный у них из начальства – похоже, министр бывший или партийная шишка, он на минуту заехал на «мерсе» со свитой, глазами все обшарил и укатил. А зам его остался, ходит, распоряжается – то ли из ментов то ли из гебешников, не понять. – Ирка задумалась.

– Как ты их различаешь, по лицам или по погонам?

– Жизненный опыт. Я после школы в министерстве работала, внутренних дел. Родители устроили, так, девочкой на побегушках. Думали, может, замуж выйду удачно. Чинов разных там насмотрелась – на всю жизнь хватит. И в форме и в штатском.

– Что ж не вышла? Барышня ты из себя видная.

– Чем бы в тебя таким запустить? – Она огляделась в поисках подходящего предмета, но, не найдя ничего, продолжила. – Не сложилось. Тошно от них от всех, а от Стоеросова в особенности.

– Понимаю, – согласился Алик, хотя вообразить себе не мог, как можно работать со Стоеросовым и не убить его на следующий день. Он решил про себя, что раз охранники не похожи на простых бандитов, то, наверняка, из гебухи. Нувориши любят нанимать чекистов, думают, что они бывшие.

Пересказывая все это Игорю, Алик вдруг понял, что у него не сходилась.

– Нет, понимаешь, кто бы они ни были, Марсовича они не убивали.

– Почему? – заинтересованно спросил Игорь. – Им эта аренда, похоже, была нужна, Марсович – конкурент, а убить им проще, чем задуматься. Другой вариант – сам Пашка, у этого тоже проблем не будет, на это, может, даже и мозгов хватит.

– Убить они могут кого угодно, но как бы они это сделали? Послали киллеров, правильно?

– Ну да.

– Но киллеры не звонят в дверь. С ними не пьют чай и не разговаривают перед тем, как они всадят в тебя пулю. Да, им это, безусловно, выгодно, и они, конечно, могли это сделать, но то, что я видел у Марсовича в квартире, не похоже на их работу. Этот мент сказал, что убийство заказное и я ему сразу поверил, вроде как профессионал. А он просто так сказал, чтоб отвязались. Вроде как клейма – расследованию не подлежит. А оно именно что

незаказное. Похоже, что он знал убийцу, сам впустил его в дом. Там не было никакой борьбы, на кухне стоят две чашки чая, похоже, что они сидели, разговаривали, Марсович пошел за чем-то в комнату и тут в него выстрелили, видимо, совершенно неожиданно, он и не собирался защищаться. Мне все время не давало покоя это несоответствие. Нет, ни Пашка, ни те ребята здесь не при чем.

– Тогда что же у нас есть. Снова ничего? Может, это было какое-то необычное заказное убийство. Киллер-психолог? – Игорь улынулся собственной мысли.

– Угу, как раз для наших Сицилий. Нет, у нас ребята незатейливые. Эх, снять бы отпечатки пальцев с этой чашки. Пинкертоны кухонные.

– Давай подьем в издательство. Узнаем телефон бывшей жены, сестры.

Галина Васильевна, изящная сорокалетняя женщина в строгом костюме, главный редактор и правая рука, была очень грустна, хотя и доброжелательна, как всегда. Она снабдила ребят телефонами, напоила чаем и вручила Игорю дискету.

– Он оставил это Тебе, но не успел отдать.

Игорь повертел дискету в руках.

– Что это, Галина Васильевна?

– Думаю, рукописи, но я не открывала.

С тем и разошлись. Алик отправился звонить жене Марсовича и его сестре, а Игорь поехал домой работать и изучать содержимое оставленных ему файлов.

Собственно, файл оказался один. Это было письмо.

Игорь быстро пробежал его глазами, присвистнул и бросился звонить Алику.

Тот только успел доехать до дома.

– Немедленно приезжай. Кажется, я знаю убийцу!

Потом он позвонил в издательство.

– Галина Васильевна, дорогая, как к Вам попала эта дискета?

– Игорь, я же сказала, Марсович оставил ее для Вас. А что, разве это не та? Ой, простите, кажется, я перепутала, в самом деле, та дискета на месте, господи, а что же я дала Вам?

– Галина Васильевна, Вы нам очень помогли этой ошибкой, но подумайте, пожалуйста, может быть, Вы поймете, как эта дискета могла к Вам попасть.

Через некоторое время в трубке снова раздался Галинин голос:

– Игорь, я спросила у Светы, нашего секретаря, она говорит, что приходила Люба, бывшая жена Марсовича, она у нас бывала, но очень редко, только, если что-то срочное, и оставила для него дискету, а Света, наверное, по рассеянности, сунула ее не в ту ячейку. Других дискет, вроде бы, никто не оставлял. А что же на ней было?

– Я думаю, что там было письмо убийцы. Огромное Вам спасибо.

И пробормотал себе под нос: «Неужели она не могла найти способ понадежнее?»

Пришедшему Алику Игорь молча протянул листок бумаги – он уже распечатал текст:

«Ты спрашиваешь, почему я не могу сдерживать ярости, когда говорю о нем?»

Потому что Ты любишь его, а я для Тебя ничто. Он всегда стоит между нами.

Ты вспоминаешь о нем по всякому поводу и без повода, мчишься к телефону, если только думаешь, что он звонит.

Как же, он благодетель, помогает, дает деньги, он устроил меня на работу в этот идиотский институт, где платят две копейки, когда не забывают, а все ходят с таким видом, как будто они миллионеры или президенты, придурки чертовы, разве это вообще наука – филология! Мог бы хоть в долю взять, так нет, еще больше хотел унижить.

У него деньги, успех, женщины, а у меня – ничего!

И Ты любишь его, хотя вы уже столько лет порознь.

Всегда, везде он, он, он, он!

Как я его **не-на-вижу!**

Для этих дураков из института я тоже – ничто. Какой-то жалкий программист, я же не ученый, не из их клана, не знаю ни урду ни латыни. Говорят тихо, вежливо, только на Вы: «Здравствуйте, Володя. Вы еще не написали эту программу? Вы не видели этот фильм?» А сами смотрят сквозь меня, как будто я – пустое место. Ублюдки.

А он и здесь главный. Все бегут к нему, всем он нужен, все хотят с ним поговорить, как же – Издатель, большая шишка, все от него зависит! Да он не больше меня понимает в этой их филологии.

Мне вчера снова дали верстать словарь для него, для его издательства, и все за те же деньги. Ни в прошлый раз, ни сейчас копейки не подкинули! А он наживется на этом словаре и сунет Тебе денюжат поехать на курорт – благодетель!

Люба, я не могу так больше жить! Нам с ним тесно вдвоем на свете! Ты выгнала меня, для тебя я – психопат и дурак, а он, конечно, хочет, как для всех лучше. Я знаю, как лучше! И Ты тоже скоро узнаешь!»

Алик отложил листок в сторону.

– Ну что ж. Все сошлось. Он написал ей это письмо, а потом пришел и убил на том же надрыбе, пока завод не кончился. Интересный вопрос – оружие. Достать его сейчас, конечно, легко, если есть деньги. Но наш Отелло, похоже, не богат. И почему она не позвонила и не предупредила Марсовича? Ведь все поняла, судя по тому, что принесла письмо в редакцию.

– А другой вопрос, сможем ли мы доказать, что он убийца?

– Ну, во-первых, пока некому доказывать, не то чтобы кто-то интересовался, а во-вторых, для задержания, мне кажется, материала достаточно. А там и доказательства появятся. Картина уж больно очевидная.

– Что ж, ты прав. Тогда звони ей. И надо идти в милицию. Они все-таки могут задержать эту жертву филологии. Он ведь и нас с тобой тоже ненавидит, Алик, не только Марсовича.

Люба ответила сразу. Слышно было, как она затянулась сигаретой.

– Здравствуйте. Меня зовут Алик Гронский. Мы расследовали убийство Марсовича и знаем убийцу.

– Да, я тоже его знаю, – чуть помедлив, откликнулась Люба. – Приезжайте. Я Вам сейчас скажу адрес.

Люба оказалась точно такой, как ее описала Вера. Высокая яркая кареглазая красавица с короткой стрижкой и резкими, чуть угловатыми, но уверенными движениями. Только сейчас она выглядела очень усталой и совершенно разбитой. Под глазами мешки и к горлу то и дело подступает комок.

– Никогда себе этого не прощу, – и потянулась за следующей сигаретой. Она прикуривала одну от другой.

– Понимаете, Володя казался таким валенком – неотесанным, зато уравновешенным, даже флегматичным, пожалуй. Работа его не интересовала, но и ни в чем другом он не пытался самоутвердиться, не искал себе поприща. Хотел денег и ничего для этого не делал. Марсович пристроил его в Ваш Институт, он и отсиживал свои часы. В обществе был спокойным как мраморное надгробие. (Она нервно усмехнулась.) Зато, когда мы оставались вдвоем, все неудачи, обиды, претензии к жизни выбивались наружу диким фонтаном. Я не могла этого выносить. Несколько раз выгоняла, но он каждый раз возвращался, сидел,

курил здесь на лестнице. Тихий, молчаливый. И я снова его выпускала. Мне казалось, что он любит меня. Когда я получила это письмо – мне сбросили на дискетку коллеги на работе, я емейлом не пользуюсь – тут же отнесла в редакцию, мы с Марсовичем редко общались после развода, я еще не отошла толком, хотя уже три года прошло, – Люба прикурила очередную сигарету, – не почувствовала, что это реальная опасность, так, просто угроза. Но все равно решила, что Володи с меня хватит. А утром, когда открыла тот ящик стола и не нашла пистолета, – она остановилась и долго молча сидела, почти не двигаясь, только курила.

– Марсович купил его когда-то, говорил полшутя, что может пригодиться, а потом почему-то оставил мне, наверное, просто забыл о нем. Я почти не открываю ящик, где он лежал, а тут торопилась утром, искала что-то, открыла – исчез. Все перерыла, и вдруг поняла. Бросилась к Марсовичу домой и... столкнулась с выбегающим из подъезда Володей. Я его окликнула, а он с дикими глазами промчался мимо. Думаю, и не видел меня. Поднялась наверх, а там... Я уже, конечно, почувствовала все, когда Володю увидела.

Она отбросила сигарету и уткнулась, рыдая, в стенку дивана. Горе этой женщины было таким неподдельным и безнадежным, что даже сочувствие было ей ни к чему.

Володя исчез. В Институте больше не появлялся, милиция объявила его в розыск, но никогда не нашла.

Алик надолго уехал переводчиком в Индию.

Через несколько месяцев Игорь блестяще защитил диссертацию. Оппоненты предлагали присудить сразу докторскую, но Ученый Совет предпочел этого не заметить.

Однако от карьерного успеха не было того острого ощущения радости, безбрежного счастья, какое возникало всякий раз, когда среди обычной невнятицы и хаоса фактов вдруг сверкало решение. Он тогда думал, что в награду за мучения, а может, просто так, ему на мгновение давали заглянуть куда-то, где все уже известно.

Но новых озарений не было, а жизнь вокруг мало благоприятствовала ученым занятиям. Денег катастрофически не хватало, даже вместе с Аниной школой и его преподавательскими заработками они едва сводили концы с концами. В последние месяцы на спецкурс ходил всего один студент – не то чтобы он читал хуже, чем раньше, когда их были десятки, просто люди стремились к чему-то практическому, что могло дать возможность заработать. Игорь это хорошо понимал и читал лекции одному

человеку точно так же, как читал бы их целому потоку. Он тоже старался зарабатывать, как мог – выходило неважно.

Но дело было даже не в этом. Сколько бы ни убеждал себя, что сейчас все равно лучше, чем было, что этот путь куда-нибудь да выведет, была часть его существа, и очень важная для него часть, которая решительно отказывалась верить.

Он слышал, как говорили новые люди, и инстинкт филолога звучал сильнее доводов рассудка. Слова, а больше всего интонация выдавали их с головой. Не только, кто они, в этом и так мало кто сомневался, но и чего на самом деле хотят, что делают и что собираются сделать.

Он, втайне гордясь собой, выстраивал убедительные логические цепочки, доказывая, что все могло бы быть намного хуже, а филолог внутри только фыркал в ответ, возмущенно вздергивая плечами. Верил он филологу.

Каждый раз по дороге от метро к университетским корпусам думал, что его наука никому не нужна, и не важно, кто прав в их спорах – если нет студентов, она просто отомрет сама собой. Жизнь принадлежала совсем другим людям, но он бы скорее умер, чем согласился быть на них чем-то похожим. Единственное место, где Игорь чувствовал себя хорошо, где и люди и разговоры оставались те же, был Институт. Он в последнее время стал чаще работать не дома, а у себя в секторе или в Институтской библиотеке, тем более что Аня целыми днями пропадала в школе. Вместе они по-прежнему только завтракали и ужинали, но этого заряда тепла пока хватало. В своей среде он чувствовал себя востребованным и как бы отгороженным, защищенным от мира и времени. Чеченская война, блатной дух, накрывший страну, даже безденежье доходило сюда в каком-то человеческом, пригодном к употреблению виде. Можно было обо всем разговаривать, сидя на знаменитом подоконнике, ходить на семинары, обсуждать чужие работы, писать свои. Институт продолжал жить обычной жизнью.



Борис Суслович Инфаркт

Памяти отца



Воздуха не было. Каждая попытка вдохнуть отдавалась внутри, будто по застрявшему в горле горячему кому проводили наждаком. Сердце то заполняло всю грудь, то куда-то пропадало. Давид с трудом повернулся и посмотрел на будильник. Три. Медленно встал и сделал несколько шагов по комнате. Ему показалось, что стало легче. А вдруг пронесёт?

Это началось несколько дней назад. Он вроде в шутку сказал, что чувствует тяжесть в спине. Жена шутить не собиралась: «Нужно провериться. Это сердце...» Он отмахнулся: «Я ведь только месяц назад обследовался. Ничего не нашли. Здоров». О том, что на работе почувствовал внутри режущий удар – под дых – говорить не стал. Он тогда попросил у кого-то папироску, хотя не курил уже десять лет. Легче не стало. Правда, потом его отвлекли – и боль незаметно ушла. А сейчас вернулась. Удесятерённая... Что было в последние дни? Ничего. Кроме разговора с директором. Тот проходил мимо его рабочего места – и вдруг остановился.

– Как трудится наш пенсионер? Не тяжело?

– Спасибо, Григорий Иванович. Справляюсь.

Убедившись, что их никто не слышит, бывший сокурсник подошёл ближе.

– Не устал заниматься галиматьёй? К себе не тянет?

– Тянет. А что толку?

Потом долго не мог успокоиться. И так по утрам ему приходилось переламывать себя, без конца напоминая, что цех, в котором знал каждую пылинку, больше не его. Свою нынешнюю работу в палате мер и весов – гирьку туда, гирьку сюда – временами ненавидел. Но зачем Гриша заговорил об этом? Неужели потому, что в незапамятные студенческие времена Давид учился лучше? Да и начальником цеха стал раньше. Когда-то. Были и мы рысаками...

Он вставал, потом садился на кровать, пытаясь найти какую-то неведомую, спасительную позу. Но боль находилась всюду, будто воздух только-только зародившегося октябрьского

дня был уже заряжён ею. Нужно позвонить Поле. А что сказать? Что не смог перетерпеть двух часов до окончания её дежурства? Неужели он настолько ослаб? Стыдно...

Давид лёг, закрыл глаза – и увидел жену. Она говорила с кем-то по телефону. Никаких слов нельзя было разобрать, но сам голос действовал успокаивающе. Как снотворное...

Вдруг прямо в ушах застучало что-то тяжёлое, грубое, настырное. Будильник, всего-навсего будильник... Он повернул голову: начало шестого...

Почти на автопилоте встал и подошёл к телефону. Поля ответила сразу. Повезло.

– Полечка, приезжай, – Давиду казалось, что говорит кто-то другой.

– Болит? – Жена скорее утверждала, чем спрашивала. Неужели его выдаёт голос?

– Да, – говорить становилось всё труднее, слова застревали в горле.

– Давно?

– Третий час.

– Давидка, родной, не волнуйся. Позови Лизу.

Он потащился в соседнюю комнату, где спала семнадцатилетняя дочь. Услышав слово «мама», Лиза тут же встала.

– Папочка, пойдём – ляжешь, – вид у девочки был решительный... и испуганный. – Мама уже едет.

Ему казалось, что он не успел прилечь, как раздался звонок в дверь. Дочка, сидевшая рядом, кинулась в прихожую.

В спальню вошла жена – и с ней черноволосая женщина с маленьким чемоданчиком, который раскрылся будто сам по себе.

– Ничего не говорите, Давид Израилевич, – врач вела себя так, будто они давно знакомы. – Сейчас будет легче.

– Что, Сана? Инфаркт? – голос жены слышался, как сквозь сон. Боль неожиданно отступила.

– Похоже, да. И немаленький. Я сделала укол. Будем везти?

– Одну секунду, – Полина подошла к кровати и внимательно посмотрела на мужа. – Да. Зови санитаров.

– Полина Абрамовна, можно выносить? – тихий голос вошедшего в комнату мужчины не вязался с его крупной, сильной фигурой.

– Конечно, Кирилл. Приступайте.

Давид раскрыл глаза. Чьи-то руки ловко выбрали его из кровати. «Зачем? – возмутился внутри двойник, здоровый и сильный. – Я сам».

Санитары медленно спускались по лестнице. Лежать на носилках было неудобно. Точным, экономным движением больной поправил собственное тело.

Возле подъезда стояла «неотложка». Увидев выходящих людей, водитель включил мотор. Жизнь продолжалась.

Июнь 2012



Зоя Мастер

Лекарство от мигрени*

1



чемоданом в руке, в коротком двубортном пальто, новых сапогах и парусиновой фуражке, Лёва шел к вокзалу. Чемодан оказался тяжелым даже для такого сильного человека, как он, и тянул к земле. Потому время от времени приходилось ставить его на землю – ну не в грязь, конечно, всё же собственность общины, – и брать в другую руку. И то же самое делать с холщовой сумкой, куда жена положила еду и белье. Шагая по рыжим от тающего снега улицам, обходя лужи, подернутые серым, как бульонный навар, льдом, он осознавал важность и ответственность возложенного на него поручения, но думал почему-то вовсе не об этом, а о недавнем визите к доктору Науменко. Вообще-то, настоящая фамилия доктора была Ройтман, но отца звали Наум, откуда и вытекла натуральным образом украинская фамилия. Когда доктора Науменко вызывали к Торе, все сидящие в синагоге вздрагивали, продолжая в недоумении переглядываться и неодобрительно качать головами даже после торопливого объявления ребе Штицем его имени – Моисей. Это происходило каждый раз как впервые, и каждый раз отец доктора, которому в прошлом месяце исполнилось девяносто, возводил к серо-желтому потолку трясущиеся от Паркинсона руки и неестественным для такого ссохшегося тела басом, сетовал: «В моей молодости эти стены не слышали *таких* фамилий!»

И именно к Моисею Науменко Лёве посоветовала обратиться теща, с его помощью излечившаяся от приключившейся с ней после ссоры с соседкой, нескончаемой икотки. А её в свою очередь направила к нему одна молодая особа, страдающая неслыханным для еврейской женщины недугом – непереносимостью к мужской сперме. Эти и многие другие случаи утвердили за Моисеем Наумовичем славу врача по редким болезням.

* Рассказ основан на реальных событиях, случившихся в конце 20-х годов.

Доктор усадил Лёву в шикарное, обитое синим бархатом, кресло. Сам валяжно расположился напротив в черном кожаном, привычно, крест-накрест, сложив на столе короткие, в рыжих волосах и веснушках руки. Больше, чем богатая мебель, невероятное количество книг и открытые выше колен, мускулистые, как у мужчины, ноги горничной в фильдеперсовых чулках, Лёву потрясли холёные, аккуратно подпиленные ногти доктора. Он перевел взгляд на свои лопатистые ладони и сжал их в кулаки.

- Ну, - мягко спросил доктор, глядя Лёве в глаза, - что нас беспокоит?

- Нас? – оторопел Лёва, впервые за свои тридцать с небольшим лет, посещающий врача.

Он осторожно оглянулся и, увидев за собой лишь плотно закрытую дубовую дверь, ответил, - У нас болит голова. Часто. И сильно.

- У вас? Голова? – недоверчиво переспросил Науменко. – Да, случай обещает быть интересным. Расскажите-ка подробненько.

И Лёва рассказал о внезапно возникающих в правом виске, отдающих в ухо и глаз болях. О том, как, усиливаясь, боль становится тупой и сверлящей, и тогда невыносимо смотреть на свет, и стыдно перед женой за такую слабость, и хочется напиться, накрыться подушкой и проснуться только когда всё закончится. Пытаясь помочь доктору докопаться до сути, он смущенно признался, что боль появляется после приема определенной пищи: жирного бульона, шкварок и вишневого варенья, а также от запаха одеколона, которым упорно и в больших дозах пользуется его жена, особенно во время менструаций, и ещё от громогласной тещиной трескотни. Тем не менее, из опасения прослыть сумасшедшим, он не решился посоветовать жене прекратить варить бульоны и варенье, а теще, слегка оглохшей после перенесенной в детстве скарлатины, – ещё и онеметь на то время, пока он находился дома. Доктор Науменко внимательно слушал, время от времени постукивая по столу. Лёва почему-то начал раздражаться и замолчал. Моисей Наумович напоследок щелкнул ногтем по золоченому гвоздику кожаного кресла и произнес: «Осматривать вас я не вижу смысла, и так видно, что здоровья тут на троих. Тем более, вы утверждаете, что на работе травмы не получали. Попробуем гирудотерапию - выпишу вам пиявок. Приложите к голове, они сами найдут, куда присосаться и наладят кровообращение». Лёва представил себя достающим из стеклянной банки скользких, извивающихся пиявок и сразу

вспомнил бабушку, её покрытый пиявками среди редких слипшихся прядей волос, неподвижный после инсульта затылок.

- Нет, - резко сказал он, - только не эту гадость. С меня и так есть, кому кровь сосать.

- Ну хорошо, - легко согласился доктор, - тогда остается клевер. Столовая ложка на стакан кипятка. Заварите и пейте три раза в день. Для лучшего результата, на ночь привяжите ко лбу свежий капустный лист. Другого средства от мигрени пока нет. И приходите через месяц.

- Но почему именно клевер? - недоуменно спросил Лёва, бережно расправляя купюры перед тем, как положить их в предназначенную для этого хрустальную вазочку, о которой предупредила и ещё раз десять напомнила теща.

- Это ведь лошадиная еда.

- Вот именно, милейший, вы когда-нибудь слышали, чтобы у лошадей болела голова? – дружелюбно осведомился доктор Науменко и ободряюще похлопал его по плечу.

2

И вот сейчас, по дороге на вокзал Лёва мысленно возвращался к тому визиту, снова и снова восхищаясь умом и обезоруживающей логикой этого человека. Что значит ученость! Ведь если подумать, в синагоге их разделяют всего несколько скамей, а на самом деле – пропасть. И тем более почетно, что именно Моисей Наумович порекомендовал его для выполнения такого ответственного поручения. На базаре к Лёве подошел сапожник Бенъямин и, привстав на цыпочки, шепнул: «Велели передать. Ты это, приходи вечером в ресторан на Фундуклеевской – дело есть». Не заходя домой после работы, во избежание лишних вопросов, Лёва пришел к ресторану и тут же был направлен словно ожидавшим его швейцаром в небольшую комнатку, скрытую от посторонних глаз синей в золотых птицах, портьерой. Сюда почти не доносилась музыка, было темновато и тихо, хотя народу собралось человек тридцать. И доктор Науменко - среди них. Лёве предложили сесть, пододвинули тарелку с намазанными и утыканными всякой всячиной крошечными бутербродиками. Он молча проглотил один, второй, так и не распробовав вкуса, запил стаканом сладкого вина и, как бы давая понять, что оценил оказанное ему гостеприимство, вытер подбородок накрахмаленной салфеткой и положил её на стол. А дальше заговорил человек, имени которого Лёва не знал, но часто видел проезжающим по Крещатику в черном сверкающем авто. Речь его была краткой, потому даже придя домой, Лёва помнил её слово в слово и в точности пересказал жене с тещей, взяв с них клятву молчания.

Несмотря на предельно ясно изложенную Лёвой суть случившегося, жена, как заведенная, продолжала задавать вопросы, и что особенно раздражало, сама же на них отвечала.

- Значит, тебя пригласили самые уважаемые люди города? Ну, это *ты* так думаешь. Сидели, смотрели, задавали вопросы. Чтоб, значит, решить, *или* тебе можно доверить *ихнее* золото. И одолжили чемодан... Чтоб ты его тащил до границы. И сам доктор Науменко за тебя поручился! А что ему оставалось, не самому же тащить! Он в своей жизни тяжелее клизмы ничего не подымал!

- А что им так приспичило вывозить золото? – озадаченно гаркнула теща, отложив в сторону фаршированную шейку с торчащей из неё иголкой. – Я вот наоборот меняю старые червонцы на бумажные. Очень удобно – карманы не обрываешь. Так червонец, и так червонец – цена одна, на рынке то же самое купишь что на тот, что на этот.

- Как вы не понимаете, мама, это временное явление. Ваши бумажки уже теряют цену, скоро вы на них идохлую курицу не купите, а монета – это почти девять грамм чистого золота. Вы бы почаще с умными людьми говорили, тогда не отдавали бы царские монеты за мусор.

- А ты уже час как поумнел, - съязвила жена. – Ты кто такой, чтоб в это ввязываться? Нашли доброго дурня, ишака, который в тюрьму за спасибо сесть готов.

- Тебе не понять, какая честь мне оказана, потому что мозги у тебя куриные и мыслишь, как курица! - Лёва стукнул кулаком по разделочной доске. Недошитая куриная шейка подпрыгнула и шмякнулась на пол.

Жена вздрогнула и заморгала.

- Симочка, ты только не держи дыхание, - засуетилась теща, - не дай Б-г икотка начнется. Ты подумай, раз *такие* люди доверили Лёвочке *такую мыссию*, значит, он того стоит. А что, - она пристально посмотрела на зятя, - есть надежда, что та власть вернется?

- Какая *та*, мама, - закричала пришедшая в себя Сима, - белые, зеленые, петлюровцы, царь?! От завтра они вернутся, и Лёва обратно золото перетащит. Честное слово, хорошо, что папочка, пусть ему *там* будет спокойно, это не слышит.

Она заплакала, и Лёве на секунду стало жаль и её, и себя.

3

Лёва отдал курносой, коротко стриженной проводнице билет, и поднялся в вагон. Оглянувшись, поймал её взгляд, но не удивился – знал, что нравятся женщинам. А эта была молоденькая, лет двадцати, и даже грубая, перетянутая широким ремнем

фуфайка, не могла скрыть её женственности. Купе оказалось пустым. Лёва бережно пристроил чемодан под сиденьем и устался в окно, наблюдая за посадкой в соседний плацкартный вагон. Вот так и он раньше ездил, в тесноте и вони, между мешками и корзинами, но община не поскупилась, оплатила самое лучшее место, как бы выдав аванс в другую жизнь. И он не пропустит этот шанс, сделает всё как надо и, вернувшись, обеспечит себе место среди самых уважаемых людей города. И разве не ребе Штиц так любит повторять слова одного из бесчисленных еврейских мудрецов: «Кого уважают люди? Того, кто уважает других».

Поезд тронулся. Дверь медленно поползла, и в купе бочком протиснулся молодой человек. Одет он был бедно и не особенно аккуратно: поношенные ботинки, длинноватые, явно не по размеру, брюки, суконное студенческое пальтецо и ватная ушанка, с опущенным на очки козырьком. Он вежливо поздоровался, по-щеничьи отряхнулся всем телом и присел напротив Лёвы.

- Чуть не опоздал, - сказал он, положил запотевшие очки на край столика и протянул узкую ладонь, – Даниил.

- А я уж думал, сам поеду, - широко улыбнулся Лёва, - смотрю, все купе переполненные, а в этом – никого. Куда путь держим?

- Парень замялся, шмыгнув носом. - Да вот не решил ещё, где новую жизнь начать. Какая станция понравится, там и выйду.

О как! – удивился Лёва. – Смело, однако. Хвалю. Я тоже в твои годы одним махом всё отрезал. Оказалось, трудно не это, трудно назад не смотреть.

Они помолчали.

- Ты, я вижу, тоже налегке, - не выдержал парень, кивнув на сумку.

- Ага, - согласился Лёва, - только вот ещё книги там, в чемодане, тяжеленные, тебе их и с места не сдвинуть. Я ведь книгами торгую, сегодня тут – завтра там.

- Сняв пальто, Даниил протер очки кончиком несвежей рубахи. Этот невзрачно одетый, неприглядной наружности и несчастного вида парень вызывал у Лёвы жалость и даже некое чувство вины за то, что ему-то повезло родиться сильным, рослым, удачливым.

- Давай поужинаем, что ли, - предложил он.

- Парень с готовностью согласился и без дополнительного приглашения потянулся к разложенным на газете пирожкам и картошке. Он ел жадно: продолжая дожевывать один кусок, уже

тянулся за следующим, то и дело доставая застревавшую в заднем зубе еду длинным ногтем мизинца.

- То ли голодный, то ли прожорливый, - подумал Лёва и достал баночку с мочеными яблоками, которую собирался открыть следующим утром. И пока парень сосредоточенно их поедал, поптичьи обкусывая мякоть вокруг кочана, Лёва попытался завязать разговор. Он рассказал о своей работе в мастерских, о недавней поломке парового котла, о теще, которая хоть и действует на нервы, но в главных вопросах – на его стороне.

- А ты что же, работаешь, учишься, женат?

Парень отмахнулся, - Да что тут говорить? Денег – ни гроша, семьи нет, хозяин сволочь – с работы выгнал и не заплатил, с квартиры, значит, выкинули, невеста нашла себе другого, при деньгах. И вот с какой стороны ни смотри, одно разочарование. Ничего своего нет, никому не нужен, пропадешь – никто и не заметит.

Он с аппетитом прикончил последнее яблочко. – Неинтересная я личность. Лучше ты расскажи, где товар берешь, свой или попросил кто продать? Какого толка книги – наших, революционных писателей или научные? А может, религиозные какие?

- Лёва растерялся. - Моё дело - перевозить их в целости, а про что они – грамотным людям виднее.

Он нарочито громко зевнул и лёг, подложив сумку под голову. Не спалось.

Напротив на скамье, укрывшись пальтишком, приоткрыв рот, храпел сосед, и на мгновение этот храп, изредка прерываемый покашливанием, показался Лёве нарочитым. Из невнятного рассказа Даниила было неясно, как тот, не имея в кармане ни гроша, попал в купейный вагон, и Лёва пожалел, что не спросил об этом, но, вспомнив его голодные глаза, устыдился своих подозрений. Захотелось пить, и Лёва пошел за кипятком. Его окликнула проводница,

- Ты там бэрэжись того соседа.

- Почему? – в виске как будто стали закручивать иголку.

- Та чудный он какой-то, его посадив на поезд один из цих, у кожанчих.

С тобой другие люди должны были ихаты, а в последнюю минуту их в плацкартный впыхнули. А ты вкрав щось? Вороваты с такой внешностью нэ з руки – дуже ты видный.

- Да не вор я, - отмахнулся Лёва, потирая висок, - может, спутали с кем. Ты лучше скажи, когда следующая станция.

- Скоро Фастов, - ответила девушка.

Лёва вернулся в купе, насыпал в кружку сушеного клевера, залил кипятком, подождал несколько минут и выпил залпом. Потом, стараясь не шуметь, выдвинул чемодан. Поезд стал замедлять ход, просчитывая однообразные пригородные домики. Лёва увидел освещенное единственным фонарем здание вокзала. Даниил откинул пальто, спустил на пол ноги, зевнул.

- Чё-то живот болит, - сказал он, шурясь и нащупывая завалившиеся за полку очки. Это что за станция?

Не знаю, - притворился Лёва, задником сапога заталкивая чемодан под полку. - А ты что, выходишь?

- Не, я ещё не решил. Может нам и вовсе лучше друг друга держаться? Ты мне на месте с работой поможешь, а я тебе - с чемоданом.

Он вышел в коридор, оставив внезапно вспотевшего Лёву сидеть, бессмысленно уставившись на захватанную дверь.

Лёва запаниковал. Ноги налились тяжестью, и стало нечем дышать. Болел висок - тупо и дергано. Неужели кто-то сдал, и теперь его пасет этот никчемный, вызывающий брезгливую жалость, человек? И если это правда, то как вообще можно было так беззастенчиво и бесцеремонно есть из рук преследуемого? Ведь даже волк не возьмет еды у человека перед тем, как его загрызть. Хотя разве не ел Петька Онищенко из рук Лёвиного отца, а потом избил его, уже тогда больного, до полусмерти? Из-за него, вернее из-за его всплывшего Петькиного трупа, Лёве пришлось навсегда уехать из Абазовки, где он родился и прожил двадцать пять лет.

В принципе, их село было неплохое, даже красивое, на левом берегу заболоченной, тихой Берестовки, окруженное сосновым лесом. И жизнь там была неплохая, не хуже, а может, и лучше, чем в других местах. Во всяком случае, таких погромов, как в Харькове, Одессе, Киеве и даже соседней Николаевке, тут не случалось. Так, на праздники, или по пьянке односельчане - те, что накануне здоровались, дела обсуждали, рядом на базаре торговали, - пройдутся по еврейским хатам. Где стекла побьют, где переломают всё, перевернут вверх дном. Главное - под руку не попадаться, а то изувечить могут. Потом пойдут в трактир - допивать, и наутро - опять хорошие соседи. На селе жизнь скучная - чем-то ведь надо заняться. В один из таких дней прибежала на кузню мать,

- Лёвка, с отцом плохо. Еле дышит. Петька с друзьями приходил за швейной машинкой. Чтоб потом на водку выменять. Отец не дал. Они и машинку забрали, и отца избил.

За те минуты пока к дому бежал, Лёва понял, что такое ненависть. Вспомнил, как с Петькой на коньках-самоделках катался, которые отец им смастерил, как тот в пальто теплом, которое отец из своего старого перешил, наконец-то в школу пошел, как он жил у них, ел за одним столом, когда петькину мать за воровство посадили. Потому увидев окровавленного, лежащего на полу отца, думать не стал. Может, если бы подумал, поступил иначе. А так, взял сани, веревку потолще и поехал в трактир. Под каким-то предлогом выманил Петьку, одним ударом уложил на сани и в лес отвез. А там к дереву привязал и избивал, пока тот не затих. Потом в речку под лёд сбросил. Когда весной, на Пасху, труп всплыл, все решили – Петька по пьянке утонул. А Лёва, хоть и не жалел никогда о том, что сделал, и убийцей себя не считал, той же весной уехал в Киев. И вот так же, как сейчас, не было у него ответа на главный вопрос – что есть душа человеческая и зачем Он вселяет жизнь в *такие* души.

- Житомир, – заглянув в купе, объявила курносая проводница и добавила, - а попутник твой час назад на полустанку слиз.

- Как? – не поверил Лёва. – Может, тебе показалось?

- Як же, показалось! Поезд там стоял три минуты. Он один скочив и так прытко через колії побиг. Потом оглянулся и за насып нырнув – чисто суслик. А ты если обратно надумаешь, мы завтра днем у Киив видправляемся. Я у третьем вагоне буду.

Она всем телом прижалась к спускавшемуся по ступенькам Лёве. – Як не мой дружок в соседнем вагоне, може у нас з тобою любов вийшла.

4

- Всё-таки не гадом оказался, - радовался Лёва, направляясь к Замковой горе, где на базаре его должен был встретить человек без имени, - зря подозревал парня, а он и правда ехал, куда глаза глядят. Не хотел навязываться, сошел неизвестно где, постеснялся помощи попросить. Ну да ладно. Главное, можно ещё людям верить.

Лёва вдохнул полной грудью и зашагал быстрее. Дорогу не приходилось спрашивать, потому что костел с колокольной был виден отовсюду, и базар, стало быть, находился неподалеку. Он свернул с Мельничной и краем глаза заметил двоих идущих за ним мужчин. Они шли, лениво переговариваясь, и своим видом не были похожи ни на прихожан, направляющихся на службу, ни на идущих за покупками горожан.

- Люди как люди, - успокоил себя Лёва, - что ж теперь, в каждом встречном чекиста видеть?

Но скоро стало ясно, что те двое шли именно за ним и даже не пытались это скрыть. Они останавливались и терпеливо ждали, когда Лёва перекидывал чемодан из руки в руку, замедляли шаг, когда он оглядывался, и вели себя так, словно давали понять – некуда от них деться и даже пытаться – бесполезно. Лёва обливался потом, он снял фуражку и вытер ею лицо.

Пасут, точно пасут.

Вспомнились тещины слова, которые она любила повторять кстати и некстати: «От сумы и от *турмы* не зарекайся». Но и ей бы не пришло в голову, что к тюрьме может привести сумма полная золотых монет.

- На базар идти нельзя, подставлю человека, - судорожно соображал Лёва. Обогнув базарные ворота, он увидел вывеску «Баня» и шагнул за порог. Привыкший ничему не удивляться банщик, выдал номерок, шайку и мыло. Лёва прошел в предбанник, но отдышаться не успел – раздвинув ширму, те двое выжидающе смотрели на него.

Мартовское солнце, рассыпавшееся яркими бликами в тающем снегу, ослепляло Лёву иголками, сверлящими правый глаз и висок. Он шёл, опустив голову и прикрыв глаза. Чекисты бережно несли чемодан, отдуваясь и передавая его друг-другу, каждый раз с уважением поглядывая на Лёву.

- Тяжело, черт, - сказал один, - может он его до участка сам и дотащит?

- Хорошо бы, но не положено, - покачал головой тот, что постарше, с усами на широком, в оспинах лице, - это теперь как вроде изъятая улика.

Лёва с облегчением зашел в полумрак тесной комнаты, сел на стул и закрыл глаза.

- Ты лучше на скамью, она прочнее, - посоветовал молодой, - стул и так расшатанный, а под тобой точно развалится.

- Ну чё, уделался со страху? – спросил усатый. - Аж на белый свет смотреть не можешь.

- Голова разламывается. Мигрень у меня, – пожаловался Лёва.

- Во сволочь, - возмутился молодой, - как потом и кровью заработанные революционные деньги врагам таскать, так здоровый, а как *споймали* – так барская болячка его замучила. Ишь, морщится, будто фигу ему в нос тычут. А я вот разом вылечу его лучше всяких еврейских докторов.

Он схватил с колченогого стола упакованный в кожу «Капитал» Карла Маркса и с размаху ударил безучастно

сидевшего Лёву по голове. Удар пришелся в висок, и, выпучив глаза, тот упал, стащив за собой стоящий с краю чемодан. Грязный дощатый пол покрылся звенящей золотой чешуёй. А у скамьи, лицом вниз, в нелепой позе лежал Лёва, и гордый николаевский профиль золотого червонца окрашивался кровью, сочившейся из лёвиного еврейского, разбитого при падении носа.

- Ой бя, - выдохнул усатый, - ты чего натворил! Давай звони начальству, доложишься обо всём, возьми точные инструкции.

Как сквозь вату, очнувшийся Лёва слышал отчаянные *есть, так точно, и будет сделано*, доносившиеся из соседней комнаты. Ныл висок, но та изматывающая, ввинчивающаяся в мозг боль, ушла. Остался привкус крови во рту и противное ощущение беспомощности.

- Велено посчитать и составить опись. К утру приедет *сам* из Киева и проверит. А этот – он посмотрел на Лёву, - их, похоже, не очень интересуют. Так, рабочая лошадь. Хотя, хорошо бы его пустить в расход как пособника вредителей советской власти. Ну что, мигрень, полегчала? – он ткнул Лёву в плечо. – Мы, значит, монеты считать будем, а ты носить и складывать о-от в той комнате. Только дверь запру.

Всю ночь они считали и пересчитывали червонцы, золотыми столбиками складывая их в железный шкаф. К утру буржуйка остыла, и в помещении стало холодно и сыро. От выпитого самогона, смешанного с заваренным до черноты чаем, тряслись руки, и пересохло в горле. Листок с многократно переправленными цифрами лежал под жестяной кружкой.

- Ну ладно, - не выдержал Лёва, - посчитали, я, пожалуй, пойду.

- Я те пойду, - икнул усатый, - щас начальник приедет, допросит тебя.

- А чё его допрашивать, - вмешался тот, что помоложе, - я ж толкую, их банду в Киеве уже давно повязали. И каждый из этих ворюг другую цифру называет. Вишь, гады какие, специально, чтобы нас запутать не говорят, сколько золота в чемодане было. Это кто ж поверит, чтоб евреи в деньгах ошибались?!

- Подожди, Йося, - усатый задохнулся от осенившей его идеи, - дык ежели они путают, то и мы можем. Так ведь?! Я к тому, что дураки будем, если себе часть не заберем. Такого случая вовек не будет. Давай возьмем чуток себе поровну, а остальное как положено, вернем.

- Получается, у родной советской власти воруем, - засомневался Йося, задумчиво ковыряя в носу.

- Дык мы ж и есть советская власть, что ж, мы, по-твоему, у себя воруем!? стукнул по столу старший. Выполняй приказ!

- А с этим шо?

- А шо, отведи за Городище, к речке, да и... сам знаешь. Скажем, при попытке.

- Так вы ж бандиты, - возмутился Лёва и резко вскочил - вас самих надо к стенке!

Усатый выхватил наган.

- Стоять, сволочь! Йосо, прикрой сзади!

- Да я вас обоих голыми руками, - зарычал Лёва и перевернул стол. Пуля вошла в дерево.

- Убью! – он подскочил к усатому и выдернул наган из его рук. Потом сбил с ног молодого и схватил его за шею. – Щас придушу, как цыпленка, падла ты золотушная. Тебе мама, небось, говорила, учись, Йосо, человеком станешь, а ты, нет, в чекисты подался.

- Федя, помоги, - прохрипел молодой.

- А чё, - гоготнул тот, - один жид другого мочит! Это ж когда такое за бесплатно увидишь!

Лёва отпустил посиневшего, мешком осевшего на пол Йосою и вплотную приблизился к старшему.

- Я бы тебя сейчас прикончил, гад ты усатый, но не хочу ещё один грех на душу брать. Всё. Ухожу. Подавитесь тем золотом, а чемодан забираю – я его отдать должен. Наган в реку брошу. Начальству сбросите чего-нибудь.

Закинув сумку в пустой чемодан, он переступил через Йосою, выбил ногой запертую дверь и через секунду растворился в зябкой серости предрассветного тумана.

5

Лёва шел переулками и проходными дворами, останавливаясь и пережидая в чужих парадных, снова и снова подозрительно оглядываясь, в тысячный раз убеждаясь, что за ним никто не следит, и потому появился дома только три часа спустя после прибытия поезда. Его удивила незапертая дверь и доносившийся из кухни шум голосов.

- Странное время для гостей, вроде не шаббат, - подумал он и прислушался.

- Только не надо его хоронить, - всхлипывал голос тещи, - нашего Лёву так просто не возьмешь.

- Ой, мама, - запричитала Сима, - я предупреждала, а ты – миссия, миссия. Червонцы сюда, бумажки – обратно. И он туда же, героя из себя корчить. А теперь что, в какой тюрьме или на каком кладбище его искать?

- Типун тебе на язык, - вступила какая-то женщина, голоса которой Лёва не узнал.

- Вы, Софа, вообще постыдились бы сюда приходиться, - завывала жена, - если бы не ваш доктор Науменко, которого вы рекомендовали всем подряд, мой муж сидел бы сейчас на вашем месте и ужинал. Судя по животу, я вижу, теперь вы, невроко, прекрасно переносите сперму в неограниченном количестве и ждете двойню. А мой ребенок, - она зарыдала, - родится сиротой.

- Не понял, - сказал Лёва, шагнув в кухню, - какой ребенок?

- Лёвочка, - взвигнула теща, победно обведя взглядом замерших от неожиданности женщин, - ну, кто был прав? Сима, - она тут же переключилась на дочь, - как ты не сказала маме такую новость? У тебя точно родится девочка – ты в последнее время постоянно зеваешь.

Всю ночь Лёва ходил из угла в угол, то и дело поглядывая в окно, прислушиваясь к шорохам на лестничной площадке. Но, похоже, он больше никого не интересовал, и это было по меньшей мере странно. Тем не менее, улица оставалась абсолютно пустынной, мокрый мартовский снег таял, не долетая до черной брусчатки, и казалось, ничто не в силах нарушить эту красоту и покой. Но Лёва уже знал, что покой измеряется минутами, и что нечаянные шаги или мелькнувшая тень могут стать предвестниками беды, как пробежавшая по зеркалу трещинка. Безмятежность ночного безмолвия непонятным образом тревожила и гнала из дома навстречу мучившей Лёву неизвестности.

Рассвело. Теща в надетой поверх ночной рубахи вязаной кофте, уже возилась у примуса. По-детски уткнувшись в подушку, крепко спала Сима – с ней в такт дышал их ребенок, которому он, Лёва, дал жизнь и за которую был в ответе. Взяв пустой чемодан, Лёва направился к доктору Науменко. Проходя по Фундуклеевской мимо гостиницы, он заметил, что вывеска ресторана исчезла. Двое рабочих вытаскивали из дверей столы, стулья и ящики с бутылками, небрежно прикрытые синей с золотыми цаплями тканью. Застыв, он наблюдал, как молодой парнишка в кожанке выводил на улицу знакомого ему швейцара.

- Встретишься со своим хозяином, холуйская ты морда, авось вместе чего и припомните, - приговаривал он, подталкивая того к машине.

Завернув на Бибиковский бульвар и подойдя к дому, с балконов которого обреченно взирали облупившиеся лепные женские барельефы, Лёва замедлил шаг, но всё же заставил себя

подняться на второй этаж. Дверь открыл сам Моисей Наумович, вернее, его тень.

- А, это вы, - нерадостно пробормотал он и пропустил Лёву в прихожую. – Проходите, только осторожно, не заденьте вот тут, вещички.

Потухший взгляд доктора в контрасте с суетливой скороговоркой, так ему не присущей, озадачил Лёву не меньше, чем изменившийся вид квартиры. Вдоль стен прихожей, на ещё пару дней назад натертом до блеска, а сейчас заслеженном полу, стояли тюки и баулы, от сваленной на вешалке одежды несло потом, дверь в столовую была открыта настежь, и оттуда воняло папиросным дымом. Доктор проследил за лёвиным взглядом.

- Да, не Париж. Но и не Лукьяновская тюрьма. Пока.

Из столовой в дальнюю комнату, слегка косолапя, прошла горничная. Узкая серая юбка военного покроя, сменившая платье, укорачивала её накачанные ноги и делала их ещё мощнее. Зайдя в кабинет следом за доктором, Лёва протянул чемодан.

- Вот, не знал, кому отдать. Не вышло у меня с поручением, кто-то нас выдал, и золото осталось в Житомире, но клянусь, моей вины тут нет, и себе ничего не взял. Сам удивляюсь, как живым остался. Знал бы кто настучал, своими руками задушил.

- А что тут знать, прервал его доктор, нервно перебирая пачечку незаполненных рецептов, - вот она, ходит тут по-хозяйски, как ни в чём не бывало. Меня уплотнили – ей с сожителем половину квартиры отдали. Да я не жалуясь, могли бы посадить или вообще расстрелять, если бы жена их главного комиссара не была моей пациенткой и школьной подругой моей жены – счастье, что она не дождала это всё видеть. А вот отец не выдержал – его парализовало в прошлую субботу, когда вместо ребе Штица они прислали нового, а тот оказался чекистом.

- Как, - изумился Лёва, - и сам признался?

- Кому нужны его признания? Он так читает на иврите, как я на китайском.

Дверь кабинета распахнулась.

- Гражданин Ройтман-Науменко, - раздался знакомый голос, – опять нарушаем режим, а? Принимаем симулянтов в интимной обстановочке при закрытых дверях? Придется сообщить начальству.

- Познакомьтесь, сожитель моей горничной, и по совместительству – комиссар, - виновато вздохнул доктор.

Лёва медленно повернул голову и встретился взглядом с Даниилом.

– Как поживаешь, сволочь? – заикаясь от злости, сказал Лёва. - Надо было тебя, гада, тогда из поезда выкинуть вместо того, чтобы кормить, поить, да байки слушать. А ты всю, значит, дорогу, вынюхивал, выспрашивал, чтобы потом, как гнида последняя, сбежать.

Даниил расхохотался. - Да что там вынюхивать было! Ты ещё только на вокзал наладился, а мы уже знали, куда едешь, к кому и зачем. Я ж от самого дома за тобой шёл, любовался, как ты гусем вышагивал. И вся твоя конспирация с книгами – это ж цирк сплошной, я просто имел на тебя сожаление.

Не говоря ни слова, Лёва схватил со стола хрустальную высточку и швырнул её в голову Даниила. Тот резко присел, и она, ударившись о стену, с грохотом упала на пол, не разбившись. Доктор Науменко протестующе замахал руками.

- Не надо, прекратите! Не пачкайте свои руки, Лев! А вам, молодой человек, - он перевел взгляд на побледневшего Даниила, - о душе надо подумать. Вы ведь больны. Я предупреждал, у вас начальная стадия чахотки, туберкулез.

- Врешь, - сквозь зубы сказал Даниил, - это ты меня из классовой ненависти пугаешь. А не понимаешь, что раньше меня сдохнешь, потому что я вот прямо сейчас тебя кончу.

- Видите, - обратился доктор Науменко к Лёве, - бесполезно взывать к разуму, когда серое вещество принимает цвет их знамени. Идите, Лев, идите отсюда на свежий воздух, а то эта нездоровая обстановка может стимулировать новый приступ мигрени. Кстати, как ваша голова?

Лёва задумался. – Вы знаете, сказал он, выйдя на лестничную площадку, меня вылечили там, в Житомире.

- Что вы говорите, - оживился Моисей Наумович, - и кто этот врач?

- Карл Маркс, но вам вряд ли знакомо это имя, – ответил Лёва и спустился на улицу.

У парадного уже ждала машина...



Эзра Бускис

Отрывки из книги

“Лучше, чем когда-либо”

#1

Я представляю...



еатр... Сцена... красные... желтые...
оранжевые цвета...

Девушка из кафе, в рваном желтом платье и босиком...

- Эзра... Твоя Жмеринка - это целый мир...

Первый актер:

- Да! Это целый мир... И когда я ее вспоминаю, мне приходит на ум Хаим Сутин... И до конца не понимаю, как они связаны между собой... Марк Шагал и его летающие влюбленные - это понятно... Я это видел... Я помню... Однажды, гуляя как-то поздней ночью по сонной и тихой Жмеринке, я вдруг услышал:

- Лунный свет слишком яркий, ман либе... (мой любимый)

Я обернулся, я посмотрел по сторонам - никого... Наверно, показалось, подумал я...

- Давай полетим прямо к солнцу...

- Это опасно... Мы можем сгореть... Ман тайер... (моя дорогая) - услышал я еще раз...

И тогда я посмотрел на небо, и... Я помню, не удивился, ... А, глядя на них, неожиданно подумал:

- Будет дождь...

И еще подумал:

- Неужели мы когда-нибудь будем старыми?... И не в Жмеринке...

А через много лет, уже в Париже, меня подвели к памятнику и сказали:

- Вот! Это Хаим Сутин? ... И, увидев вопрос на моем лице, изумленно спросили:

- Как? Ты не знаешь Хаима Сутина?

И, захлебываясь, начали рассказывать мне о нем и показывать его картины и репродукции... И, мне кажется, моментально... Знаешь, как бывает ... Моментально я его

увидел... Увидел и вспомнил тот вечер и влюбленных, которые пролетали высоко в небе и еще вспомнил, что тогда, в тот вечер, дождя так и не было... Я жадно смотрел на его «мясную тушу»... На его портреты... Его болезненное, как мне казалось, отношение к красному цвету... Не знаю, но в его картинах я все время вспоминал Жмеринку... Я чувствовал и видел ее необычную красоту... Смотря на его портреты, думал... «никакие это не французские кухарки, это - старушки из Жмеринки... А разве это "Рассыльный из "Максима"? Это же Столяров-старший в «Красном френче»... Казалось, что он сейчас возьмет свою скрипку и начнет играть... И как играть...

Помню, как я не мог оторвать взгляд от его портрета «Безумная». Ее красное платье... Ее глаза... И, конечно же, руки... Это ведь Лиза с Пролетарской улицы, которая зарабатывала тем, что ошиповывала кур. Я помню, весь ее дом и двор были в перьях... Ведь это же ее руки - с кривыми и длинными пальцами...

А уж когда мне сказали, что он с детства страдал язвой желудка, и как он маялся и мучился постоянной болью, я совершенно не удивился, а все как-то стало на место...

Если Модильяни произвольно искажал натуру, то Хаим ничего не искажал: он так видел, он так чувствовал. По Хаиму - жизнь интересная, но в тоже время запутанно жестокая, вечно голодная, с постоянной болью... И это она, эта клятая жизнь, искажает все в его картинах... Глядя на его портреты, натюрморты, пейзажи... понимаешь как все это переплетается с жизнью и меняет представление о ней.

В общем... Фрайгнышт... (Не спрашивай). Как говорили в Жмеринке...

Девушка из кафе...

- Как же это грустно... Своими воспоминаниями ты довел меня до слез...

Она повернулась в зал, смахнула набежавшую слезу и сказала:

- Цындун ды лэخت их штарб (Зажгите свечи, я умираю)...

Первый актер, глядя на нее, грустно улыбается...

Девушка из кафе, повернувшись к нему:

- Чего это ты?...

Первый актер:

- Ты напомнила мне бабушку Сурку...

- Расскажи о ней...

Первый актер:

- Трудно... Я воспитываю себя... Хочу контролировать не только свое поведение, но и мысли. Хочу заставить себя не думать о вещах, которые очень грустные. Ах! Как же это трудно!

Знаешь, мне кажется, что когда я был маленький, я мог заставить себя видеть определенные сны... Перед тем, как ложиться спать, я думал о том, что бы мне хотелось увидеть во сне, я думал очень интенсивно, и мне кажется, что мне действительно снилось то, что я хотел. Правда, страшные сны мне тоже снились, и не понятно, почему...

Девушка из кафе:

- Все равно расскажи... Бабушка это заслужила... Кто-то ведь должен рассказать, какую жизнь она прожила...

Первый актер:

- Она была модисткой, как говорили тогда, т.е. портнихой... Ее муж умер от заражения крови, когда маме было 2 года, а ее брату год. Жила она на иждивении у своего отца, ухаживая за ним и за двумя детьми... У нее была единственная подруга, тоже Сурка, у которой был муж и двое детей, но жизнь ее была не лучше ... Муж пьяница, безденежье ... Во время войны, в гетто она пекла бублички и продавала. Песня "Купите бублички" была написана про нее... Помню, она постоянно, имея свободную минуту, забегала к бабушке покурить и поболтать, и как бабушка внимательно слушала ее рассказы, переживала, сочувствовала. Это ведь было ее единственное развлечение... Она никуда практически не выходила... и нигде кроме Жмеринки не была... Ты представляешь? Нигде, кроме Жмеринки не была!

И вот однажды, бабушка залежалась на кровати позже обычного, и на беспокойный вопрос мамы:

- Мама, ты чего лежишь? Ты себя плохо чувствуешь? -

Бабушка посмотрела как то особенно грустно и сказала:

- Цындун ды лэхт (зажги свечи.)

- Зачем?

- Их штарб (Я умираю...)

Вздыхнула... Закрыла глаза... И умерла!

Второй Актер:

- Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих. Это говорю Я, Соломон, сын Давида, царь над Израилем в Иерусалиме.

Занавес падает. Мы слышим жидкие аплодисменты...
Одинокие крики «Браво!»

Занавес поднимается, и они втроем кланяются под жидкие аплодисменты.

#2

Я вспоминаю...

Надюха появилась как-то внезапно... Жил я тогда в общаге с Юрчиком...

Было лето, почти все разъехались. Мы с ним жили, как короли. Вдвоем - в комнате на четверых... и общага почти пустая.

Моя тогдашняя подружка Дина, или как там ее звали, уехала отдыхать с родителями в Крым, а мы... Мы утром ходили на практику, вечером шатались по улицам, пили... приставали к девушкам. В общем, развлекались, как могли...

Тот день у меня сложился неудачно. В институте был ремонт, и нас распределили кого к малярам, кого к штукатурам.

Я помогал Василию Степановичу. Мешал раствор, подавал инструмент, убирал мусор. Мужик он был неплохой, но малоразговорчивый. Когда наступил обед, он предложил мне покушать с ним, и я сдуру согласился...

На импровизированном столе появились картошка, яйца, сало, лук и, разумеется, бутылка самогона...

Сало и самогонку я никогда до этого не пробовал, но сказать ему об этом было неловко, и я сделал вид, что выпить самогону и закусить все это салом - для меня это невероятное счастье.

Самогонка была настолько дурно пахнущей и противной, что сало, которым я закусил, показалось невероятно вкусным, но жирным... Вторая рюмка самогона уже была менее противной, а третья, наверное, даже бы понравилась, если бы я не вырубился. Какое-то время я приходил в себя, пока понял, что я в общаге, и уже вечер. Голова болела... во рту запах, который трудно описать...или опИсать. Еле поднялся с кровати, шатаясь побрел в туалет... Посмотрел на себя в зеркало... замученное лицо... синяк под левым глазом, наверное, упал,... подумал я,... не подрался же я с Василием Степановичем, еще раз лениво подумал... и...меня вырвало прямо в умывальник...

Вернулся в комнату... Юрчик, увидев меня, стал орать. Кричал, что я алкоголик, что я пахну как говно и выгляжу так же...

Насильно вернул меня обратно в туалет, заставил помыть, почистить зубы, а когда вернулись в комнату, вылил на меня полбутылки одеколона, а потом, с выражением брезгливости понохав мое лицо, заставил меня глотнуть немного одеколона. В общем, после всех его процедур я стал выглядеть и пахнуть как центральная парикмахерская в первомайские праздники.

Денег в то время у нас было мало, и Юрчик занимался готовкой, чтобы не тратить на столовку...

И, как назло, борщ у Юрчика не получился. «Все из-за тебя, шикорник засранный! - кричал он. При чем здесь я, я не понимал, но видя Юрчика голодное лицо, спорить не стал... не очень хотелось...

Борщ был красного цвета, но почти без овощей, они разварились, объяснил Юрчик. Ложкой не имело смысла его кушать, поэтому мы разлили его в литровые банки и пили, закусывая хлебом...

- Ты знаешь, Юрчик, вроде ничего... Вкусно!

- Закрой пасть! И кушай... Пей, в смысле... - ласково сказал он и, посмотрев на меня, брезгливо добавил:

- Не знаю, как тебе может быть вкусно без сала...

Шлэпар...

Тут открылась дверь, и ввалилось компания... девушка и двое ребят... Надюха, представил ее Юрчик... Надюха, подумал я, ну и хрен с ней... Я слушал, как они болтали, в полуха, и кушал, в смысле, пил свой борщ.

Надюха посмотрела на меня... я вспомнил про фингал и подумал: ну и хрен с ним...

- Что это вы пьете из банок? – спросила она.

Юрчик, так, как бы безразлично, но чувствовалось что с гордостью:

- Та вот, борщ сварил. Хотите?

Она с недоумением посмотрела на наши банки. Подошла к столу, помешала ложкой в кастрюле, посмотрела на Юрчика, потом на меня...

- Борщ?

И начала истерично смеяться... Она так заразительно смеялась, что и мы не выдержали. Я смотрел на всех на них, смеющихся. На себя, как бы со стороны, вспомнил свой фингал. Свою рожу. Самогонку. Сало. И подумал: какой хороший день получился.

Закончив «пить» свой борщ, я отгрынул, поставил пустую банку на стол и смущенно сказал Юрчику:

- Спасибо.

Надюха спросила:

- А запивать чем будете?

И снова у нее началась истерика.

Потом мы все болтали ни о чем... решали остаться в общаге играть в карты, или пойти пошататься.

Мне стало скучно. И я сказал:

- Позвонить домой надо. Пойду на главпочтамт... Пойдем со мной?

Все заныли: нет, далеко идти... Неохота ... пойдем лучше погуляем. А Надюха неожиданно сказала

- Я пойду с тобой.

Все как-то удивленно примолкли.

- Пошли... сказал я.

Мы шли пешком по летней запыленной улице. Трудно было начать болтать, но через минуту уже болтали, как будто знали друг друга вечность. У нее было замечательное чувство юмора, и смеялась она клево!

С Диной было все не так - подумал я. Она казалась мне тогда сложной и капризной, а с Надюхой... С Надюхой я душой отдыхал. Мы болтали, смеялись, а когда шли обратно, целовались прямо на улице.

- Чем больше живёшь, тем больше хочется - сказала она.

Моя рука сползла с ее спины на ее попу... Она прижалась ко мне всем телом, и мы поцеловались еще раз. И мне вдруг стало как-то легко и свободно.

- Ну? Ты меня узнала?- спросил я просто, чтобы что-то спросить.

- Да! - солгала она, не задумываясь. – Абсолютно.

Наши тела, наши губы, наши руки сплелись в одно целое и уже было непонятно, где заканчиваюсь я, и где начинается она... Ее губы стали настолько мягкие, что я мог и выпить.

«Эликсир бессмертия», мелькнуло в голове.

И я выпил...

#3

Я вспоминаю...

Нельзя было назвать ее красивой, но в ней было что-то, что привлекало внимание, на нас оборачивались и я понимал, что не из-за меня. Может, это ее улыбка или уверенность в себе.

Я знал ее всего одну ночь, но как печальны воспоминания о ней. Помню, шел по улице и внезапно увидел ее. Я не мог оторвать от нее взгляд. Мне очень хотелось дотронуться до нее. Она мне казалось нереальной. Я подошел... Улыбнулся... Она улыбнулась в ответ, и в этот момент я увидел французскую газету у нее в руке. Как же я расстроился. Я тут же хотел уйти, но по инерции, показывая на газету в ее руке, спросил, уверенный, что она не знает русского...

- Ты не из Жмеринки?

- Да!- ответила она неожиданно.

- В Жмеринке это второй язык, разве ты не знал?

- А первый?

- Идиш, конечно...

Мы легко и свободно упали в объятия друг к другу, и я думаю, мы догадывались, что эта встреча только на одну ночь, и что, скорее всего, на следующий день мы забудем друг друга. Может быть, легкое воспоминание останется. Но мы не думали об этом. Мы вообще не думали...

Я видел все в ее глазах, абсолютно...

- Я не нуждаюсь в тебе - сказала она, целуя меня и, улыбнувшись, добавила:

- Вообще-то мне нравятся другие мужчины. Не такие как ты.

- И мне тоже...

О чем это я, - мелькает мысль... Целую ее...

Как мы оказались в моем доме, полнейшая загадка. Но уже там, глядя на нее голую, подумал: «Может, в этом и есть смысл жизни. Кому нужны эти сложности? С этой философией... Когда передо мной... Ее глаза... Губы... Ее длинные и тонкие пальцы... И... Свобода... Свобода от ВСЕГО!

Ведь все так просто. Два человека встретили друг к другу на время одной ночи.

- Милый, обними меня. И держи... Не отпускай - шептала она.

И тогда, и сейчас я был абсолютно уверен, что это была любовь. Настоящая... Короткая, но настоящая... Любовь без чувства вины и объяснений.

- Лунный свет слишком яркий, майн либе... (мой любимый) - вспомнил я.

Как в тумане, смутно, я слышал ее стоны... Ее невероятно красивые пальцы вонзались в мою спину. А ведь боль... - Подумал я... - Боль! Оказывается, она бывает чертовски приятной...

Из приемника тихо звучала музыка... По-моему, Шопен, лениво подумал я.

И...

Она стоит в углу комнаты... На ней трусики и черная шелковая комбинация... Одна нога на стуле... Надевает колготки...

Ее черные волосы падают ей на плечи... Остановилась... Задумалась... Как же это красиво, - думаю я... Все в черно-белом, только ее губы чуть красные... Ах! Как жаль что я не художник...

Она медленно поднимает свои карие глаза и произносит:

- Вдруг, подумала: я ведь не знаю твоего имени...

- И я тоже... - говорю я.

И мы рассмеялись... И еще рассмеялись... Мы смеялись до слез... Мы были счастливы...

Счастье есть идеал не разума, а воображения - говорил Эммануил Кант, а я думаю, что счастье - это идеал не разума и не воображения, а идеал чувства! Идеал мгновения!

- Кто мы на самом деле?- глядя сквозь меня, спрашивает она.

- Я – высокий блондин и говорю на испанском, с аргентинским акцентом - улыбнулась и, возвратясь оттуда, где мысленно была, говорит:

- Кто? Ты? Нет! Ты - рыжий, среднего роста и говоришь со жмеринским акцентом!

- Не веришь... Не видишь, что я блондин?

- Мы, лесбиянки, очень недоверчивы...

- Кто?

- Лесбиянки... Недоверчивы... Но чертовски обаятельны...

- Ой! Не хочу даже слушать эти мансыс - говорю я со жмеринским акцентом.

И снова она смотрит сквозь меня, и снова где-то там...

Но через мгновение...

- Станный вы, евреи, народ... В Воскрешение Христа не верите, а в то, что Бог дал вам Тору, верите.

- Но это же ПГАВДА!- отчаянно говорю я.

И думаю...

Если жизнь состоит из мгновений? То...

И тут мой взгляд падает на ее великолепные ноги... А... Потом додумаю - говорю себе.

Вот она, наконец, надела колготки и смотрит на меня. Подходит... Приближает свое лицо так, что носы наши соединяются.

- Я не нуждаюсь в тебе - говорит она с мягкой улыбкой. И целует...

- И я могу жить без тебя - отвечаю я. И... Додумываю... Так вот: «если жизнь состоит из мгновений, то теряем мы не жизнь, а мгновения»...

- У тебя все очень сложно и серьезно - говорит Хана, закончив читать.

- А в жизни разве не так?

- Я думаю, что в жизни все много проще и не так серьезно...

- Хорошо, - говорю - специально для тебя, дорогая, заканчиваю эту сцену так: «хорошее мочеиспускание – это единственное удовольствие, которое можно получить, не испытывая потом угрызений совести»- сказал Эммануил Кант - улыбаюсь, и, с высоко поднятой головой, иду в туалет.

#4

Улица детства

До чего же хочется вернуться куда-нибудь... Где тебя ждут... Где тебе рады как-то по особому... Может, вернуться домой? Только не знаю, где он, мой дом...

Или, иногда, хочется нарисовать картину моря... пляжа... улицы... Да! Улицу моего детства...

Я представляю...

Лето... Жара ... Телега с лошастью прямо по середине улице, и лошадь испражняется прямо здесь, перед нашими глазами, пока биндюжник, вяло зевая, ждет, когда она все это закончит. А мы, пацаны, смотрим на них и нам страшно. Ведь лошадь такая огромная. И биндюжник тоже огромный и очень страшный. Глаза на выкате, и весь он - темно-коричневый от загара или от пыли... Неожиданно лошадь заржала, заржала очень громко. И мы, пугаясь всего этого, с воплями разбегаемся в разные стороны...

А вот и мама, еще совсем молодая... Я прижимаюсь лицом к ее животу, и... становится совсем не страшно. И запах, ее, мамин... Ах! Как же это здорово!

Еще хочется нарисовать папу – молодца - удалца... Бабушку... И себя... Или, может, только свою ладонь в бабушкиной теплой руке, на все полотно - только мою ладошку в бабушкиной большой шершавой ладони... И, может, еще ее, немного удлиненное, лицо в стиле Моды...

- Игнью... Ман таер бухер... (мой дорогой мальчик) - говорит она тихо... И целует меня.

Ах! Как же хочется все это написать маслом, тяжелыми, крупными, жирными мазками... Только где взять краски? Такие, как мне нужны... Такие, чтобы, смотря на все это... На эту картину... дух бы захватывало... Красный, желтый, зеленый... Это все не то... Это не те цвета...

Помню, мой сон... Знаешь... Когда ты берешь тюбик зубной пасты, выдавливаешь его, и из него медленно выдавливается паста такой бесконечной колбаской белого цвета, так вот, в моем сне эта колбаска, выходящая из тюбика, была какого-то необычно яркого цвета, и она переходила в другую

колбаску, другого яркого цвета, и они обе создавали какие-то новые, непередаваемые, яркие цвета...

Вот эти цвета мне и нужны для моей картины. Но у меня нет слов, чтобы их описать, и поэтому я не могу их достать или купить. Не могу же я объяснить продавцу про эти тюбики, про эти колбаски... разве он поймет?

Рабби Мендель говорил, что настоящий еврей не приемлет три вещи: абсолютное коленопреклонение, безмолвный крик и неподвижный танец.

Так вот, в картинах настоящих художников всегда присутствует безмолвный крик! Я помню... Я это видел. Как, например, у Хаима Сутина! Или Сальвадора Дали...

Безмолвный крик или неподвижный танец лошади на моей улице детства - это то, что нужно для моей картины.

А! Что с Вас возьмешь?- как говорила бабушка Поля,- разве вы поймете...

Или поймете?

Кстати, термин «любовь» происходит от санскритского «lubhyati», что означает «желание».

Вот так!

#5

Устал! Серьезно! Устал думать, устал писать... И Хана еще...

Каждый раз она выдает перлы...

Вчера она выдала в очередной раз...

- Если ты не знаешь, как это описать, значит, ты не писатель... Вот так! Не писатель и все!

Я вспоминаю...

Она выходит из комнаты... На ней темно-зеленое бархатное платье с красной брошью в виде цветка...

Я поражен... Я никогда не видел на маме это платье...

- Где ты его нашла?- изумленно спрашиваю я.

- Где? Где... - В шкафу...

Она осматривает себя в зеркале и, по-моему, ей нравится.

Платье на ней короткое и широкое в талии, но что удивительно, выглядит она в нем великолепно. Есть девушки, которые украшают мир, что бы они ни надели... Даже такое зеленое безобразие...

- Ну, скажи, ведь мне идет зеленый цвет... Правда?- склонив голову набок, спрашивает она - мне очень хочется тебе сегодня понравиться.

Левой рукой она держит подол платья, пока правая - за спиной... Затем она медленно достает правую руку, и, как у

волшебника, в ней оказывается черная мужская шляпа. Она кокетливо надевает ее на свою рыжую голову. Берет гитару, садится сверху на журнальный столик, кладет ногу на ногу и смотрит на меня...

- Спою тебе песенку.

- Так ты еще и поешь? - «изумленно» спрашиваю я.

Она не удостоивает меня ответом. Пробует пару аккордов на гитаре...

- Какую? - улыбаясь, спрашиваю я.

- «Тум – Балалайка».

- Ты не знаешь идиш...

- Знаю! - говорит она.

- Слушай и наслаждайся!

Тум – Бала, Тум – Бала, Тум – Балалайка,

Тум – Бала, Тум – Бала, Тум – Бала...

И, слушая ее, мне, как всегда не вовремя, приходит в голову мысль, что литература, живопись, музыка... искусство вообще – сводится к нескольким жизненным понятиям, о которых мы вольно или невольно постоянно думаем. Это Любовь, Жизнь, Смерть и...

Боль, которая сопутствует всему этому... Всего Четыре понятия! Вот из чего и состоит наша жизнь. И что интересно... что такое Любовь, и что такое Смерть, нам кажется, что мы знаем. А вот Жизнь... Что такое Жизнь? Или в чем ее смысл? Или зачем мы живем? Я не думаю, что знаем...

Тум – Балалайка, Шпил Балалайка

Тум – Балалайка, Тум – Бала...

И еще... нам нравится то или иное произведение по тому, как оно близко нам по переживаниям. Мы смотрим, слушаем, читаем и мы плачем, смеемся, завидуем, хотим быть там, с ним или с ней... или умираем вместе с ними... и думаем, может быть, вот в чем смысл всего этого... вот в чем смысл жизни... Или нет? И опять сомневаемся, если оно не объясняет нам, что такое жизнь. А боль... Боль – это другое... Боль не надо объяснять, она всегда с нами...

«Всю жизнь моей навязчивой идеей была боль, которую я писал бесчисленно» – говорил Сальвадор Дали.

Смотрю, как она увлеченно поет...

- А ведь все очень просто! – доходит до меня.

Жизнь и Боль – это, когда Она, рыжая, в темно-зеленом платье не по размеру, с черной мужской шляпой на рыжей голове, сидит на темно-коричневом журнальном столике и, скрестив свои великолепные ноги, перебирая на гитаре аккорды, читает мое любимое стихотворение Захаровой:

Ловите меня, я созрела
И если я шлепнусь сейчас,
Душистое, нежное тело
Размажется в липкую грязь,
И осы зловещею стаей -
Нет, роем, - слетятся на труп,
И Я никогда не узнаю
Тепла Ваших губ, Ваших рук!
И Вами не будет укушен
Мой бок... Ах, какая печаль!

Затем она подходит и, падая в мои объятия, заканчивает:

Я – груша. Я – спелая груша.
Я – сочная Бере-рояль.

Ну как мне описать все это? Нет! Хана права. Я – не писатель!

Я – художник! И это набросок, который я сделал для вас...
*Эдмонтон, Альберта,
Канада*



Конрад Берковичи

Прибыльная поэзия

Перевод и предисловие Марка Авербуха

Вступительное слово к переводу



Вероятно, не все знают, что во время Второй мировой войны выдающийся английский писатель-классик Сомерсет Моэм (W. Somerset Maugham) проживал несколько лет в США, активно участвуя в литературной жизни. Он писал книги, сценарии для фильмов, пьесы. В 1943 году, во время пребывания в США, издательство The New Home Library в Нью-Йорке предложило писателю составить антологию лучших рассказов на английском языке за предшествующие 50 лет. В 1943 году эта антология под названием *Современная английская и американская литература* была издана с обширным предисловием Сомерсета Моэма.

Среди напечатанных в антологии произведений мое внимание привлек рассказ писателя Конрада Берковичи (Konrad Bergovici) под названием *Прибыльная поэзия* (There's money in poetry) прелестная история в шолом-алейхемской традиции с живыми еврейскими характерами американского разлива. Его я и предлагаю вниманию читателей.

Два слова о писателе (материалы взяты из Wiki). Конрад Берковичи (1882-1961) родился в Румынии в еврейской семье. После смерти отца Конрад с семьей переехал в Париж, где работал по подготовке Всемирной выставки в Париже 1900 года. Поступил в один из университетов Парижа. После женитьбы на скульпторе Наоми Либреску переехал в Северную Америку, сначала в Монреаль, потом в Нью-Йорк, где работал на разных подсобных работах и начал сотрудничать в еврейских газетах. Первая книга на английском языке *Преступления в благотворительности* вышла с предисловием Джона Рида.

Конрад Берковичи дружил и общался с Полом Робсоном и его женой Эсси, Скотом Фитцджералдом, Эрнстом Хемингуэем, Чарли Чаплином, Мери Пикфорд, Дугласом Фейрбенксом.

Марк Авербух

Конрад Берковичи

Прибыльная поэзия

Мы плыли на трансатлантическом лайнере. Плотный мужчина, в возрасте где-то лет пятидесяти, голубоглазый, с залысинами протянул руку для знакомства и представился:

- Мое имя Левин. А ваше? Я кручусь в шелковом бизнесе, чем занимаетесь вы?

Я пробормотал, что это не имеет значения. После обеда, когда был сервирован кофе, старший офицер и капитан приветствовали меня и присели за наш столик на несколько минут. Я представил им своего попутчика, который, будучи ошеломлен, что такие важные господа со мной накоротке, снова спросил:

- Так в каком, все-таки, бизнесе вы заняты?

Мой ответ был весьма расплывчат. Мистер Левин взглянул на меня с подозрением.

Через час Левин фамильярно постучал по моему плечу.

- Послушайте, я выяснил, кто вы. Они мне сказали, что вы писатель. Какого черта вы не сказали мне это сразу? Не следует этого стыдиться! Такое случилось даже в моей семье. Спокойной ночи.

На следующий день мистер Левин решил поведать мне историю своей жизни. Я не рискнул остудить его намерение, наоборот, я поддался на его уловку. Для меня было разумнее покончить с этим как можно быстрее. Если человек решил рассказать вам историю своей жизни, избежать этого невозможно. Чем дольше вы стараетесь оттянуть неизбежное, тем более экзотичным оно будет выглядеть... и более далеким от истины. Ничего нет более скучного, чем придуманная любовная история не склонных к воображению выдумщиков.

После обеда я поднялся на палубу, сел в соседнее кресло и сказал:

- Вы хотели мне что-то рассказать? Валяйте, Левин, я слушаю.

Левин хмыкнул и забормотал.

- Короче говоря, вот как это было. Я вам расскажу ее вкратце, но, как говорят строители, «от нуля и до ключей».

Начну с Канторовича, который, как и я, в шелковом бизнесе. Он мой старинный друг, приехал в Америку одновременно со мной двадцать лет назад. Мы работали с ним в одном виде бизнеса. Иногда мы слегка конкурировали друг с другом. Иногда мы работали рука об руку. В основном, мы были друзьями. Иногда мы немного соперничали, иногда переругивались, иногда спорили, но когда я уже думал, что мы насовсем разбежались, Канторович покупает небольшой участок земли где-то в Бронксе и сообщает мне, что по соседству продается такой же, за ту же цену, которую платил и он, и мы строим наши дома по одному проекту, то есть, они должны обойтись нам дешевле, один архитектор и прочее. И мы становимся друзьями опять и надолго. Он имеет, что он имеет, я имею, что я имею, наши семьи дружат и все оллрайт.

Когда поднялся спрос на шелк, один из его сыновей, старшенький, как только окончил школу, пошел к отцу в бизнес. Отличный парень, влюбился в соседскую девушку, женился на ней, переселился в Вашингтон Хайтс и прекрасно там живет. Этот старший Канторович – копия отца. Что отец делал в двадцать лет, он делает в двадцать. Чего его отец добился к сорока годам, он добьется к сорока. Нормальный малый. Образцовый сын, которого желал бы иметь любой отец.

Но другой сын, Иззи – о, с ним все не так просто. Случилось так, что когда Иззи было двенадцать или тринадцать, школьная газета напечатала стихи, написанные самим Иззи, которые назывались *Индийский Вихрь*. И гордый Канторович расхаживает по округе и рассказывает каждому, что его сын поэт. Вставил стихи в рамку и повесил на стене своего офиса. Вы не могли проговорить с Канторовичем и пяти минут, чтобы он не показал вам стихи своего сына в рамке на стене. Однажды я пришел переговорить с ним о деле. Он показал мне картинку Иззи. Все это раздражало его старшего сына. Получается, что если он не написал стихи, значит он плохой сын?

Все это хорошо и прекрасно для мальчика в 13 лет, который не родился в этой стране, он пишет стихи, их печатают в газетах, все соседи гордятся им. Он уже знаменитость. Но мальчик окончил школу, отцу нужно, чтобы он приступил к изучению бизнеса, а Иззи даже не хочет слышать об этом. Вот это уже нехорошо. Он, представьте себе, хочет быть поэтом.

Около года мы ничего об этом не знали, не догадывались о спорах и беспокойстве в семье нашего друга. Канторович – человек гордый, обязанный успехами только себе, хранил секреты внутри семьи, не хотел их показывать окружающим. Но когда

парню уже 18-19 и он, кроме сочинения своих стихов, ничем другим не занимается, я стал приглядываться, потому что он приходил каждый вечер к нам домой читать моей Маргарет свои стихи. Поэтому однажды я сказал:

- Иззи, когда будет этому конец? Когда ты отправишься к отцу в его бизнес? Поэзия – это не тот бизнес, которым занимаются Канторовичи. Ты должен считаться со своей семьей!

В ответ Иззи выразительно посмотрел на меня, как будто я обругал его отца плохими словами, пожал плечами, опять же будто я обращался к нему на каком-то незнакомом языке, допустим китайском. Когда он ушел, дочь спросила меня, какое право я имею разговаривать с Иззи таким тоном, и она говорит мне, что Иззи – великий поэт. Ну, я ей сказал, что уже знаю об этом, что уже видел стихи Иззи, напечатанные в школьном альманахе несколько лет назад, но какое это имеет отношение к бизнесу? И если мальчик приходит в мой дом, я должен знать, чем он занимается. Бездельники в моем доме мне не нужны!

Прошло несколько недель, и однажды приходит ко мне Канторович, я вижу, что он чем-то очень обеспокоен. Тогда я ему говорю:

- Как дела, Канторович?

Канторович говорит, что с бизнесом полный порядок. Тогда я его спрашиваю, как здоровье? И он отвечает, что тоже полный порядок. Я удивился, чем же он обеспокоен. Наконец выясняется, что дело в Иззи. Как могло случиться, что в его образцовой семье, с таким отцом, и таким братом, где каждый член семьи в бизнесе, проживает такой нахлебник и ничего не делает. Я с ним толкую и толкую – говорит – но это, как об стенку горох. И что же будет дальше? – спрашивает он меня, и в его глазах слезы.

Словом, я успокоил его и сказал, что не стоит так переживать, рано или поздно все утрясется. При таком отце и таком брате быть иначе и не может... Я ведь знаю, что Иззи хороший юноша.

Мне все время хотелось сказать, что вина лежит на нем, Канторовиче, что он повлиял на ум ребенка, хвастаясь перед всеми стихами сына, повесил их в рамке у себя в офисе, отчего паренька повело в сторону, и он вообразил, что умнее всех. Я все же сдержался, но Канторович понимал все и без меня, и, наконец, признался:

- Я знаю, что здесь моя вина, но я был так горд и счастлив, откуда мне было знать, чем все закончится? Как я мог знать, что

он откажется делать то, что положено делать сыну, а будет бесконечно сочинять свои стихи!

- Не волнуйся – говорю я ему – все обернется. Иззи из хорошей семьи и кровь гуще, чем вода. А в вашей семье никогда не было поэтов?

- Нет – ответил Канторович – разве ты когда-нибудь слышал о таких профессиях в нашей семье. Не было банкротов, как и не было поэтов.

Вернувшись в этот вечер домой, я нашел Иззи, сидящим рядом с дочерью на диване. Он читал ей свои стихи, напечатанные в газете. Я крепко рассердился и сказал, что он не имеет права огорчать своих родителей и позорить семью, бездельничая и занимаясь рифмоплетством. Сказал, что, как близкий друг его семьи, я бы промолчал, но ему нечего рассиживаться с моей Маргарет на диване и читать ей свои стихи. Я хорошенько его отчитал. Сначала он должен повзрослеть, стать мужчиной, а уж потом разговаривать с моей дочерью. Тогда Иззи разозлился, а моя Маргарет стала разговаривать со мной так, как раньше никогда себе не позволяла – сказала, что она живет в Америке, а не в России. Я ответил моей Маргарет, что для женщины я допускаю такую вольность. Если ей нравится читать стихи или честно делать что-то другое я не возражаю, но для парня, чья семья занята бизнесом – это позор. Я не могу допустить, чтобы он приходил в наш дом.

Я-то думал, что моя Маргарет не посмеет послушаться родного отца и перестанет встречаться с ним, и все утрясется. Но мы ведь живем в Америке, женщины стали независимы, даже в семьях, где их кормят. Конечно, если женщина работает и сама себя содержит, тогда другое дело. Но оказалось, как вы увидите позднее, что все обернулось нормально, несмотря на то, что я чуть было не умер, и, более того, в результате отправился путешествовать на родину.

Вы должны бы видеть Канторовича в те дни. Он потерял покой и нервничал больше, чем его отец за всю жизнь. А его отец, должен вам сказать, мог поговорить даже о политике, как будто судьбы мира водружены на его плечи. Канторович беспокоился о будущем своего мальчика больше, чем о своем бизнесе. Он, бывало, сидит в моем офисе и рыдает как дитя. Его мальчик подкачал! Его сын из года в год опускается все ниже! Ему уже 21, все из рук вон плохо, а его ничего больше не интересует, кроме поэзии и счастлив он лишь при виде напечатанных в каких-то журналах стихов.

Бывало Маргарет читала их мне, и когда она это делала, то звучало вроде нормально, однако все стихи были о рассветах, закатах, цветах, ручьях – вообще о природе, и я однажды сказал:

- Послушай, что он сделал за те пять лет, что пишет стихи? Две напечатанные журнальные страницы. Это что, достаточно работы для мужчины за пять лет? Никто же не возражает, чтобы мужчина сочинял стихи... но только после работы, когда у него появляется свободное время. Никто не может заниматься поэзией 8 часов в день, даже социалисты говорят, что у рабочего должен быть восьмичасовой рабочий день.

Она вздохнула, и ее укоризненный взгляд говорил одно: «тебе не дано это понять», – и с тех пор она никогда не читала мне его стихи, а я больше не говорил о нем.

Канторович же просто потерял голову, как такое несчастье могло случиться в его доме, как это один из его сыновей не желает заниматься серьезным делом. Я и сам страшно переживал. Надо же, ко всем беспокойствам, связанным с делами в бизнесе привязалась еще такая напасть в Америке. Поэзия!

Однажды Канторович приходит в мой офис, и я сразу вижу по его поведению, что он просто очень счастлив. Ни один самый большой заказ не мог бы сделать его счастливее, ни один! А я и думаю, что могло с ним случиться? В это время я разговаривал с моим работником, но сразу прервался и отвел его в сторону:

- Что случилось, Канторович? Говори быстрее, я умираю от любопытства.

Он был так возбужден, что не мог произнести ни слова. Наконец его прорвало:

- Ты был прав, Левин, ты был прав. Мой Иззи наконец взялся за ум. Кровь гуще, чем вода. Сегодня утром он занял должность в А.Г.Б. Шелковой Компании и отправляется на следующей неделе продавать наш товар! Мой мальчик сохранил мне жизнь.

И Канторович разрыдался как ребенок.

Я, конечно, очень обрадовался, не могу даже описать вам, каким счастьем это меня наполнило. Самый большой заказ на товар не принес бы мне столько радости. Я говорю Канторовичу, что у меня намечено большое совещание, но это все может ждать до завтра. Мы пошли с ним в ресторан, распили за обедом бутылку вина, и оба были очень счастливы и вспоминали нашу старую родину, наших общих знакомых и вообще говорили обо всем. В конце концов, мы довольно неплохо преуспели в новой стране.

Все олайт, и наши дети олайт. Бояться ничего не надо и кровь гуще, чем вода.

Я вернулся домой, рассказал все жене, но когда Маргарет, моя дочь, услышала, что Иззи взялся за ум и собирается стать коммивояжером, она начала плакать и рыдала так, словно ей сообщили ужасную новость. Я подумал себе, понять этих женщин совершенно невозможно. Никто никогда их не понимает, поэтому и мне не понять, почему она плачет. Я все же сообразил, что не избыток счастья служит причиной плача, поэтому я не стал ее расспрашивать, но подумал, может это оттого, что он будет разъезжать, и она не сможет его видеть чаще, чем бывало. Я ведь знал, что она, вопреки моей воле, все равно с ним встречается. В этой стране женщины все равно независимы, поэтому отцы могут только настаивать на исполнении своих приказов, но потом они должны закрыть глаза на происходящее, т.к. их приказам никто не собирается подчиняться.

Через месяц Иззи вернулся из своих странствий. Его невозможно узнать, новый человек. Приличная короткая прическа, отутюженный костюм. Коллеги по А.Г.В. компании им очень довольны. Я позвонил им, чтобы выяснить, удовлетворены ли они его работой. Теперь я решил себе, если он придет к моей Маргарет, я промолчу, так как я смекнул, что для нее Иззи не безразличен. Ну и что вы думаете произошло? Когда он пришел к ней, она не захотела с ним разговаривать, была обозлена, что он бросил писать стихи. Женщины, конечно, сейчас наделены политическими правами, но они глупы, как и прежде. Им не нужен хлеб, они хотят ювелирные цацки и ... поэзию.

Словом, Иззи опять отправился путешествовать, его отец очень счастлив и говорит мне, что его мальчик за два месяца освоил бизнес лучше, чем любой другой мог бы его изучить за десять лет. А почему бы и нет? Канторовичи занимались шелком две сотни лет. Мальчик изучил шелк с такой же легкостью, как выходец из семьи музыкантов способен постичь тонкости музыки. Он в нем родился. Ему не нужно было бегать в колледж, чтобы изучить бизнес и научиться отличать шелк от хлопка. Но я ничего не сказал, раз отец счастлив, и все олайт. Канторович был без ума от своего парня. Ведь поэзией и не пахло в его семье, а он развонил на всю округу и повесил рамку со стихами на стене офиса. Что же касается шелка, то можно ли быть Канторовичем и не разбираться в нем?

Между тем, каждое утро, когда я выхожу из дома, я вижу письма на имя моей Маргарет из разных мест, но я молчу. Парень ездит туда-обратно, и каждый раз, когда возвращается, он

встречается с Маргарет. Иногда она разговаривает с ним по-одному, в следующий, по-другому – холодно, горячо – но я молчу. Наблюдаю. Я всегда верил, что кровь гуще, чем вода. И, кроме того, в моей семье еще никогда не было поэта.

Между тем, его старший брат, который был в партнерстве с отцом, отделился и открыл собственное дело. Иззи стал партнером отца. После этого, с отцом стало невозможно разговаривать, настолько он был горд таким оборотом дела. Он нагружал его работой 24 часа в сутки, боялся, что Иззи вернется в свою поэзию.

К этому времени поступает в торговлю новый сорт шелка и все оптовые базы в городе получили образцы новой продукции. Иззи смотрит на кусочки шелка, оглаживает, ласкает, вдыхает их аромат. Такое трудно повторить! Оптовикам прислали наименование нового сорта шелка – я не помню какое – но Иззи смотрит на образец, щупает, нюхает его, гладит его по своей щеке, губам, ну точно как сбрендивший, и потом выдыхает:

- *Индийский Вихрь*.

И его глаза сверкают от восторга. Когда он прикасается к шелку, его лицо краснеет, будто после выпитого вина.

- Только так – повторяет он – *Индийский Вихрь*.

При оформлении заказа на партию товара, он потребовал, чтобы на кайме каждого отреза было напечатано *Индийский Вихрь*, и материал должен быть доставлен в специальной упаковке из подкрашенной шелковой бумаги.

Индийский Вихрь мгновенно завоевал рынок, он пользовался невиданным спросом. Женщины покупали только *Индийский Вихрь* и не иначе как с круговой *индейсковихревой* каймой, шелк без каймы их не интересовал. Заказы поступали в таких размерах, что они почти вывели из бизнеса всех остальных конкурентов.

- Это точно такой же шелк, как и остальные – объяснял я покупателям. Но бесполезно, их интересовал только *Индийский Вихрь*. А уж как возгордился Канторович, демонстрирует каждому, кто заходит к нему в офис, стихи под названием *Индийский Вихрь* в рамке, все еще висящие на стене. Однажды, когда я пришел к нему, он решил мне польстить:

- Левин ты таки был прав, вот какой у меня парень!

И я должен был с ним согласиться, если человек прав, то он прав, даже если это бьет по твоему бизнесу.

Иззи стал немного чаще захаживать к нам. Бизнес растет. Канторович и Сын делали уйму денег. Он и Маргарет встречаются, и он сорит деньгами, как будто это пенни. Я молчу. Иногда они

счастливы, иногда нет. Однажды они пришли домой и сказали, что они поженились. Вот так, даже не предупредив. Они хотят справить свадьбу, но без всякой официальной церемонии. Этот парень всегда был немножко эксцентричный, несмотря на успехи в бизнесе. Их решение мне пришлось по душе и спасло кучу денег, потому что отец невесты должен оплачивать все свадебные расходы. Кроме того, из деловых соображений я должен был оплачивать свадебный ужин на 500 персон по 10 долларов на каждого. Посчитайте сами, пожалуйста. В этой стране ты никогда не знаешь, с какой семьей породнится твой ребенок. А здесь другое дело, я знал Иззи с малых лет, он оказался успешным бизнесменом и с мозгами, способными дать название шелку *Индийский Вихрь*, с такими продвинутыми идеями. Словом, мы были очень счастливы.

По окончании сезона люди из шелкоткацких компаний начали показывать новые образцы. Я был очень занят, отбирал новые образцы, когда пришел Канторович, и по его лицу было видно, что его что-то беспокоит.

- В чем дело? - спросил я.

- Это мой Иззи, он не появляется в офисе уже три дня

- Почему?

- Я ему звонил много раз, а он отвечает, что занят и чтобы я его не беспокоил, у него нет времени прийти в офис. Левин, он теперь немножко и твой сын, помоги мне.

Я вернулся домой, но ничего жене не рассказал, какая польза, только ее расстраивать!

Когда у человека есть единственная дочь и ничего, кроме бизнеса, и если к тому же он уже не так молод, смею вас уверить, что любая пища, которую я пробовал в этот вечер воспринималась, как отрава. Что Иззи имеет в виду, не появляясь в офисе три дня, и родному отцу грубит, что значит, нет времени? Нет времени для бизнеса? Как это возможно?

Я спросил жену, видела ли она Маргарет, и она сказала, что она ей звонила и просила ее прийти, но Маргарет ответила, что она занята и не нужно ее беспокоить. И так как я помнил, что моя дочь не хотела смириться с мыслью, что Иззи бросит сочинять свои стихи, я похолодел от ужаса. Вы никогда не поймете этих женщин.

Словом, я не выдержал и после обеда сказал жене, что должен идти на важную встречу в синагоге, взял первое подвернувшееся такси и поехал в даунтаун к Вашингтон Скверу, где они жили. В такси я все время думал, какие такие важные дела у детей, и удивлялся, почему они избрали такое божественное место

для жилья. Есть замечательные дома в Вашингтон Хайтс, а еще лучше в Бронксе. Зачем им жить на Вашингтон Сквер? Он хоть и стал бизнесменом, но все равно в нем были некоторые странности, да и Маргарет, хоть и была моей дочерью, но у нее полно глупостей в голове. Словом, я отпустил такси и нажал звонок, но на сердце у меня было так тяжело, словно я должен навестить больную родственницу, или пойти на встречу с кредиторами обанкротившейся фирмы. Когда служанка открыла дверь, и я вошел, мое сердце упало. Представьте, сидит Иззи за столом, а напротив него моя Маргарет, Иззи опять отрастил свои длинные патлы и курит трубку, а на столе множество книг. И весь дом вообще не похож на дом бизнесмена. Мебель другая, полно кушеток и подсвечников. Почему подсвечники я так и не понял, если в доме электричество, тут же Новый Свет, не старая родина?

- Минутку, старина – говорит мне Иззи и читает мне стихи из книги, потом ужасно возбуждается, потому что Маргарет с ним не соглашается. Когда Иззи, наконец, закончил чтение, Маргарет говорит:

- Обожди, папа, посиди минутку. И она читает мне другие стихи из книги.

Словом я вижу, как поэтическая болезнь опять завладела ими, и я просто удивлен, что это могло случиться с моей дочерью и сыном Канторовича, которого я знаю с самого детства. Я увидел крах всех моих надежд! Если бы пропасть разверзлась передо мной, я должен был бы туда прыгнуть. Они не обращали на меня никакого внимания, как будто меня не существовало. Иззи вытаскивает книгу и читает. Маргарет берет еще одну и опять читает свои варианты, и они спорят о вещах, в которых я ничего не соображаю. Он сосет свою трубку, она курит сигарету, а я чувствую, что вот-вот умру, мое сердце замирает. Я просто не выдерживаю, встаю и кричу:

- Дети, что с вами творится? Иззи, опять за старое? Ты забыл, что ты женат, опять потянулся к своей поэзии! На кого ты стал похож?

Иззи смотрит на меня, словно он видит величайшего идиота, живущего на земле. Потом он улыбается мне, берет со стола книгу, и я могу сказать, что в этот самый момент радость, невыразимая словами, галопом возвращается ко мне.

Я увидел, что между секциями книги проложены кусочки образцов шелка, сквозь которые можно рассмотреть названия стихов, предназначенных для новых партий шелка. Эти названия так же поэтичны, как и *Индийский Вихрь* для первой партии.

Вот видите, there is money in poetry. Но для этого нужно быть американским парнем и знать, как это воплотить в реальность... не то, что на моей старой родине, где поэты голодают на чердаках.

- Сейчас я заболел, и доктор предписал мне отдых. Поэтому я решил посетить мою старую родину.

Так почему же вы не признавались, что вы писатель? Не надо этого стыдиться.



Франсуаза Саган

Два рассказа

Перевод Эдуарда Шехтмана

А солнце так светило...



это утро Люк хорошо, без единой царапины, побрился. На нём был полотняный цвета беж костюм - такой элегантный - привезённый из Франции прелестной Фанни, его женой. За рулем открытого «Понтиака» Люк катил на киностудию «Уондер Систерс», дорогой насвистывая, несмотря на лёгкую зубную боль, невесть откуда взявшуюся.

Вот уже десять лет как Люк Хаммер играл роль Люка Хаммера, а это значило, что уже десять лет он был: а) блестящим актером на вторые роли, б) верным мужем жены родом из Европы, в) хорошим отцом своей троице, г) безупречным налогоплательщиком и - при случае - нескучным собутыльником. Он умел плавать, пить, танцевать, галантно извиняться, заниматься любовью, вовремя исчезать, выбирать из двух зол меньшее, брать своё, мириться с неизбежным. Ему было около сорока, и на экранах телевизоров все находили его в высшей степени симпатичным. По всему по этому сегодня утром он достиг Беверли-Хиллс в безмятежнейшем расположении духа, направляясь напрямик к роли, которую ему подыскал его агент и которая, вероятней всего, была припасена для него Майком Генри, патроном «Уондер Систерс». Деловое свидание обещало пройти как по маслу, жизнь шла как по маслу и как по маслу было всё со здоровьем.

У оживлённого перекрёстка на бульваре Сансет Люк помедлил прежде чем зажечь сигарету, свою обычную ментоловую сигарету по утрам. Нужна ли она сейчас, думал он, когда и земля, и небеса, и солнце словно сговорились помочь ему продолжать. Продолжать поглощать кетчуп и бифштексы, покупать без помех авиационные билеты, радоваться детям, жене, вилле с садиком, которую он выбрал себе - раз и навсегда - десять лет назад (тогда же, когда и своё христианское имя и фамилию Люк Хаммер). Не начнётся ли у него от сигарет одна из тех

ужасных и неизлечимых болезней, о которых теперь столько толкуют газеты? Может быть, именно эта сигарета будет той каплей, что переполнит чашу, мера которой неизвестна его врачам и ему самому? Мысль на миг его удивила, потому что показалась оригинальной, а оригинальные мысли ему в голову не приходили. Несмотря на свой броский вид, Люк Хаммер был человеком скромным. Он долго считал себя закомплексованным, даже робким - и это до тех пор, пока некий психиатр глупей или ненормальней, или правдивей прочих не убедил его, что он - парень в большом порядке. Психиатра звали Роллан, был он алкоголик, и Люк, улыбнувшись этому воспоминанию, выбросил полумашинально едва зажжённую сигарету в окно. Какая досада, что жена сейчас его не видит. Ведь Фанни, не жалея времени, увещевала его соблюдать умеренность в спиртном, в курении и, разумеется, в любви. Любовь - речь идёт о любви физической - была почти изгнана из их отношений с тех пор, как Люк, а, точнее, врач Фанни обнаружил у него самое начало тахикардии; не то чтобы она была опасна, нет, но это могло помешать ему, к примеру, в вестернах или фильмах с захватывающими дух погонями, в которых он рассчитывал сниматься ещё годы и годы. Следует сказать, что Люк без энтузиазма встретил это ущемление его супружеских прав, но Фанни так настаивала, она повторяла вновь и вновь, что прошло время, когда они были любовниками и любовниками страстными, добавляла она - при этих словах подобие сладостного беспамьятства туманило разум Люка - и что теперь он должен суметь отказаться от некоторых вещей и быть прежде всего отцом Томми, Артура и Кевина, которые, сами того не сознавая, нуждаются в нём, чтобы преуспеть в жизни. В нём, с его сердцем, бьющимся размеренно, каждый день, всегда, как безупречная электронная машина. С таким сердцем, а не с тем зверьком, ненасытным, полужамученным, молящем о пощаде, о счастье - меж простыней мокрых от пота, - с сердцем, ставшим просто средством для спокойного перекачивания крови по артериям, тоже спокойным. Спокойным, как иные улицы в иных городах летом.

Конечно, она была права. И Люк в это утро был особенно рад, что хоть сейчас сумеет вскочить на коня в галопе перед самым глазком камеры, сумеет отмахать многие километры, сумеет под палящим солнцем вскарабкаться по склону крутизной 25° и даже, если это потребуется и потому что сейчас это модно, сумеет имитировать оргазм с какой-нибудь начинающей актриской перед съёмочной группой из полусотни человек, столь же холодных, как и он сам. На удивление холодных.

Ему оставалось миновать ещё несколько кварталов, потом он повернёт направо, потом налево, потом въедет в большой двор, оставит «Понтиак» на попечение Джимми, славного малого, ну а потом - после обычных, уже ставших ритуальными, шуточек - подмахнёт подготовленный его импресарио контракт у старины Генри. Вторая роль, конечно, но отличная вторая роль, одна из тех вторых ролей, о которых говорили, что он, Люк, находит в них какую-то тайну. Странное, если подумать, выражение: «находить тайну», и так всегда, в ролях без тайны. Он вытянул руку и тут же поймал себя на мысли, что любит собственную кисть - так она была ухожена, кожа такая чистая, загоревшая, линии чётко, по-мужски, очерчены - и он снова поблагодарил Фанни. Парикмахер и маникюрша приходили два дня назад, приглашённые ею, и, значит, благодаря ей же его волосы были не слишком длинными, а ногти не слишком короткими. Всё было на редкость гармонично. Вот разве что немного короткими у него были... мысли?

Эта фраза его поразила. Будто яд какой-нибудь, вроде ЛСД или цианистого калия, вдруг заполнил вены Люка Хаммера: «Короткая мысль... у меня короткие мысли?» Машинально, как после удара, он повернул вправо к обочине, и заглушил мотор. Что бы это значило, «короткая мысль»? Он был знаком с умными людьми, даже с интеллектуалами, а также с писателями, и все они гордились им. И вот, на тебе, эти слова - «короткая мысль» - словно вонзились ему в переносицу; у него было точно то же ощущение, что и двадцать лет назад, от мук ревности: он, тогда моряк, застал свою девчонку в объятиях лучшего друга на пляже в Гонолулу. Люк попытался увидеть себя со стороны и привычным движением склонился к зеркалу заднего вида... Конечно, это был он, красивый и мужественный, а едва заметную кровяную жилку в глазу следовало приписать, он об этом догадывался, лишней кружке пива (или двум), выпитой накануне перед сном. Под этим яростным солнцем Лос-Анджелеса, в своей бледно-голубой рубашке, в почти белом бежевом костюме, с этим узорчатым галстуком и этим легким загаром, наполовину морским, наполовину обязанным дивным аппаратам, добытым где-то Фанни, он являл собой образец воплощённого здоровья и душевного равновесия. Он знал это наверняка.

Тогда чего же он остановился, как какой-нибудь кретин, здесь, у тротуара? Почему тогда не решается снова запустить мотор? Отчего он вдруг покрылся потом, почувствовал жажду и страх? И почему должен пересиливать внезапное желание рухнуть на сиденье машины, смять в тряпку свой безупречный костюм и кусать пальцы? (Кусать до тех пор, пока не брызнет кровь, его

собственная кровь, пусть наконец он увидит, что ему плохо по понятной причине. Во всяком случае, по причине точной...). Он протянул руку и включил приёмник. Пела женщина, может быть, чёрная женщина. Да, конечно, чёрная, ведь что-то в её голосе немного успокаивало его, а он знал по опыту, что чёрные женщины... точнее, их голоса... слава богу, он никогда не спал с ними (отнюдь не потому, что был расистом, как раз потому, что не был им), короче, эти голоса чёрных женщин, то льющиеся мёдом, то хриплые, создавали у него впечатление душевного покоя. И странным образом - одиночества. Они его будто подменяли - так, наверное, - потому что с Фанни и детьми он был кем угодно, только не одиноким человеком. Но было также в этих голосах нечто, что с несомненностью пробуждало в нём ощущение его юношеской поры: снова эта старая смесь - незащищённость, заброшенность, страх. Женщина пела песню уже чуть забытую, чуть старомодную, и он поймал себя на том, что прислушивается к словам с беспокойством, близким к панике. Может быть, ему надо опять навестить своего психиатра-алкоголика и полностью провериться, со времени последней проверки прошло добрых три месяца, а ведь Фанни говорила, что за здоровьем своим он должен следить неукоснительно. Что жизнь на нервах и напряжение в его ремесле - не пустые слова. Да, он пойдёт к врачу, он заставит себя сделать электрокардиограмму, но пока... пока он должен сдвинуть с места машину, сдвинуть с места Люка Хаммера, вторую роль, своего двойника, самого себя, он сам уж не знает кого, но любой ценой сдвинуть с места. И всё это он должен доставить на студию. Кстати, недалеко отсюда.

«Что слышишь ты?» - пела женщина в приёмнике. «Кого ты ищешь?» и - боже мой - какие же там слова дальше? Люк так хотел их припомнить, будто желал обогнать эту песню с единственной целью выключить радио, но память отказывалась повиноваться, а ведь он песню знал, пел, наизусть знал. В конце концов ему не двенадцать лет и на него это непохоже - оставаться здесь, приткнувшись к тротуару из-за слов старого блюза, когда его ждёт контракт что надо, а опоздание, чего доброго, вызовет неудовольствие, особенно опоздание актёра на вторые роли - в этом славном киногороде Голливуде.

С усилием, показавшимся ему непомерным, он снова протянул руку, чтобы выключить приёмник, чтобы «убить» эту женщину, которая пела и которая могла бы быть - подумал он в каком-то помрачении, - которая могла бы быть его матерью или его женой, его любовницей или его дочерью. И, протягивая руку, он осознал, что совершенно взмок: его прекрасный бежевый

костюм, манжеты, ладони - всё будто оросил чудовищный пот. Он практически уже не жил, он понял это в секунду и удивился, что не испытывает ни волнения, ни физической боли. Женщина продолжала петь... он, против желания, уронил свою мужественную, хорошо ухоженную руку на колено и, точно в безмятежном сне, стал ждать неизбежной смерти.

- Послушайте! Эй, послушайте! Мне очень жаль...

Кто-то пытался с ним заговорить, было ещё человеческое существо, которое хотело что-то сделать на этой земле для Люка Хаммера, но вопреки своей обычной вежливости, он не нашёл в себе решимости повернуть голову. Шаги приближались, очень мягкие шаги. Это было странно, могла ли смерть носить домашние туфли? И вдруг он увидел почти рядом с собой красное квадратное лицо, чёрные как смоль волосы и услышал голос, такой громкий - или ему показалось - во всяком случае, заглушавший голос этой женщины из приёмника, далёкий и вместе близкий.

Он наконец разобрал слова:

- Мне очень жаль, старина, что так получилось. Я не видел, как вы здесь остановились, а моя водяная вертушка уже закружилась - бегонии тоже хотят пить... Вы промокли, верно?

- Ничего, - одними губами ответил Люк Хаммер и на миг опустил веки, потому что от мужчины несло чесноком. - Ничего. Меня это освежило. Значит, ваша водяная вертушка...

- Да, - заспешил человек-чеснок, - это новая модель, мотор чертовски мощный. Я могу запустить его прямо из своей комнаты. Я без всяких так и делаю - тут никогда и никто не останавливается...

Он оглядел мокрый костюм Люка и решил, что перед ним, видно, человек приличный. Он его, конечно, не узнал: Люка узнавали не сразу, а «потом», когда говорили людям, что это был он, который в таком-то фильме был тем-то. Фанни, впрочем, очень хорошо всем объясняла, почему они узнавали его «лишь потом»...

- Ну, короче, - проговорил мужчина. - Мне очень жаль, ладно? Но, кроме шуток, чего это вы тут бросили якорь?

Люк поднял на него глаза и тотчас их отвёл. Ему было стыдно, он сам не знал, почему.

- Просто так, - ответил он. - Я остановился, чтобы зажечь сигарету. Я ехал на студию... вы её знаете, это рядом... а зажигать сигарету за рулём - опасно... собственно, что я, это глупость... я хотел сказать...

Человек-чеснок отошёл на шаг и разразился смехом:

- Ах ты, скажите на милость! Если это единственная опасность в вашей жизни - зажигать за рулём сигарету или быть облитым водой... вы рискуете не очень-то многим, а? Мне пора, ещё раз извините.

Он звучно хлопнул, нет, не по плечу Люка, а по плечу машины и удалился. Слабая, вымученная улыбка тронула губы Люка. «Вот он я... я, который во многом себе отказал, которому отказано в любви; я, который даже не способен умереть, но прощался с жизнью из-за какой-то садовой вертушки; вот он я... всё это просто смешно...» Он посмотрел на себя в зеркало - в последний раз - и увидел, что глаза его полны слёз. И вдруг он вспомнил слова песни, которую пела эта женщина, чёрная, а, может быть, белая. Я здоров, подумал он, здоров как никогда.

Пять месяцев спустя Люк Хаммер, актёр на вторые роли со студии «Уондер Систерс», слывший уравновешенным человеком, покончил с собой в комнате ничем не примечательной проститутки, приняв большую дозу снотворного. Никто не мог объяснить, почему он это сделал, и даже он сам этого не объяснил бы. Его жена и трое его детей держались, говорят, с удивительным достоинством во время траурной церемонии.

Музыка на исходе ночи

Эта мелодия пришла ему в голову в конце вечеринки, она показалась такой пленительной, что, бросив всех, он сбежал в прихожую записать в свою адресную книжку первые такты: до-ми-си, си-ля-соль ... Он услышал ее сначала для фортепиано, но радость, но свобода в этих начальных нотах требовали большего. Насвистывая, он развязывал шнурки, забыв на минуту о сцене, что затеяла Анита в машине - совсем недавно.

- Ты меня слышишь? Я уж не спрашиваю тебя, слушаешь ли, но слышишь?

Анита повернулась к мужу с лёгкой гримаской на красивом лице, которая, мнилось ей, была отчасти скорбной, отчасти язвительной. Она и на миг не представляла себе, что нос её может блестеть, что её первые морщины жестоко проступают в эту пору летней зари. И сейчас недостаток воображения обнаруживал себя куда неприятнее, чем обычно. Впрочем, «недостаток» не то слово, потому что у неё мог быть и преизбыток воображения, но только в единственном смысле: когда речь шла о её претензиях к нему.

Как птица вьёт свое гнездо, так Анита копила понемногу незначительные эпизоды, самые разные, порой даже противоречивые, но которые ей удавалось чудесным образом

согласовать между собою. Подбив итоги, она в один прекрасный день выкладывала ему, что там получилось - торжествующе и с массой примеров, подтверждающих её теории, а теории эти основывались на легкомысленности, равнодушии, даже снобизме, присущих Луи.

- Я тебя слышу, - отозвался он вяло.

Да, джазовый темп - вот что, наверное, ему нужно: контрабас, прежде всего, затем кларнет и, может быть, банджо...

- Не понимаю! Правду сказать, не понимаю, Видно, я идиотка ...

«Есть вещи, которые не надо бы упоминать», - мельком подумал Луи не без весёлости. Но тотчас же придал лицу выражение холодное, почти сердитое, словно предположение об идиотизме Аниты по самой своей абсурдности звучало нелепицей, неуместной в серьёзном разговоре.

- Я тоже не понимаю, - сказал он. - Это была вечеринка как любая другая...

Она победительно всохотнула и непринужденно уселась в кресло прямо перед ним, руки утвердив на подлокотниках, с решительным блеском в глазах, и блеск тот означал, что это, увы, не просто плохое настроение, которое он мог бы как-то улучшить, а один из её приступов нудного многоговорения. Он вздохнул и зажёл сигарету, блаженно пошевеливая пальцами разутых ног.

-...Ты сказал именно то слово, бедняжка Луи: «вечеринка как любая другая». Не лучше, не хуже - бесполезная вечеринка. Ну что тебе, в самом деле, могут дать все эти снобы?

С тех пор, как он получил в Голливуде Оскара за лучшую музыку к фильму, прошёл уже год, и было правдой, что некоторые светские салоны в Париже устраивали праздники в честь Луи; правдой было и то, что он с детским удовольствием принимал эту атмосферу роскоши, гостеприимства и комплиментов, того, чего ему так недоставало годы и годы. «Чего недоставало нам», - со всей искренностью подумал он, ведь Анита не раз сетовала на свою жизнь - тот её период, что она называла «тощими годами»¹. Ее неприязнь, ныне подчёркиваемая, к тому, чего она так желала, казалась ему чересчур уж скорой. Она была красивой женщиной, хорошо одевалась, она делала это с видимым удовольствием, и Луи спрашивал себя, что за злобность в ней питала эту неприязнь, всё более нарастающую. Она продолжала:

¹ Переключка с библейскими «коровами тощими» и «коровами тучными».

- Знаешь ли ты, к примеру, что сказала мне твоя милая подружка Лаура Кноль? Угадай!..

- Ни за что не угадаю, - уронил он сухо.

- Я так и думала. Она имела наглость сказать: «Чему я завидую, моя маленькая Анита (говорилось это голосом писклявым и дурашливым, весьма отличным от красивого голоса Лауры Кноль), чему вам завидую... не сегодняшнему успеху Луи, а вашим трудным годам: жить с творцом - это, должно быть, чудеснейшая вещь!... Что там безденежье... тьфу!»

Она произнесла последнюю фразу с саркастическим одушевлением, и у Луи возникло желание пояснить ей, что, в конечном счете, фраза эта не была сама по себе такой уж фальшивой, а ещё желание - более жестокое - втолковать, что Лаура Кноль вряд ли и ошибалась, потому что эти трудные годы, эти тощие годы были годами, наполненными их любовью: эти семь лет он был безумно в Аниту влюблён, абсолютно очарован ею. И если начало «годов тучных» совпало с угасанием его страсти, то, по совести, в том не было вины его, Луи. Он принёс свой успех ей, он триумфально его положил к её ногам; глупо, может быть, но он хотел разделить этот успех только с ней. Откуда же проявилась в ней эта жесткая, с презрительной миной, умствующая зануда, новая женщина, которую он никогда не знал, на которой не собирался жениться и которой даже не имел охоты об этом сказать? Он не думал уже ни о чем другом, кроме одного - раствориться, исчезнуть, уйти...

Она настаивала, задирала его или пыталась задирать:

- Тебя это не трогает? Наглость этой богатой гусыни, завидующей нашему нелёгкому прошлому, не трогает тебя? Ах да, ведь Лаура Кноль неприкасаема, она...

- Чего ты там выискиваешь? - сказал он, нервно отворачивая голову.

Потому что на этот раз она попала в точку: Лаура ему нравилась несмотря на её норковые манто, и он даже рассчитывал, если слегка повезёт, стать - притом очень скоро - её любовником. В течение вечера она ему по-свойски порой улыбалась, и эта нежная улыбка и взгляд голубых глаз, улыбку сопровождающий, мог породить надежду у кого-нибудь ещё менее притязательного, чем он. Луи хмыкнул. Вот уже пару лет случаи романтического свойства множились, но если он и воспользовался ими раза три-четыре, то всё это было обставлено такой бездной предосторожностей, что намёки Аниты били мимо цели. И так, он пожал своими невинными плечами, поднялся, потянулся и направился в ванную. Голос Аниты когтил его и тогда, когда он

остановился перед собственным отражением в зеркале, отражением мужчины тридцати пяти лет, чуть уставшего, чуть задумчивого, но - чего уж там - с хорошей головой.

- Представляю, как я тебе надоела, - доносилось из комнаты, - но если я не скажу тебе правды, то кто её скажет? Ты ведь нуждаешься в...

«И так далее... и так далее...» - подумал он, открывая кран с великим шумом. До-ми- соль, до-ми-ре... Было, было в этой мелодии какое-то обаяние, какое-то дерзкое веселье, что позволило бы записать её в миноре, даже использовать скрипки, не теряя при этом живости. Решительно, ему нужен тут большой оркестр. Надо попросить Жан-Пьера оркестровать мелодию в достаточно быстрых ритмах...

Он взял тюбик с зубной пастой, отвернул колпачок и - замер. Позади него в зеркале возникло лицо Аниты, белое от гнева, словно сведённое судорогой бешенства, и он спросил себя спустя секунду, кто она, эта посторонняя, эта фурия, которая посмела стать между его музыкой и им самим. Она приблизилась, положила руку на кран и яростным движением его закрыла. Он увидел, как побелели костяшки её пальцев, а ещё - голубой блеск сапфира на кольце, который подарил ей два месяца назад к годовщине их свадьбы, уже десятой годовщине. Они поженились, чтобы вместе пережить самое лучшее и самое худшее, не ведая относительно себя, что самое лучшее с неизбежностью влечёт за собой самое худшее.

- Ты мог бы, наверное, и посмотреть на меня, когда в кои-то веки я говорю с тобою серьёзно...

Она оперлась на умывальник рядом с ним, она дышала затруднённо, и в зеркале они смотрелись как два врага. Точнее, она смотрела на него как враг, он же был смущён, почти напуган этим ощущением ненависти так близко. «Спокойно,- думал он,- спокойно». Он протянул руку, вновь осторожно открыл кран и щёткой провел по нижним зубам размеренным движением, слишком, пожалуй, размеренным. Потом щётку положил.

- Это не «в кои-то веки», что ты говоришь со мною серьёзно, - начал он мирным тоном (слишком, пожалуй, мирным).
- Ты не перестаёшь говорить со мною серьёзно. А не могла бы ли ты попытаться говорить, скорее... мягче?

Она было открыла рот, чтобы возразить, но он остановил её, продолжая властно и быстро:

- Послушай, надо кончать с этим. Надо прекращать эти упреки, оставить эту манеру так себя вести. Ты утомляешь меня, Анита, ты надоела мне. Я слышу в голове мелодию вот сейчас и

слышу её уже два часа: кларнет, скрипка, я слышу арфу, и что бы ты мне ни говорила, как громко ни старалась бы кричать, эта мелодия перекрывает твой голос. Ты понимаешь?

Он чувствовал, как им овладевает подобие неистовства, он сознавал его опасность, но не мог унять его: оно - так река взбухает от десятков малых потоков - питалась десятками подавленных вспышек гнева.

- И этой мелодией, - заговорил он медленнее, - если она мне удастся, я оплачу квартиру, машину, твои платья, мои костюмы, наши ежедневные расходы и даже обеды в ресторане с теми самыми людьми, которых ты презираешь, не имея на то права. А надо будет, оплачу также билеты на самолёты - пусть уносят меня подальше от тебя, притом чаще и чаще. И ещё, если надо будет, мелодией этой оплачу другую квартиру и другую машину, чтобы наши обе жизни разделились, чтобы я стал спокоен и чтобы вечером мог насвистывать и чистить зубы без малейших помех!

В зеркале он увидел, как лицо его жены краснеет, как она отступает на шаг, он увидел, как глаза её наполняются слезами... потом она повернулась к нему спиной и вышла из ванной. Он поднёс щётку ко рту, сердце его билось: только что он был просто жесток. И он предугадывал почти с кротостью, смешанной с жалостью и горечью, примирение в постели, фальшивое и вечное примирение - уже близкое... Он поранил десну и взирал безучастно на капли выступающей крови. К его собственному удивлению, немного замкнутый чужак напротив вдруг улыбнулся. До-ми-соль, фа-ми-соль... Нашёл! Эта мелодия - для органа! Не для того бесцветного чопорного инструмента католической свадьбы, но большого органа с его свободным, трепетным звучанием, Он, конечно, поведёт лейтмотив сразу же, без украшательств, быть может, с помощью трубы... Насвистывая, он направился в спальню твёрдым шагом, шагом солдата-победителя. «Какой же печальной битвы я победитель...» - подумал он, увидев на поле боя свою мрачную побеждённую, коя облачена была в гордость и ночную рубашку - обе одинаково прозрачные. Чтобы он мог почётно отступить, ему надо было ещё заставить себя коснуться плеч этой женщины, и он склонился над ней, подавшись смутному желанию...

Анита боялась, выказывала это, с неприязнью следя, как он устраивается рядом. «Пришел побеждать снова», - так, видно, думала она (словно их объятия стали бы его победой). Он чувствовал в этой полутьме её нервозность. Он изо всех сил старался дышать ровно, глубоко, как полагается дышать спящим;

но, странным образом, это нарочито ровное дыхание его утомляло. А ещё он сдерживал кашель и желание курить столь же неотвязное, как и желание рассмеяться. Потому что сейчас лицо Аниты с его красноречивой мимикой было совершенным - и комичным - воплощением гордости, попираемой телесным томлением... Она так быстро к нему подалась - подалась в столь же безотчётном порыве чувственности, как ранее отодвинулась безотчётно-враждебно, - что столкнулись они резко и нелепо; секунда - и он спросил бы её, не случилось ли чего, но, слава богу, уразумел смысл этого движения. А потом лишь образ Лауры, втайне им вызванный, помогал ему не слабеть. Анита, забыв себя, извивалась в криках, в конвульсиях - он продолжал дышать с равномерностью подлинного метронома; ещё несколько усилий, ещё и он сможет безнаказанно повернуться к стене, погружаясь в сон, восстанавливающий силы, ничем не нарушаемый...

- Как могли мы придти к такому? - послышался голос Аниты, голос слабый и печальный, «почти как у этой красивой актрисы в «Хиросиме, любовь моя», - некстати подумал он. Последняя надежда заставляла его молчать, но тот же нежный голос продолжал:

- Не делай вида, что спишь, мой родненький. Ответь мне... Как могли мы придти к такому?..

И он услышал, что, не желая того, задаёт - жалким тоном - свой вопрос:

- К чему? К чему придти?

- Понаговорили друг другу столько ужасных вещей...

- А-а... это, - сказал Луи с облегчением, потому что на миг оробел при мысли, что намекает она на нечто в их недавних утехах, но, к счастью для Аниты (как, впрочем, и для многих женщин), желание мужчины уже само по себе было доказательством любви - одно лишь проявление этого желания, похоже, лишало сомнений натуры страстные.

- Ну как... по глупости; погорячились ... это нестрашно, - сказал он успокаивающим тоном. - Давай спи,

- Это нестрашно?.. Ты и вправду веришь в то, что говоришь?

О нет, в то, что говорил, он не верил, но не было у него желания именно ей в этом признаться. Другое дело - Лауре или Бобу, лучшему другу, или своей матери, или консьержке, неважно кому, только не ей. У него не было желания говорить с ней о чём бы то ни было (и особенно о единственной вещи, о которой она могла по-настоящему просить: чтобы он говорил - притом ей одной - о нём и о ней, о них и их будущем).

«Это стало несносным», - подавил он вздох, а Анита, приподнявшись и опершись на локоть, склонилась к нему; опущенное лицо её было скрыто волосами. Он чувствовал тонкий запах её духов, смешанный с запахом её тела, их тел после любви и который был для него самым запахом счастья, блестящим и нежным... и безумные пальцы, возникшие из прошлого, сжали ему горло - он вздрогнул от сухого всхлипа, спазмы без слёз, сила которой его удивила. «Надо бы поговорить с ней, - быстро подумал он, отмечая это намерение в тот же миг, что оно появилось, - надо бы с ней объясниться, заставить меня понять...»

Потому что уже долгое время она обращалась к неизвестному, говоря с ним, - человеку антипатичному и неизвестному самому Луи, которого и он сам не мог бы ни любить, ни терпеть. Она видела вместо Луи, влюблённого, доверчивого и весёлого - он знал, что был таким - какого-то грубого и чёрствого сноба. Что до него, он никогда не забывал прелестной и счастливой молодой девушки, а потом искренней женщины, какой она была и к которой он пытался каждый раз обращаться. И всегда с печальной нежностью, видел, что она отказывается его понимать, но в то же время находит, казалось, горькое интеллектуальное удовлетворение в периодическом выведении его на чистую воду. А может быть, никто из них не походил более на тот образ, который некогда запечатлелся у одного относительно другого и который - один и другой - любил? Но, по крайней мере, он-то не отказывался от него, он сожалел о нём! По крайней мере, его томила грусть, что он перестал быть счастливым, её же, в конечном счете, - что она никогда счастливой и не была. «И, наверное, так потому, - думал он, открывая глаза в полумрак, - потому, что я любил эту женщину по-настоящему и по-настоящему жалею, что могу её вскоре оставить. А если это случится, я-то буду помнить о ней, но будет ли помнить и жалеть она?...»

Голос зудел над ним и - очень далеко от него.

- Ты видишь, Луи, слова могут завести неизвестно куда. Нам надо следить за этим. Ты не должен теперь говорить мне ничего такого, чего не продумал глубоко, - добавила она веско, даже с нажимом. - Ведь всё откладывается, знаешь ли... Ты меня слышишь?

Но он её больше не слышал. Он, впрочем, никогда её, всего вернее, слышать не будет. Он снова прикрыл глаза и если что слышал, то только посвистывание велосипедиста на пустынной улице.

И он сказал себе, что скоро это будет его мелодия, которую другой свободный человек - он сам, быть может, - станет насвистывать летней зарёю на улице, схожей с этой.



Илья Корман

«Маленький лорд» – версия XX века



« Роман Юхана Бергена «Маленький лорд» потряс меня, как мало что в мировой литературе. Я могу сравнить впечатление, произведённое им, лишь с открытием для себя прозы Пруста, с «Улиссом» Джойса, с романом Томаса Вулфа «Взгляни на дом свой, ангел», с неистово-поэтичным бредом Маркеса «Сто лет одиночества». Каждое из этих произведений было рождением неведомого мира, с каждым я сам рождался наново, обогащённый новым знанием безмерных человеческих глубин, ошеломлённый неисчерпаемостью литературных средств»

Юрий Нагибин: «Наука дальних странствий/ Островитянин (Сон о Юхане Бергене)»

«Маленький Лорд» вышел в свет в 1955 году, имел огромный успех. Читатели хотели знать, что же будет дальше с Вилфредом Сагеном. Уступая давлению читательской массы, Берген написал ещё два тома о своём герое – получилась трилогия. Но в художественном отношении новые романы – шаг назад. Берген не должен был поддаваться читательскому давлению. И мы в дальнейшем будем говорить только о первом романе трилогии, о «Маленьком Лорде».

В теплице. Как диковинный цветок в теплице, растёт Вилфред – единственный ребёнок в богатой буржуазной семье. Семья – относительно свободомыслящая, не связана ни с церковью, ни с королевским двором. У Вилфреда «есть всё», и – лучшего качества. У него была гувернантка, его обучали домашние учителя. Затем его приняли в привилегированную частную школу. Его водили в театр и на концерты. «Ведь ты был со мной (с матерью – *И.К.*) в Национальном театре, слушал «Лоэнгрин»! Кому еще из твоих товарищей посчастливилось слушать эту оперу?». В их доме на стенах – картины современной живописи: «в Норвегии ни у кого ведь нет таких картин». Дядя Рене, знаток современной живописи, просвещает мальчика, «и они вдвоем углубляются в замечательные книги по искусству и вместе

подробно разбирают «Даму в голубом» или какой-нибудь натюрморт Брака, вызывающий у Вилфреда дрожь восторга, стоит ему мысленно расположить все беспокойные элементы картины согласно скрытому в ней музыкальному принципу».

На музыкальные четверги у дяди Рене «часто приходили те, чьи портреты печатались в «Моргенбладет» – элита музыкального, художественного мира Христиании, и Вилфред «измерял время четвергами». Став постарше, «на музыкальных вечерах он играл Букстехуде и по собственной инициативе прочел несколько лекций о полифонии».

Но не только искусство – новинки техники тоже тянутся к Вилфреду, как к магниту. Французский электрический карманный фонарик – тот самый, который так поразил оборванных мальчишек в Грюнерлокке. Английский велосипед, столь непохожий на норвежские, что попадает в поле зрения полиции. Купленные в Берлине швейцарские наручные часы (во всей Норвегии ещё в ходу карманные). Вилфред – единственный из жителей Христиании, кого французский лётчик берёт с собой в показательный полёт, с мёртвой петлёй.

Стоит ему захотеть, и он становится первым учеником в школе и в консерватории. И когда ему случилось серьёзно заболеть (невроз немоты), его повезли лечиться не к кому-нибудь, а к самому Фрейду. Словом, всюду он первый и всё ему удаётся, этому баловню судьбы.

Но это совсем не значит, что у него счастливое, безмятежное детство. Никто не догадывается о его внутренней раздвоенности, о том, что видимая удачливость, лёгкость – это маска, носить которую бывает нестерпимо тяжело. С пятилетнего возраста, если не раньше, испытывал впечатлительный мальчик унижения от своих близких. Унижения, наносимые по «толстокожести» и простоте душевной. А отца, который бы защитил и помог, рядом не было. Очень рано стал мальчик строить защитную психологическую стену между собой и своим окружением, очень рано познал манящие и пугающие глубины психологизма.

«В то лето единые прежде чувства раздвоились для Вилфреда: радость через мгновение окрашивалась печалью, а страх – блаженством.

Унижение может обернуться удовольствием – пожалуй, если поразмыслить, Вилфред понял это очень давно». И даже больше того: «Хорошо было идти ко дну и думать, что никогда не всплывешь на поверхность, хорошо было гибнуть (речь идёт о попытке утопиться, предпринятой Вилфредом в детстве – *И.К.*).

Но всплыть на поверхность вопреки всему, вновь войти в соприкосновение с окружающим, с тем, что по-настоящему хорошо, с теми, кому хорошо от хорошего, – вот это было совсем неприятно. Очень неприятно.

Да, внутри тепличного цветка завелась червоточинка. Потому завелась, что у Вилфреда нет отца. Потому завелась, что окружающие хоть и любят Вилфреда, но не понимают его, и он вынужден носить маску, чтобы успокоить их и чтобы они не лезли к нему в душу.

Кстати, не только Вилфред раздвоен, но и – как это ни странно – дядя Мартин. Дядя Мартин – владелец «солидной экспортно-импортной фирмы», чьи деловые интересы охватывают Берлин, Лейпциг, Вену, Париж, Марсель, а его дети учатся в Англии. Интересы фирмы защищает французский адвокат. Словом, дядя Мартин – международный делец и финансист, «акула капитализма». Но эта «акула» читает... социал-демократическую газету, и её взгляд на многие вещи – социал-демократический. Например, о детской преступности: «Дядя Мартин, ссылаясь на свою неизменную «Сосиал-демократен», заявил, что общественность не потерпит, чтобы выгораживали детей имущих классов. Бедные дети, вздохнула мать».

Или – о грядущих временах: «Мой дядя Мартин говорит, что близятся большие перемены, что трудящиеся классы... Словом, что настанут совсем другие порядки и таким, как мы, которые живут тем, что им досталось от старых времён, придется чертовски скверно, а народ потребует своих прав».

В окружении Вилфреда дядя Мартин – единственный, кто видит симптомы близящейся европейской войны, и говорит о ней. «Акула капитализма», а взгляды – социал-демократа.

И не забудем, что это Мартин нашёл «венского врача», списался с ним. И не дал домашнему врачу Сагенов, доктору Мунсену, сбить себя с толку: «Доктор Мунсен выражал сомнения по поводу чудодея-доктора, о котором рассказывал дядя Мартин. Мунсен говорил что-то о скандальной славе и очковтирательстве. Говорил о хорошей порции березовой каши».

Всё это не мешает Мартину оставаться капиталистом, но зато позволяет чувствовать себя современным и прогрессивным. Можно назвать это своеобразным буржуазным лицемерием (неосознанным). Можно – психологической раздвоенностью (опять-таки неосознанной – и даже благодушной).

Борген и его версия. В 1886 году вышел в свет роман (скорее, повесть) англо-американской писательницы Ф.Х.Бёрнетт «Маленький лорд Фаунтлерой». Главным героем повести был

семилетний мальчик Седрик, сразу завоевавший читательские сердца. Ещё только через одиннадцать лет появится чеховский (вернее, доктора Астрова) афоризм о том, что в человеке всё должно быть прекрасно, а в маленьком Седрике всё прекрасно уже сейчас: прекрасны его локоны, прекрасно его доброе сердце, прекрасен его врождённый демократизм – впрочем, отлично уживающийся с манерами аристократа, которые тоже прекрасны.

Написанная в духе сентиментализма, повесть Ф.Бёрнетт являла собой, быть может, наивысшее его достижение – и была очень характерна для «наивного» девятнадцатого века. Борген, создавая своего Вилфреда, учитывал опыт Ф.Бёрнетт – и критически переосмыслил его.

Оба мальчика, Седрик и Вилфред, единственные сыновья, теряют отцов в раннем детстве, и потому очень сближаются с матерями; оба очень привлекательны внешне. Но при всём том насколько же они разные! Ф.Бёрнетт пошла по пути наименьшего сопротивления: её Седрик прекрасен потому, что просто не знает зла – ни внешнего (социального), ни внутреннего. Он не прошёл через унижения, ни через искушения – и даже не знает, что это такое. А Вилфред – о! Вилфред знает... «И когда он крал, было то же самое – и страшно, и сладко. В эти годы, полные мучительных страхов, он часто крал. Однажды в теплый июльский день, когда море лежало в легкой дымке, мать поехала в город за покупками и взяла его с собой... Потом они вошли в магазин, и он правой рукой держал за руку мать, которая разговаривала с продавщицей, а левой крал с прилавка маленькие солонки из разноцветного стекла со звездочкой на дне: желтые, зеленые и красные солонки. И ему было хорошо и приятно».

Тут даже нельзя сказать, что правая рука не знает, что делает левая: знает!

Седрик всегда один и тот же – и с графом, и с бакалейщиком – он всегда равен себе. Вилфред же никогда не равен себе, и этим он напоминает героев Достоевского, в особенности – героя «Записок из подполья». Достоевский, биографически пребывая в XIX веке, создавал героев – XX. Вилфред, созданный Боргеном, тоже герой XX века. Седрик же, наивный и прекрасный, принадлежит веку XIX.

Овеществление метафоры. У Боргена некоторые слова обладают повышенной значимостью. Между различными значениями (прямым и переносным) таких слов могут возникать мосты: сюжеты. Простейший пример – слово *немой* (*немота*). В словосочетании «немая клавиатура» слово «немая» стоит в переносном значении. Вилфред играет на немой (переносное

значение) клавиатуре. Вилфреда поражает немота, он становится немым (прямое значение). Здесь мы видим, как переносное значение материализуется, воплощается в первичном, прямом значении.

Более сложный пример – слово «сеть». Близкие хотят «поймать Вилфреда в свои сети» – переносное значение. Наряду с этим в тексте встречается и прямое значение: рыбацкие сети. В таких сетях запутался утонувший смотритель маяка Фрисаксен, такие сети висят на стене в домике фру Фрисаксен. Долгое время переносное и прямое значения сосуществуют, не вступая в контакт. Но вот Вилфред оказывается зимой в домике умершей фру Фрисаксен. Чтобы согреться, он снимает с себя мокрую одежду, «надевает» сети. Он «попался в сети»! – произошла материализация переносного значения, переносное и прямое значения слились воедино.

Слово «паутина» может употребляться в переносном значении («Она обратила к Вилфреду загорелое лицо в паутине морщинок»), а может – в прямом. В последнем случае оно примыкает по смыслу к слову «сеть» в его переносном значении: «С потолка бесшумно спускался паук, он ткал паутину, потом еще одну ... нитка за ниткой, паутина. Сеть – еще немного, и будет поздно. Пока еще Вилфред может вырваться ... На глазах Вилфреда рождалась сеть, закрывающая отверстие ... Паук работал усердно. У него был крест на спине и злые глаза. Он остановился и поглядел на Вилфреда. Так они и смотрели друг на друга – тот, кто ткал сеть, и тот, кто хотел из нее вырваться».

Ещё один пример – слово полёт/летать. Долгое время оно применяется лишь в переносном смысле, в основном при описании любовных переживаний Вилфреда («Он чувствовал, что она дрожит. И сам он дрожал тоже. Теперь из комнат доносились отчетливые крики. Несколько голосов звали: «Вилфред!», «Маленький Лорд!» – Беги скорей! – шепнула она <...> Она с силой подтолкнула его в спину, и он тут же скользнул в комнату, прокравшись между золотистыми портьерами <...>

– Где ты был? Что ты делал? – сыпались вопросы, в них не было упрека, только любопытство. Собрав все свои силы, он ответил, что ему стало жарко и он вышел подышать. А сам подумал: «Я летал»). Пока не появляется французский лётчик. Ну, тут уж совершается самый настоящий полёт, в самом буквальном смысле.

Во всех трёх примерах происходит одно и то же: переносное значение рано или поздно материализуется, становится прямым.

В этот список, возможно, следует включить ещё одно слово: «разоблачение». Мы говорим «возможно», потому что норвежские слова *oppdagelse* и *avsløring*, которые переводчица Ю.Яхнина передавала русским словом *разоблачение*, не обладают, кажется, отчётливо выраженным (как в русском языке) прямым, «первичным» значением – *раздевание, обнажение*. Однако сюжет «Маленького Лорда» построен так, как если бы эти норвежские слова этим прямым значением – обладали. Долгое время эти слова встречаются лишь в привычном переносном смысле (вернее, в переносном смысле русского слова *разоблачение*): Вилфред опасается, что будут разоблачены его проделки (например: «Каждое утро он напряженно ждал у дверей почтальона – вдруг он принесет письмо, которое *разоблачит* подмену первого письма») – и вдруг Вилфред оказывается голым в Экебергском лесу: «Он лежал голый, по нему ползали муравьи». Неопределённые вилфредовские опасения разоблачения – сбылись пугающе-прямым образом.

Скрытые имена. Мы не будем расследовать, почему (или – с какой целью) то или иное имя было Боргеном скрыто (табуировано). Мы просто отметим факты сокрытия. Таких скрытых сознательно имён мы обнаружили два. Первое «появляется» при описании музыкальных четвергов: «Однажды на вечер к дяде Рене был приглашен поэт, и Маленький Лорд весь день ходил, робея от ожидания. Он знал взрослых, которые писали музыку, но стихи – никогда. Но когда поэт в перерыве начал читать стихи, оказалось, что это похоже на музыку.... И вот когда он читал в перерыве «Гобелен», а потом о девушке по имени Эльвира, которая собирается на бал, Маленький Лорд подумал, что слова – это иногда еще больше, чем музыка, потому что они и музыка, и слова».

Нетрудно установить, что этот поэт – Бьёрнстьерне Бьёрнсон, классик норвежской литературы, несколько лет назад ставший нобелевским лауреатом. Вот возле каких взрослых вертится Вилфред, вот в какой тепличной атмосфере он растёт.

Второе имя – имя *венского врача*, к которому Вилфреда привозят лечиться от невроза немоты. И опять-таки, раскрыть имя врача не составляет труда: Зигмунд Фрейд. Не берёмся утверждать с полной определённойостью, но, похоже, это первый в мировой литературе случай, когда Фрейд изображён реальным человеком (хотя и без имени) – то есть, является действующим лицом. До сих пор речь могла идти лишь о наличии в том или ином произведении фрейдовских мотивов. Первым таким произведением стала, по-видимому, новелла Артура Шницлера «Traume Novelle», 1926

(«Новелла о снах». По ней Стэнли Кубрик снял свой последний фильм «С широко закрытыми глазами»). Вторым – рассказ Карела Чапека «Эксперимент профессора Роусса», 1928, где описано применение «метода свободных ассоциаций». У Боргена в 1955 году *венский врач* «материализовался», стал персонажем, действующим лицом – правда, безмянным. Имя он обрёл лишь в 1959 году, в пьесе Сартра «Фрейд», но опубликована она была только в 1984, когда ни Сартра, ни Боргена уже не было в живых. И, наконец, в 1992 году Фрейд оказался полноправным персонажем интереснейшего романа Ирвина Д. Ялома «Когда Ницше плакал» (список не претендует на полноту).

Датирование и Фрейд. В «Маленьком Лорде» события, как правило, не имеют ни года, ни даты (датой мы называем сочетание месяца и числа). Ну, год, допустим, можно определить благодаря дяде Мартину, который говорит сестре: «Но я готов побиться об заклад, что ты даже не взглянула на последние опубликованные данные о числе погибших на «Титанике». Стало быть, 1912-й. А вообще-то указывается либо сезон («В ту весну среди знакомых и родственников фру Саген...»). Или: «А осенние ночи, когда сумерки плотно обступали дом...». Или: «В то лето единые прежде чувства раздвоились для Вилфреда...». Или: «В эту зиму он всячески избегал испытующего и сочувственного взгляда тети Валборг»), либо месяц без числа: «Назойливое августовское солнце слепило глаза». Могут указываться неопределённые «однажды», «в тот день», «в ту пору».

Даты же в романе встречаются дважды. Первый раз – когда речь идёт об отце Эрны и движении бойскаутов: «изучал во время ежегодного пребывания в Англии... там в некоем институте с 15 по 30 июня сообщались дополнительные сведения по вопросам воспитания». Речь идёт об Англии, которая где-то далеко, поэтому можно, «в виде исключения», использовать даты, которые к тому же относятся не к единичному событию, а к временному интервалу длиной в полмесяца – таким образом, нечёткость, размытость временных характеристик, столь характерная для романа, здесь в какой-то степени присутствует. Точная же дата единичного события в романе всего одна: «*Когда мы поедим?* (Курсив здесь потому, что онемевший Вилфред не произносит, а пишет свой вопрос – И.К.).

Мартин вынул маленький карманный календарик... «17 февраля. Через три дня». Единственный раз в романе появляется календарик – настолько важна точная датировка отъезда в Вену, к *венскому врачу*. Причём она важна не только сама по себе: она позволяет точно датировать ещё два события, «находящиеся по

обе стороны от данного». Всего, стало быть, три события. Итак: 14 февраля 1913 года Мартин сообщает племяннику дату их отъезда в Вену. 17 февраля – отъезд. 18 февраля – прибытие в Вену, приём у Фрейда, к Вилфреду возвращается дар речи.

Кроме того, независимо от точных датировок, один раз указывается месяц: «За окном под шагами прохожих и колесами телег поскрипывал *февральский* морозец». Отметим, что не все месяцы года удостоились упоминания в романе: отсутствуют январь, март, май и декабрь. Так что можно, пожалуй, сформулировать правило: *Когда речь идёт, прямо или косвенно, о Фрейде, точность датирования возрастает.*

Вероятно, это происходит потому, что Фрейд не только врач, но и учёный, которому подобает точность. Появляясь в тексте, Фрейд (пусть даже не называемый по имени) приносит с собой точность, наделяет ею текст.

Зачем Боргену Фрейд? Появление Фрейда в «Маленьком Лорде» – не случайно. Во-первых, Борген всегда интересовался психоанализом. Во-вторых, Фрейд нужен, чтобы объяснить Вилфреда, феномен Вилфреда. Вот, например, фрекен Сигне Воллквартс, учительница Вилфреда, его не понимает: «Ее вдруг поразило его сходство с одним из рафаэлевских ангелов: правильный, мягко очерченный профиль, слишком длинные загнутые ресницы, очень темные по сравнению со светлыми локонами, горделивая и грациозная осанка. Во всем его облике было что-то неземное, и однако... Она не знает, в чем тут дело, эта порода ей не знакома. Ни следа угодливости, просто воспитанный, исполнительный мальчик, хотя его нельзя назвать по-настоящему послушным. И, однако, под этой изысканной оболочкой скрывается почти что грубость...»

Ей никак не удавалось отчетливо сформулировать свою мысль, больше того – ей не хотелось мириться с тем, что поведение Вилфреда Сагена выходит за рамки ее жизненного опыта и воображения».

Выходит за рамки её опыта и воображения! А ведь фрекен Сигне – женщина образованная, современная. Её отцом был профессор-дарвинист. Но Дарвин тут не помощник, тут нужен Фрейд – и Фрейд появляется.

Или взять вопрос об отношениях Вилфреда с матерью. В них не разобраться без привлечения «эдипова комплекса»: «Вилфред упивался безмятежной радостью при мысли о том, что у него нет отца. Он чувствовал нечто вроде благодарности к матери: ведь это она устроила так, что их только двое». «Мальчиком он однажды попытался нарисовать своего отца. Взрослые вскрикнули

от изумления – он нарисовал мать». «Они (Вилфред с матерью – *И.К.*) подошли к дому обнявшись – Вилфред испытывал при этом опять какое-то новое чувство счастья. Оно было плотским, но лишено того тревожного томления, какое теперь постоянно владело им. Ее волосы на каждом шагу щекотали его щеку. Они шли, точно старая любящая пара, охваченные безмятежным будничным покоем, который не хочет знать никаких страстей».

Еврейская тема. Она возникает уже во второй (из десяти) главок первой части, когда в отдалённом районе города Вилфред подчиняет своей воле стайку мальчишек из бедных семей: «– Ладно, ребята, – бросил он в темноту. – Что будем делать?»

Он услышал незнакомые нотки в собственном голосе, услышал голос незнакомого парня, того самого Вилфреда, с которым изредка ему удавалось свести знакомство, почувствовал в себе силу этого парня, его стремление верховодить <...>

– А что, если двинуть в молочную на углу? – холодно сказал он.

– К Юнсону? – переспросил кто-то.

– А то к еврею, папироснику, – наугад предложил он. Он помнил, что где-то на улице Тофте была табачная лавка, фамилия владельца кончалась на «вич». Он делал ставку сразу на все – на неприязнь к «еврею», на охоту покурить, которую он смутно угадывал в мальчишках, на жажду приключений...

– Пошли к еврею, – произнес сиплый голос из темноты».

Вилфред организует налёт на еврейскую лавку не потому, что заражён антиеврейскими предрассудками (и Вилфред, и всё его семейное окружение национальных предрассудков лишены), а потому, что таковые предрассудки имеются у мальчиков в Грюнерлокке, и он цинично оборачивает это обстоятельство в свою пользу.

Появившись неожиданно и резко чуть ли не в самом начале романа, еврейская тема тут же и затухает, и долгое время никак себя не проявляет. Она возникает вновь лишь в последней главке второй части, возникает тихо и спокойно: «В консерватории Вилфред познакомился с девочкой по имени Мириам, она занималась по классу скрипки, ее отец держал магазин трикотажных изделий».

«Тихо и спокойно» – потому что спокойствие исходит от Мириам: «Маленькая кареглазая девочка с пушистыми ресницами излучала странное спокойствие, передававшееся и ему. Она рассказывала о житье-бытье у них дома, об отце, правоверном еврее, который ходит в синагогу. Музыка переполняла все ее существо, звучала в ее голосе, в ее движениях. Мириам играла на

благотворительных концертах в бедных кварталах и рассказывала Вилфреду, как блестят глаза у ее слушателей. Рассказывала, как соблюдается дома суббота, как затихают в этот день родители и братья».

Как Фрейд приносит с собой точность, так Мириам – спокойствие. Теперь еврейская тема (тема Мириам) будет исчезать и появляться, и каждый раз спокойно. И только в последней главке романа снова возникнет резкость, назойливая и какая-то скрежещущая, ибо речь снова пойдёт о тех мальчиках в Грюнерлокке... Вообще, интересно было бы рассмотреть сквозную еврейскую тему «Маленького Лорда» как тему музыкальную.

Но, конечно, не так уж евреи десятых годов интересны Боргену сами по себе, и вряд ли еврейская тема вообще возникла бы в «Маленьком Лорде», написанном в пятидесятые, если бы не события сороковых. Для Норвегии, с её Квислингом, чьё имя стало нарицательным, с её великим Гамсуном-коллаборантом – события времён гитлеровской оккупации, и в частности – преследование евреев, суть болевая точка. (И надо помнить, что преследование и депортация евреев проводились по инициативе норвежских фашистов, а не под давлением оккупантов). События времён оккупации бросают обратный свет на «безмятежные довоенные» годы, и вот почему в романе о десятых годах возникает еврейская тема.

По-видимому, своеобразным изводом этой темы можно считать и появление *венского врача*.

Открою притчей уста мои, произнесу загадки из древности (Теиллим, 78:2).

Имя *Вилфред* ничего не даёт для понимания нашего героя. Это просто обозначение. Прозвище же *Маленький Лорд* даёт довольно много. Оно, напоминающее о *Маленьком Лорде Фаунтлерое*, касается и внешности Вилфреда, и его внутренних – моральных качеств. Причём относительно последних – благонравное прозвище вводит в заблуждение. Так же, как прозвище *рафаэлевский ангел*: под внешностью ангела таится, может быть, «белокурая бестия». Оба прозвища слишком абстрактны, слишком доверяют внешности нашего героя.

Что ж, добавим от себя ещё одно прозвище. Оно, как нам кажется, ни в чём не будет уступать двум вышеназванным, а кое в чём, может быть, и превзойдёт их: *Иосиф Прекрасный*. Оно тоже говорит о внешности. Но оно ещё и указывает на важнейшее качество Вилфреда (которым обладал библейский Иосиф): умение

угадывать, умение видеть сокрытое, умение настраиваться на волну окружающего мира и понимать его.

«Она в замешательстве поглядела на него. Он высказал вслух ее собственные мысли, он часто высказывал вслух ее мысли как раз в тот момент, когда они рождались в ее голове».

«Маленький Лорд видел всё это явственнее, чем наяву, и слышал отчётливее, чем если бы и впрямь голоса звучали с ним рядом».

«Он видел сквозь закрытую дверь, как дядя Рене, повесив пальто, потирает свои узкие руки, переплетая пальцы...»

«Он по-прежнему держался южного направления с небольшим уклоном на восток. У него было какое-то физическое ощущение направления»

Но у него есть и особое ощущение времени. «Каминные часы под стеклянным колпаком показывали пять минут второго. Он посмотрел на свои собственные часы. Они по-прежнему показывали час. Очевидно, остановились в ту минуту, когда он проснулся». *Это можно сформулировать иначе: как только остановились часы, он проснулся.*

Итак, новое прозвище уподобляет Вилфреда – библейскому Иосифу, толкователю снов, прозорливцу. Но в таком случае можно пойти дальше и уподобить стеклянное яйцо (очень сложный, многозначный образ) – серебряному кубку: гадальной чаше Иосифа. Интересно, что у обоих предметов обнаруживается одно общее свойство: их «крадут». Отец Вилфреда, умирая, держал в руке стеклянное яйцо. Затем, как говорит Сусанна Саген, «кто-то, верно, взял яйцо... Украл...». И, видимо, передал яйцо мадам Фрисаксен или её сыну Биргеру. Возможно, кражу совершила одна из служанок в доме Сагенов – по просьбе мадам Фрисаксен, считавшей, что яйцо предназначалось Биргеру. Так или иначе, украденное яйцо оказывается у Биргера, сводного брата Вилфреда.

Гадальная же чаша Иосифа подкладывается в суму одного из его братьев – с тем, чтобы затем быть обнаруженной и чтобы этого брата можно было обвинить в краже. Эта ситуация обыгрывается в начале романа Л.Фейхтвангера «Успех», где говорится о картине «Иосиф и его братья, или Справедливость».

Если в «Успехе» история Иосифа послужила лишь зачином, то Томас Манн развернул её в огромную тетралогию. С этого момента она – история Иосифа – становится заметной и неотъемлемой частью новой европейской литературы. В роман Боргена история Иосифа не вошла, если не считать, краткого

упоминания о «старом сгнившем колодце, куда братья бросили Иосифа». Не вошла, но «стоит на пороге и стучится в дверь».

История с географией. «Опустив письмо (поддельное, от имени матери – *И.К.*) в почтовый ящик, Маленький Лорд с легким сердцем двинулся дальше по улице.... Все вокруг, казалось, излучало радость, стремилось радовать именно его, потому что он намеренно вступил на опасную дорожку. А теперь Вилфред решил навестить своего друга Андреаса, тот жил на Фрогнервей, в одном из доходных домов у самого парка». «Этим весенним днем Вилфред брел по длинной печальной улице <надо полагать, Фрогнервей? – *И.К.*>, испытывая ленивое блаженство.... Теперь он знал, почему ему пришло в голову навестить Андреаса. Он сделает вид, будто хочет узнать, что задано на завтра по географии <!! – *И.К.*>, но на самом деле он хочет украдкой поглядеть на отца Андреаса». Своего отца у Вилфреда нет, так он хочет «украдкой» поглядеть на чужого – казалось бы, всё ясно. Но нет, не всё ясно.

Всё дело – в *географии*. А конкретно – в улице *Фрогнервей*. Вернёмся в школу сестёр Волквартс: «Вилфред уверенно давал пояснения к висящей рядом с доской таблице, а сам думал: «Она напишет домой, я знаю. Она напишет сегодня же вечером и опустит письмо на углу Лёвеншолсгате и Фрогнервей». Это – первое упоминание опасной улицы Фрогнервей. И когда Вилфред, «опустив письмо в почтовый ящик» (очевидно, тот же самый, «на углу Лёвеншолсгате и Фрогнервей»), направляется к Андреасу, живущему на Фрогнервей (!), он поступает, как преступник, бродящий вокруг места преступления.

Всплывшие числа. Августовским днём 1913 года Вилфред, вместо того, чтобы вернуться из города на дачу к матери, начинает поход по трактирчикам и ресторанам Христиании, её припортовой части. (Тем самым он бессознательно подражает походу с матерью в Тиволи, после последнего выпускного экзамена в школе сестёр Волквартс, этому «хождению в народ», приобщению к его немудрёным грубоватым развлечениям). Впрочем, Вилфред держит про запас одно любопытное психологическое объяснение своей тривиальной тяге к вину: «Забегаловки с грязными скатертями ... этих мест было много: какие-то кафе, молчаливые мужчины, перед ними маленькие бутылочки, и краснолицые, до смерти усталые мужчины за большими стаканами. Их было много, этих кафе, похожих на узкие пещеры, и все населены отцами. Вилфред с жадным любопытством разглядывал их, надеясь что-то узнать... В маленьких трактирчиках, потягивая вино, он пытался выведать тайну отцов».

Последняя, заключительная главка романа. Субботний вечер, август. Вилфред сидит за столиком ресторана-варьете, в компании двух подозрительных парней, пьющих с ним – за его счёт. Он уже порядком нагрузился. Парни «подбили его на разговор». И Вилфред рассказывает о своём отце. На первый взгляд, то, что он рассказывает – это просто пьяный трёп. Будто бы у отца был дворец в Бенгалии и дом в Хюрумланне... Десять жён и шестнадцать лошадей... Но, вслушиваясь в этот трёп, можно различить, как это ни странно, твёрдую фактическую основу, можно даже, говоря высоким слогом, прозреть истину.

Итак, что же он рассказывает? «...он рассказал о своем суровом отце, который отстегивал манжеты перед тем, как высечь сына...». Ничего этого не было. Отец покончил с собой, когда сыну было три года, сын его совсем не помнит. Но интересно, что сын рассказывает «о манжетах» и наказаниях – как бы в похвалу отцу. Вилфред, выросший в «женском доме», с матерью и женской прислугой, с гувернанткой, учившей его французскому – Вилфред, оказывається, «всю жизнь» тосковал по отцу, по твёрдой мужской руке, пусть даже наказывающей... Стало быть, его отношение к отцу двойственно: с одной стороны, хорошо, что у него нет отца. Вот у Андреаса есть отец – и что в этом хорошего? «Он чувствовал нечто вроде благодарности к матери: ведь это она устроила так, что их только двое». А с другой стороны, он хотел бы, чтобы у него был богатый и могущественный отец, восточный шейх. Причём атрибуты этого могущества Вилфред берёт готовыми из своего детства.

«– А про его револьвер я рассказывал? И он всегда носил с собой хлыст ... он много путешествовал. Верхов. У него было шестнадцать лошадей ... Шестнадцать лошадей и десять жен ... Он вообще-то был магометанин ... И его любимую жену звали Аннасус».

Дворец в Бенгалии – откуда он взялся? Он – из обстановки дома на Драмменсвей: «Огни ламп освещали медный поднос, и страшные *бенгальские маски*, которые давно уже перестали его пугать...». А дом в Хюрумланне действительно есть, это Сагенов дачный дом.

А револьвер – откуда? А из револьвера отец застрелился.

А почему лошадей – шестнадцать? Потому что «шестнадцать мальчиков сидели вокруг стола в пятом классе частной школы сестер Воллкварте».

А почему жён – десять? Ну, это память о вылазке в Грюнерлокке: Вилфред плюс девять мальчиков. Число десять вообще играет в романе особую роль:

Монетки в десять эре появляются чаще других.

«Однажды, давным-давно – ему тогда было десять лет, – когда гости пили кофе и пальцы дяди Рене особенно ловко играли тонкой кофейной чашкой...». «твои сверстники, мальчики лет десяти-двенадцати, написано в газете...».

«Он знал, что лучших результатов ему не достигнуть. Знал, что когда ему исполнится десять лет и их поведут на трамплин в Лилле Хеггехюль...».

«Но в этом не было нужды, у него в запасе не меньше десяти минут».

«Останься он здесь еще минут десять, и он будет причислен к педагогическим “казусам”...».

«Все тот же господин сказал: “Он уже десять минут пробыл в воздухе”. – “Десять минут! – подхватила пугливая дама. – Значит, ему никогда не вернуться на землю”».

«...он проснулся и посмотрел на часы. Прошло десять часов».

«В десятый раз он втолковывал Вилфреду, что тот не должен бояться врача, к которому они идут».

«Консультация была назначена на десять».

«Вилфред закурил сигарету, десятую за то время, что они сидели на скамье».

«А такая, как Мириам, к тому времени уже десять лет будет матерью».

И, наконец, первая часть романа (то есть, та, где и рассказывается о Вилфреде и девяти мальчиках) сама состоит из десяти главок.

А откуда «египетское» имя Аннасус? А это Сусанна, прочитанная справа налево. Раз десять жён, то магометанин, а раз магометанин, то и читает справа налево.

Мы видим, таким образом, что пьяный трёп Вилфреда есть краткий конспект его жизни.

Поиски отца. Вилфред вырос без отца. И в его жизни много места занимают «поиски отца». Он присматривается к отцу Андреаса – каков он? Он присматривается и к «отцам» вообще: «По дороге Вилфред забавлялся тем, что заглядывал в окна первых этажей. Он видел там мужчин без пиджаков, которые читали за обеденным столом при свете керосиновой лампы, отбрасывающей унылый свет на стол и на читающего человека. Кое-где он видел детей, на цыпочках крадущихся по комнате, или кончик листа пальмы-латании, прячущейся в углу. Он знал, что склонившийся над столом читающий человек – это *отец*».

Это из-за него ходили на цыпочках дети. А строгие мужчины, взирающие с фотографий на стенах в рамке света, отбрасываемой висячей лампой, – это отцы отцов. Они красовались на стенах, взывая к продолжению неукоснительной строгости».

Но самое интересное – это то, что и влечение Вилфреда к Кристине содержит «поиски отца»: ведь имя Кристина есть женский вариант имени Кристиан, как звали отца Вилфреда. И не случайно в заключительной любовной сцене присутствует портрет Кристиана Сагена:

«– Ты похож на *него*, – прибавила она и, улыбаясь, отстранила его лицо <...> Она смотрела перед собой – куда-то в глубину комнаты, пронизанной последними отблесками осеннего солнца. Он невольно проследил за ее взглядом; казалось, она видит кого-то, неизвестного и незаметного ему.

Косые лучи падали на портрет отца, стоявший на стуле у самой стены. Красные отсветы играли на бороде и придавали мазкам недостижимую жизненность».

«Познавая» Кристину, Вилфред – сам того не зная – обретал отца.

Гадкие лебеди, золотистая вода. Стремление Вилфреда к одиночеству во многом обусловлено его презрением к людям. Но совсем не обязательно презрение ведёт к одиночеству в буквальном смысле. Зачастую оно ведёт к тесным отношениям, в которых бы, однако, он непременно главенствовал. Характерный пример: Вилфред и мальчики из Грюнерлокке: «Эти мальчишки говорили на другом языке. Учиться они ходили после обеда в какую-то народную школу. Они во всем отличались от него, и каждый раз, встречаясь с ними, он испытывал глубокое отвращение. Сегодня он умышленно решил надеть свое новое серое пальто, чтобы не просто разозлить их, а привести в бешенство».

И тем не менее: « – Вы будете моими адъютантами, – бросил он тем двоим, кто шел ближе к нему.

Кого он имел в виду? Те, что были посильнее, хоть и шли позади, пробились вперед к самому выходу из дощатой пещеры.

– А я? А я?

– Ты будешь телохранителем, – небрежно кивнул Вилфред верзиле с сильным голосом. Это он наступал ему на пятки, он первым пытался зажечь фонарь. Теперь сильный голос повторил:

– Телохранителем».

Не столь яркий, но достаточно характерный пример – неравная дружба с Андреасом, в которой Андреасу отведена роль благодарного оруженосца при благородном рыцаре, рыцарь же оруженосца держит на расстоянии.

Вот отец Андреаса говорит Вилфреду: «– Андреас часто рассказывает о тебе. Это хорошо, что вы дружите.

Вилфред сидел как на иголках. От слова «дружите» его чуть не вывернуло наизнанку».

Свою внутреннюю червоточину Вилфред проецирует вовне, стремясь найти смешное или злобное – в прекрасном. Вот сцена на берегу пруда, в котором плавают лебеди (тут естественно и неотвратно возникает аналогия с «Лебединым озером» – что, по-видимому, очень раздражает Вилфреда): « – Неужели ты не чувствуешь, как он ломается, этот ваш Моцарт, как он ломается и кривляется, чтобы угодить публике? Я прямо так и вижу, как он пресмыкается перед своим хвастливым папашей, – и так всю жизнь <...>

Мириам улыбалась.

Ее удивляла его злость, откровенная несправедливость почти всех его утверждений. Казалось, Вилфред умышленно старается быть несправедливым <...>

– И вся эта болтовня об изяществе, гармонии... – Вилфред закурил сигарету, десятую за то время, что они сидели на скамье, и устремил враждебный взгляд вдаль.

«Но ты погляди, как они преследуют, как мучат друг друга. И смотри, какие у них безобразные глаза, какие-то узкие шелки, наверное для того, чтобы они поменьше видели и вечно подозревали друг друга».

«Он <...> вернулся в парк. Бросил камень в лебедей. Не попал. Откуда ни возьмись появился сторож и строго спросил:

– Кто бросил камень в лебедей?

– Я, – заявил Вилфред. – Хотите записать фамилию?<...>

– Ну и взгляд! – пробормотал сторож».

В величавой лебединой красоте Вилфред находит изъяны. «Зато» находит красоту в грязной воде из дорожной колеи: « – Ты заметила, что она золотистая? – смеясь, спросил он Мириам. Она стояла насмерть перепуганная. Она видела, как пронесся фургон.<...>

– Вот эта самая вода, – ответил он, показав на свои брюки, – эта грязь, которую нашей служанке Лилли придется считать с моих брюк, была золотистой в свете заката, ты не заметила?».

Короче говоря, Вилфред ищет – и находит! – то, что парадоксально противоречит общему мнению (и, тем самым, как бы подтверждает его, Вилфреда, особость и исключительность).

Путешествие в страну мёртвых. Сон – младший брат смерти. В конце 1912 года, зимой, потрясённый разговором с матерью, Вилфред впервые в жизни принимает снотворное – и на десять часов проваливается в сон. Наутро, с тяжёлой головой, он отправляется в дачную местность, где живёт фру Фрисаксен.

Удача не сопутствует ему. То «физическое ощущение направления», которое помогало ему в Грюнерлокке, куда-то пропало. Он с трудом находит дом, наполовину занесённый снегом. Фру Фрисаксен мертва – «Она, очевидно, умерла уже давно». Он пытается найти дорогу к какому-нибудь обитаемому жилью, чтобы позвонить ленсману, но снег «из стеклянного яйца» занёс все дороги, Вилфред вынужден вернуться в дом, где лежит мёртвое тело. Чтобы согреться, он снимает с себя мокрую одежду, набрасывает на себя рыбацкую сеть. И забирается на кровать, ложится. На этой же кровати лежит труп.

Это очень важный момент. Вилфред завёрнут в сеть, как был завёрнут Фрисаксен, когда его нашли. И вот он, Вилфред, оставивший в городе мать, с которой его, до вчерашнего вечера, связывали узы эдипова комплекса, – занимает место Фрисаксена «на брачном ложе»: в стране мёртвых заключается брак. Брак Вилфреда Сагена с женщиной его отца, Кристиана Сагена (снова эдипов комплекс).

Вилфреда спасли, извлекли из страны мёртвых. Но мета этой страны пребывает на нём: немота. Обитатели страны мёртвых немые.

Человек в пещере. Если попробовать очень кратко, «стоя на одной ноге», определить, о чём этот роман, «Маленький Лорд», то ответ может быть примерно таким: о том, как человек выстраивает храм своего одиночества.

«Реальным», пространственным образом «человека в храме одиночества» может служить образ «человека в пещере». Такой образ встречается в романе несколько раз. Первый раз при описании вылазки в Грюнерлокке. Это ещё не вполне пещера – вернее, пещера, но искусственная, рукотворная: дыра в штабелях досок. Потому и одиночество не полное: Вилфред, «этакая фитилька из богатых кварталов» – и девять мальчишек-оборванцев. Но само это слово, «пещера», уже присутствует в тексте – правда, пещера не настоящая, а сказочная. « – Вот так, – сказал Маленький Лорд, нажав кнопку. Дошатый свод осветился

вдруг, как сказочная пещера, и в мерцающем свете лица мальчишек изменились до неузнаваемости».

В другой раз пещера появляется вскоре после того, как Вилфред становится обладателем стеклянного яйца. «Нырнув под скалистый навес, он бросился ничком на землю и перевел дух. Так он лежал долго. Здесь было что-то вроде пещеры, куда всевидящий глаз не мог заглянуть».

В третий раз пещера, на сей раз именуемая нишей, появляется в последней главке романа, когда Вилфред, избитый и раздетый, пытается скрыться от людей: «... позади высилась какая-то стена, в ней зияла глубокая ниша. Он вполз в эту нишу ... Он вполз поглубже, опираясь на колени и на здоровую руку». «Они были где-то рядом, но не могли найти нишу, они ходили и искали ее. Потом рука. Просунули длинную палку. Шлюпочный багор, чтобы поймать дикого зверя. Багор шарил в темноте, уткнулся в стену. «Никого». Багор убрали».

Кроме того, своеобразной – символической – пещерой является стеклянное яйцо. Мы уже говорили, что стеклянное яйцо – очень сложный образ. Это и глаз, которым мир смотрит на Вилфреда: «Вилфред стоял, сжимая в руке стеклянное яйцо и все ещё не смея взглянуть на него. Ему опять казалось, что какие-то существа вокруг него видят его насквозь. Рак без панциря. Равнодушный взгляд фру Фрисаксен сменился взглядом отовсюду, громадным зрачком, и Вилфред оказался внутри этого огромного, всевидящего зрачка, которому он был открыт со всех сторон». «Да нет, ведь это дождь. Это дождь шуршит у входа в пещеру, где притаился Вилфред. Наконец-то он начался, живительный летний дождь, слезы громадного глаза, окружившего Вилфреда со всех сторон».

Это и аналог гадальной чаши библейского Иосифа – материализованная, овеществлённая способность Вилфреда прозревать, угадывать, видеть сокрытое.

И это, наконец, символ одиночества, символ отъединённости от мира, замкнутости внутри ограниченного пространства – то есть, внутри «пещеры». Домик (*человеческое жильё*) замкнут, спрятан в пещере стеклянного яйца, и любая попытка пошевелить яйцо, разгадать его тайну, проникнуть внутрь – немедленно вызывает снегопад, окончательно скрывающий, заносающий снегом человеческое жильё.

Короче говоря, стеклянное яйцо есть символ того «храма одиночества», который Вилфред долго, старательно – и, в конечном счёте, безуспешно – пытался выстроить для себя.

Литература:

Серия «Мастера современной прозы». Норвегия.

ЮХАН БОРГЕН: Маленький Лорд. Темные источники.

Теперь ему не уйти.

Изд-во «Прогресс», М., 1979.



Михаил Юдсон

Раздвоение лица. Ури Шахар. Мессианский квадрат*



ачну привычно, как по нотам – с аннотации. Перед нами «захватывающая история, в которой читатель встретит все, что привык ждать от хорошего романа: яркие и невероятные приключения, любовь, предательство, тайну древней рукописи». Ну, уже потираешь руки в предвкушении и поплеываешь на палец, готовясь скоренько листать страницы, а это еще не все, и Ури зрит в корень: «В текст вплетены по-настоящему сенсационные открытия: неожиданная интерпретация евангельских событий, разгадка секрета основателя кумранской общины – Учителя Праведности, а также расчеты «конца света», перекликающиеся с малоизвестным древним пророчеством». Шахар, таким образом, шаг за шагом ведет нас, как по мебиусному листу, на обратную сторону текста, совмещает развлекательно-приятное с познавательно-полезным. Надо добавить, что образ автора тоже расплывчато двоится, – но раскрытие псевдонимов ушло в доисторическое прошлое, и удовлетворимся тем, что «МЕТ» послал, издав роман, где и автор, и главный герой – Ури Шахар, один в двух лицах и пятистах экземплярах.

Собственно роман разбивается на две ветви – в первых строках авантюрно-детективное действие с поисками ветхой рукописи в Кумранских пещерах близ Мертвого моря, и, во-вторых, эдакие «Диалоги», питательная смесь платоновской Пещеры с духовной семинарией, где тоном выше текут беседы о судьбах Израиля и примкнувшего к нему мира.

Про Кумран накропано немало прозы (порой неприхотливой, аки «Мурка»), однако в данном случае мастерство автора берет свое, хватает за извилины, и читать по-новому интересно. Да, крепкий роман замастырил Ури Шахар – мореный, продубленный, источенный ходами мысли, – Дэн Браун, дока кодов, отдыхает! А большие читальоны маршируют в «Мессианский квадрат»...

* Минск: МЕТ, 2012. – 368 с. ISBN 978-985-436-592-3)

Значит, жили-были три товарища – Ури, его подруга Сарит (оба «русские израильтяне») и москвич Андрей, наезжающий погостить, побродить по пустыне, погулять по горам. Он-то и нашел раритет в кувшине – и все завертелось. В роман понаехала чертова туча прочих персонажей – очень говорливых и деятельных. Один Пинхас чего стоит, полонивший деву, уволокший Сарит замуж, – он-де и философ, и ритор, какая иерусалимская дамочка откажет! Сарит и Пинхас – горькая парочка, гарна дивчина и вульгарный хлопец, хлопотливый такой честолюбец с множественными комплексами, на протяжении трехсот страниц упрямо не дающий гет – бумажку о разводе («Геть видсэля!»). В конце концов злой муж счастливо побежден, Сарит соединяется с Ури, завет да любовь преодолевают расчет. А то ведь по устоям иудаизма свадьбу по субботам не играют, ибо она – торговая сделка, нельзя-с!

В романе «Мессиа́нский квадрат» пятнадцать глав-погодков, события (с разрывами) происходят с 1989 по 2008 год. В центре квадрата – пункт приема, Иерусалим и точка ностальгического возврата – Москва, откуда родом герои наш Ури, явно очередной пиитический Юрий с его заветной тетрадью, с проповедью любви ко всему живому. Книга Шахара добра и толерантна, она мягко, но внушительно как бы говорит «ша!» всяким харям и тварям, стремящимся к разрушительности. «Отлезьте, гниды, не держитесь за мою полу!» - твердит она шариковым всех мастей и полушарий. Существуют же и добрые люди! Вот вполне даже положительный персонаж Халед, араб разумный, друг народа (еврейского) и тайных служб. Забыв напрочь о собственных делах, Халед день и ночь помогает словом и делом. Попутно он доходчиво растолковывает, что и Иса есть, и Махди («идуший верно») наличествует – опять двойка, махдибургские полушария!

Тут Халед вклинивается в основную тему, стантовую канву романа. Оказывается, древняя рукопись и свежие изыскания героев неопровержимо доказывают - Спасителей было двое. Один привычный, на троих – от Матфея, Марка и Луки. Пришел, как положено, на Пасху, весной, в нисане. Говорил просто и ясно, поучал нехитро – типа «не в свои сани не садись». Зато второй Иисус, от благовестящего в одиночку Иоанна, ни в какие канонические ворота не входит – и речь его темна и лишена притч, и бежали за ним, вознося осанну и обмахивая пальмовыми ветвями, а это как раз в обычае Суккота, осеннего Праздника Куш. Вот ведь какая загвоздка, столбовая нить сюжета!

Мне-то, между нами говоря, глубоко по филактериям – ну два так два, чем больше, тем лучше – спасай, кто может! Но персонажей романа сразу обжигает мысль: а Ватикан что скажет?! Что ж, как опытный книжный «ватик»-старожил, соглашусь с автором – Папа за такое по головке не погладит. Путать давеча с надьсы, Пасху с Кущами – сие весьма печально. Склероз воскрес?

Дело, сами видите, еще больше закручивается, но Шахару и этого мало – к двум евангелическим Иисусам он прибавляет двух талмудических Иешу: «Два на два. Квадрат. Мессианский квадрат». Не делайте квадратные глаза и не пугайтесь – читать легко и увлекательно. Как популярно объяснил бы вечный Перельман: «Занимательная теология». В нагрузку, задарма – отменный интеллектуальный ликбез. Мы имеем, по сути, роман-дневник – воспитание чувств, хроника текущих событий, поиски утраченного времени, приключения духа и перемещения тела в пространстве. Иногда – записки обратившегося к Богу, задушевная переписка со Всевышним (и у Стен плача есть уши!): «Лети к Завету, вернись к Ответу!» Здесь, в романе, в ладу дуализм с манихейством: зло сменяется добром, а радость – печалью. Кумранское ущелье Макух, где таилась искомая рукопись, – это грустный символ непрухи, некое сборище тщеты вообще всех наших усилий в споре с судьбой – макуха, жмых жизни, соломка отваянная, колечко Соломоново: «И это пройдет». За двумя Иисусами погонишься... Впрочем, евреям сроду не сиделось, исконно искалось приключений на собственные колена, издревле их интересовало, откуда слезет Мессия – с балкона в Базеле или с броневика в Питере?

А тут еще по периметру хамоватые соседи, не сочтите за грубость, норвящие сожрать и, простите за выражение, выплюнуть на хрен. Да лучше мудрого акына Губермана не скажешь:

Ничтожный островок в сухой пустыне
Евреи превратить сумели в сад,
И чудо это всажено отныне
В арабский гордый ум, как шило в зад.

Вторым планом в книге Шахара проходит совсем недавняя история Израиля – арабы, Ицхак Рабин, ослиная твердыня Осло, арабы, бархатные военные операции, спорные территории, арабы, джихад, размежевание, арабы – бей, барабан! Порой бремя белого человека сменяется поездками в Москву, где хоть живешь как белый человек: «Москва краше и прибранней». Иерусалим и Москва – мессианские близнецы романа. С

симпатией описана активнейшая московская жизнь – тут вам не смоквы околачивать бесплодно, тут улет полный, успевай столбы считать! Жили у Маруси, господи Иусе!..

Вставлю и я свои пять сребреников. Свет миру, конечно, придет с Руси. Закатно-западные тусклые, если не тухлые, планы разрешения ближневосточной свары никуда не годятся. И добрый плантатор Обама, и старосветские помещики нам не помощники. В одну повозку впрячь не можно, а воз (как и навоз) и ныне там. Вот у меня зато зародилась, брызнула блестящая идея – уйти от тьмы низких европейских истин к пересвету среднерусской возвышенности, призвать Русь! Сдать в аренду (за шкалики) кусок ашдодской акватории – пушай там прикольно стоит какой-нибудь минный тральщик «Стерегущий» – сдастся мне, что в тот же миг наступит тишь плюс благодать в сухом остатке! Уляжется волнение в арабских лагунах (весеннее обострение!), и никакой атолл аятолл не покусится! Куда там куфие до скуфейки!..

Ури Шахар, безусловно, смотрит на проблему по-своему – по-моему (а как по-вашему?), именно для этого он смело очертил «Мессианский квадрат» – своеобразную квадратуру ближневосточного круга, описал напряженный поиск рационального решения совершенно иррациональной задачи. Его проза – та же магия оригами: сложи бумажных журавликов, и будет хорошо. Заклевание змей! Не зря один из героев собирается (вдогон и перегон Мастеру?) написать роман про двух Иисусов и назвать его «Конкордация» - согласование. «Согласна!» - воскликнула бы Маргарита.

Напослед обильно процитирую автора: «Пока христиане во имя своей фантазии стирали нас в порошок – была одна ситуация, но когда такие люди приходят с миром, все начинает выглядеть по-другому... Талмуд учит, что мир выше справедливости, выше формальной правоты... Когда христианин признает вечность союза Израиля с Богом и не рвется «спасать» евреев, то на его вере как-то невольно хочется поставить знак кашрута... Так уже вышло: как нет у иудеев другой страны, кроме светского Государства Израиль, так нет у них и других союзников, других братьев по вере, кроме христиан...» Короче – терпимость на оба ваших дома!

Книга Шахара рекомендует отложить очередные грабли и в который раз серьезно задуматься – миру мир, кто спорит, да и Заратустра не позволяет, и все мы одним мирром мазаны, но почему Мироздание вечно падает евреями вниз? И грядет ли новый порядок в Небесной Консерватории? И сколько человеку

аршин надо в Иерусалиме? «Мессианский квадрат» не дает, естественно, ответов, но прилежно заостряет вопросы.



Соломон Воложин

Почему я прав...

Приложение

До чего доводит принципиальность

*Невиновные бывали осуждены просто потому,
что в поле зрения судьбы не было конкурирующей версии.*

Любищев



Почему я прав, говоря, что читиво надо осознавать читивом, а не чем-то возвышенным: удовольствием от стиля или сюжета.

Ну чем не прелесть:

«Великолепная россыпь ярко мигающих тревожных звезд – игольчатый иней на гигантском стекле - пульсировала в невыразимой вышине».

Жаль, что я ничего такого, роскошного, не помню от своего побега из пионерского лагеря (дело в том, что я читаю рассказ о побеге девочки из пионерского лагеря). Недавно, получая по скайпу поздравление своего двоюродного брата с 75-летием, я предложил ему поискать общие воспоминания о том пионерском лагере, в нём мы с ним были вместе, великовозрастные, по блату, как и героиня рассказа. Только героиня была девятилетней, а мы были девятиклассники. У нас в лагере много было блатных, то есть великовозрастных... Но это – теперешняя мысль. А тогда мы нигде ничего привилегированного не ощущали. А автор разбираемого рассказа, - будем считать, что память у неё, автора, очень хорошая, - очень чётко привилегии вписала навсегда, сколько этот рассказ читать ни будут: **«кажется, он был обкомовским, этот лагерь»** (за этими словами реет современная – 2011 годом помечен рассказ – непроходящая и через 20 лет после свержения лживого социализма ненависть к его лжи), **«мама оживленно твердила, что на завтрак там дают икру и сервелат»** (так и реет – нудное «твердила» – нынешнее тихое презрение к маме-мещанке, стремящейся, ухватить побольше при случае). Да-да, нынешнее презрение к маме-мещанке. С позиции нынешнего мининищеанства, думающего про себя, что оно-то само – выше мещанства. В том числе и тогдашнего обкомовского: **«...что мне этот сервелат? А**

скользящая соленая икра, медленно и жутко шевелящаяся, тогда просто внушала отвращение». Подумаешь, бомонд... «В лагере помню только утренние пионерские линейки и резь в глазах от хлорки, густо посыпаемой в чудовищном казарменном туалете с дырками в полу». Вот в капитализме бомонд так бомонд. Контрастное общество. И – как факт – автор и не пытается скрыть, что нет дистанции между тогдашним повествователем, образом автора и нынешним, живущим вне рассказа, автором: **«Сейчас пытаюсь припомнить какие-нибудь издевательства, или что-то, ущемившее мои детские чувства, из чего бы состряпать убедительный эпизод, оправдывающий мой дикий поступок...»** Из сегодня выискивается иносказание, образ, – вольнолюбивой девятилетней девочки, – призванный утвердить Дину Рубину (это её рассказ «Дорога домой» разбираю) в её возвышении над болотом любого мешанства, будь то социалистического или капиталистического:

«Человеку, для которого главное несчастье - место в пионерском строю и общая спальня, незачем придумывать иные ужасы судьбы».

- Вы верите, что так думала девятилетняя девочка в СССР?

- Ну... Так-не-так, а как-то подобно – почему нет?..

В самом деле. Вот взять меня девятилетнего.

Я был тихоня и послушный. И в школе. Я ж в школу ходил, чтоб учиться. Мне мама внушила, что я, безотцовщина, должен скорей выучиться, чтоб помогать ей, чтоб ей не приходилось до рассвета проявлять негативы и печатать с них фотографии на заказ. И дома. Я жалел мою бедную красавицу-маму, не вышедшую замуж, чтоб мне не стало плохо, и старался ничем не расстраивать её. Пай-мальчик. И мне было плевать, что меня так и называли. И я был отличник. Не потому, чтоб превосходить других, а так у меня само собой получалось от моей искренней нацеленности скорей выучиться.

Но я помню, что я чувствовал, когда однажды ни с того, ни с сего взял и удрал с уроков и пошёл кружным путём, чтоб дольше, чтоб не прийти домой слишком рано и не нарваться на расспросы. Помню удивительно чётко, что не свойственно мне. Мартовский погожий день. Я иду по берегу речки и рассматриваю льдины, наползшие на берег, и капающие под ярким солнцем. В речку на каждом шагу втекают крошечные ручейки, каждый от своего снежного сугроба. – Нет. Это непередаваемо! Этот угол, под которым светило солнце именно в тот час дня и в месяц года... - Конечно, я теперь понимаю, что я переживал Свободу.

И я мог бы теперь увидеть себя в ребёнке рассказа Рубиной:

«...в невыразимой вышине. Там шла бесконечная деятельная жизнь: неподвижными белыми прожекторами жарили крупные звезды; медленно ворочались, перемещаясь, маяки поменьше; суетливо мигали и вспыхивали бисерные пригоршни мелких блестящих огней, среди которых носились облачка жемчужной пыли. Все жило, все плыло и шевелилось, бормотало, заикалось, требовало, вздымалось и опадало в той ужасающей, седой от звезд, бездне вверху... Там шла какая-то непрерывная контрольная по геометрии...».

Но ещё не было геометрии у меня, девятилетнего. А была у девочки из рассказа? Рубина на 15 лет меня младше. Ну, может, и была уже. Но я слишком невольнoлюбивый был и в девять лет, и в 75... Меня и никогда особо не увлекала Свобода, чтоб вот так запросто заразила меня ею Рубина. И образно (иносказанием), и «в лоб» говоря (просто-сказанием): **«свобода важнее сервелата», «вольная беготня по окрестным улицам и дворам», «одинокая и упрямая девочка», «Что-то осталось во мне после того побега... бесстрашие воли».** Если я и превратился по жизни в бунтаря, то меня к этому подвигло угнетение, так сказать, окружающих, их трусость восстать. А не желание первенствовать. В одиночестве. Мне, - уже 40 лет просветителю, - грустно сейчас видеть, что я одинок в своём исповедовании, что такое художественность (ведь сам я мало кого убедил, и учеников не приобрёл).

А Рубина уже открыто, - голос автора слился с голосом повествователя, - гордится своим мининищсеанством с его обязательным гордым одиночеством и пессимизмом:

«...о чем догадалась навек?»

Что человек одинок?

Что он несчастен всегда, даже если очень счастлив в данную минуту?

Что для побега он способен открыть любое окно, кроме главного, - недостижимого окна-просвета в другие миры...?»

Так рассказ кончается. В нём просто больше, чем я процитировал о восторге ночного неба.

Могу ли я сказать, - чтоб как-то признать в рассказе по моему понимаемую художественность, - что тут есть ценностное противоречие? Ну, например, что с позитивом к каждому противопоставляется мещанство нищсеанству или коллективизм – ему же?

Не могу.

Коллективизм – просто ненавистен.

Мещанство тоже третируется, а не ценится:

«...в 6 утра... с воплем выбежала мама в ночной рубашке: не ждали...».

«...это ж уму непостижимо: да любому бы ребенку,...да другой мечтал бы о таком счастье,...». (Это автор и повествователь находятся в речевой сфере низменной мамы, ценящей всё же сервелат и икру, даже если и на словах не признаёт: **«Дело, конечно, не в сервелате, и не в «горном воздухе для здоровья», а просто».** – Что просто? – А то, что выделенный же из других лагерь, обкомовский.)

И это ж выделение тоже унижено. Тоже ж мещанство.

Нет того, чтоб и одно, и противоположное было возвышенным. Нет ценностного столкновения.

Оно, правда, есть в процитированном конце: 1) **«несчастен всегда»** и 2) **«счастлив в данную минуту»**. Но эта ж оппозиция в рассказе совершенно не развёрнута. Как впадать от неё в сочувствие и противочувствие, а потом уж – и в катарсис от их столкновения?

Нет. Какой-то призыв чего-то постороннего восторгу в звёздной гармонии был... Что там?

«...а прямо в центре неба образовался квадрат - окно, довольно четко обозначенное алмазным пунктиром, и сколько бы я ни шла, то убыстряя, то замедляя шаг, это окно плыло и плыло надо мной, и мне казалось, что внутри своих границ оно содержит звезды более яркие, более устрашающие...».

«...под бесконечным и бесчисленным воинством планет, комет и астероидов, что так страшно и глубоко дышали и сражались в небесном окне над моей головой...»

«Мне кажется, в ту ночь возвращения домой под невыразимо ужасным...».

Нераскрытые намёки. Такие не могут взволновать в качестве противочувствия. Это просто авторская недоработка.

Вкус у Рубиной, видно есть. Написать сплошную осанну звездному небу (а весь рассказ, собственно, о нём), - она понимает, - было бы дурновкусием. И она, Рубина, наверно, человек образованный. Она, наверно, знает, читала, о трагичности и мрачности настоящего нищезанятия. Проповедуя «в лоб» своё мининищезанятие, вкус и образованность заставили её внести какую-то ноту противоречивости в рассказ, от чего тот приобрёл хоть каплю непонятности, этого чёткого признака художественности. Но. Недоработка есть недоработка. – Страх не действует.

Приведу для контраста отрывок из настоящего нищееанца – развлечение на войне, где страшного выше головы, а сверхчеловеку, витающему в метафизической бездне, плевать на эту земную какую-то смерть, страшную мешчанам:

«Иногда мы останавливались в лесу на всю ночь. Тогда, лежа на спине, я часами смотрел на бесчисленные, ясные от мороза, звезды и забавлялся, соединяя их воображаемыми золотыми нитями. Сперва это был ряд геометрических чертежей, похожий на развернутый свиток Кабалы. Потом я начал различать, как на затканном золотом ковре, различные эмблемы, мечи, кресты, чаши в непонятных для меня, но полных нечеловеческого смысла сочетаниях. Наконец, явственно вырисовывались небесные звери. Я видел, как Большая Медведица, опустив морду, принюхивается к чьему-то следу, как Скорпион шевелит хвостом, ища, кого ему ужалить. На мгновение меня охватывал невыразимый страх, что они посмотрят вниз и заметят там нашу землю. Ведь тогда она сразу обратится в огромный кусок матово-белого льда и полетит вне всяких орбит, заражая своим ужасом другие миры. Тут я обыкновенно шепотом просил у соседа махорки, свертывал сигарку и с наслаждением выкуривал ее в руках - курить иначе значило выдать неприятелю наше расположение».

(Это Гумилёв. Записки кавалериста. 1915.)

Скажете, а как же у Гумилёва с противоречиями? – А хотя бы, - отвечу, - этот минус-приём игнорирования обычного, земного страха. Эти ж записки, как каким-то американским наблюдателем написаны, недостижимым для европейских бед. А эта метафизичность процитированного отрывка... Так я уже снизил планку своей принципиальности и признаю произведение не теряющим художественность, если автор, - по мере осознания всё же своего идеала, - вставляет в-лоб-куски его (иносказание ж тоже почти что «в лоб») в своё произведение. Но – куски. А не почти сплошь, как в «Дороге домой».

А теперь вернёмся ко мне в связи с Рубиной. К заголовку. Вопреки обычаю, он у меня родился первым. Дело в том, что я читывал когда-то что-то Рубиной. Мне то показалось иллюстрацией заранее известной... ну как сказать? – мысли, отношения. Такое легко читается. И легко нравится тем, у кого такие же мысли или чувства. Своя пишет для своих. И та и те купаются во взаимном удовлетворении. И не нужно ж выпивать всё море, чтоб определить его вкус... Я заранее знал, что Рубина пишет чтиво. А мне всё жужжали о прелести её читать. – Я и взорвался.

Ну зачем я так жёстко?..

А затем. Она ж всё-таки по-русски пишет. А в России сейчас большая беда – двадцать лет страна без национальной идеи. Мотает страну, как тот *огромный кусок матово-белого льда*. И это кончится опять страшной трагедией, если страна не выстрадает, наконец, свою национальную идею. В такое время грех россиянину хвалить чтиво.

Нет. Не убеждает умилённого.

Ну как не хвалить то, что нравится! Нравление ж – явь. А принцип (нет противоречий – нет художественности) – не явь. А если и явь, то явь какой-то ограниченности, догматики, несвободы... Когда у Рубиной – чем не глубина? – начало переживания Свободы!..

Нет, надо, наверно, признаться, что буквально заставило меня вскочить и обхать Рубину...

Полусон. Мысль-полусон просыпающегося, в котором мне будто бы стало вдруг ясно-преясно генетическое сходство ступора и катарсиса.

Вот только как мне эту ясность полусна передать, когда она исчезла, как только я окончательно проснулся. А иносказание о той ясности («фэ» Рубиной) не вводит в ясность умилённого...

Да ещё и проблема-то – о которой приснилась ясность – очень сложна.

Проблема – превращение палеоантропа (ещё не человека) в неоантропа (уже человека).

Я прочёл о ней у Поршнева. И что-то осталось недопонятым, что ли. (И восхитила мысль об одновременности происхождения человека, речи, сознания и искусства как испытания сокровенного, испытания противочувствиями и положительного – обязательно положительного! – результата испытания – подсознательного катарсиса, потенциально способного быть переведённым в сознание.)

Эта возможность перевода из подсознания в сознание и была той ясностью, что приснилась.

Ведь тот ступор, в который впадала особь-животное как объект внушения путём одновременного провоцирования внушающим-животным двух противоположных переживаний (например, желания есть от показа внушающим пищи и желания чесаться – из-за невольного подражания чешущемуся внушающему), - ведь этот ступор (физиологически нельзя ж и есть, и чесаться – это противоположности) неосознаваем. Переживаем, но неосознаваем. Как и всё всегда у животных.

А вот по происхождению и проявлению похожий на ступор катарсис уже может осознаться.

И то же – с вдохновением. Катарсис-то – у воспринимающего. А вдохновение – у провоцирующего именно такое восприятие. Вдохновение тоже подсознательно.

Но может осознаться!

Потому, наверно, что оно преднамеренное. Как при введении в ступор внушающим.

Только при введении в ступор дело кончатся трагически (тут возвращается неясность) – смертью. Только не внушаемого, а его ребёнка. Палеоантроп же внушал убивать ребёнка для съедения. Сам не убивал. Инстинкт запрещал. А раз есть особовнушаемые особи, то почему не использовать их для убийства.

Ступор, сомнамбулизм и убийство в этом состоянии должны б по нашим теперешним понятиям в итоге вызывать ужас и протест. (И, по Поршневу, породили контрвнушение, проявившееся сперва повторением, но не исполнением внушения, как бы непониманием, а потом и вовсе удиранием внушаемых от внушателей.)

Но почему-то ужасом без протеста чуть не до наших дней сохранился он для молодёжи при мучениях-инициациях молодёжи, и сочувствием ужасу но тоже без протеста – для взрослых, подвергающих молодёжь мучениям-испытаниям при инициации.

То есть пока внушаемые были животными, представляется, состояние ступора забывалось. Им внушали убить своего ребёнка, они убивали и забывали до следующего раза. Как самка-животное забывает, что её дети – это её дети. Самцам, видно, особенно легко забыть, не они рожали, выкармливали и воспитывали.

А потом что? Что-то случилось, что внушаемые перестали забывать ступор-сомнамбулизм?

Происходил стресс. (А стресс, - теперь это нашли, - способствует мутациям в половой сфере и стремительному изменению вида.)

Но как жить со стрессом?

Превратить его в норму. В какой-то позитив, а не только в сплошь негатив.

Убивание детей как средство сохранить себя, взрослых... род... Интерес рода. Высший интерес. Не стал ли так ступор ритуалом? И забываемым, и не сплошь негативным. Не родилось ли МЫ, порождаемое манипуляциями внушателей противоположностями, но не МЫ-ступор, а МЫ-ритуал убивания-

самоспасения. Не целиком отрицаемый. Эти манипуляции внушателей, собственно, из-за повышенной склонности приматов к имитации способны ж были делать и внушаемые. Это им было ясно. Но им – нельзя. НЕЛЬЗЯ... Которое есть часть МЫ (иначе – страшно подумать, говоря по-нынешнему – распад стада и неминуемая смерть всех). То есть манипуляции противоречиями – это НАМИ. Манипуляции, вообще-то отчуждаемые от внушателей (мы тоже могли б). Манипулирующие – ОНИ. А манипуляции – НАМИ.

Так родилось идеальное, МЫ! Прикровенное.

А с ним родилось и сокровенное, Я: и Я ж так могу – манипулировать противоречиями. {Что есть экстраординарность. Экстра- (1) и ординарность (2). Противоречивость. Но это не всё. Есть ещё «и Я ж так могу» (3). Свобода, как скажем про это мы теперь.} И – тяга испытать Свободой это сокровенное Я. (1+2=3) Только испытать. Самоиспытать. Не по-настоящему, как сама жизнь, а условно. Чтоб внушатели (или введённые в сомнамбулизм убиватели) не пресекли самоиспытание внушаемых, но и сами бы впали в ступор. Если манипуляции противоречиями включали и такую неожиданность, как необычные звуки – фонемы... То достаточно сделать необычность не фонемами, а чем-то другим... Не языком и горлом, а руками... И внушатели (или убиватели) не среагируют, позволят. Скажем, один внушаемый просверлит дырку в одной ракушке, другой – в другой и так далее (уже само множество невероятностей – дырка в ракушке – парадокс). А потом взять и протянуть сквозь них жилку и повесить на шею одному внушаемому, потом другому... Внушатель же (или сомнамбула убиватель) опупеет... И что: не станет внушать (убивать)? – Нет, не не станет. Но опупеет. И, значит, можно сделать что-то, и самого внушателя (или сомнамбулу-убивателя) потрясающее. Против него. Свобода! Пусть и условная.

Но так расписанное выглядит же... осознанным. Где ж та явившаяся во сне ясность перехода из несознания в сознание? Тот скачок?

Но сон не вернёшь. А бдение даёт эту проклятую постепенность вместо скачка. В смысле – будучи повторены тысячи раз за тысячи лет эти акты творения (выражения Свободы противоречиями) по-сте-пенно, мол, по-ро-дили соз-нание своего состояния... этого МЫ, этого ОНИ, и только Я (сокровенное) и выраженное (Свобода) оставалось в МОЁМ подсознании. Да так навсегда, вплоть до наших дней, и задержалось там. И нам и

теперь надо особо напрягаться, чтоб перевести это из подсознания в сознание.

А извне, то ли палеоантропы, то ли убиватели неолитов, через более или менее короткое время «поняли» угрозу существующему положению этой, пусть и условной и подсознательной, Свободы (может, она среди самок распространялась). И эта деятельность стала запрещаемой. Творишь такую неординарность как параллельные линии, следы от проведения по мокрой глине растопыренной пятернёй – а нельзя, и рубили одну фалангу пальца за каждое слушание. Как факт – самые первые изображения, так называемые «макарены» и оттиски ладоней часто свидетельствуют, что художник-неслух был без одной или нескольких фаланг. Ну и в самых тёмных местах пещер – тоже факт – находят всегда эти «макарены» и оттиски ладоней. Нельзя ж было рисовать...

И вот – роль противоречий в происхождении искусства и самого человечества.

Как же их, противоречия, не чтить и отдавать пальму первенства чему бы то ни было другому?

А Рубина – отдала. А её почитатели – отдали.

Вмешаться гневно...

А вдруг я просто не сумел заметить у Рубиной противоречия? Когда-то – был предвзят. А теперь – тоже. По инерции. Ведь неприятен лично мне, коллективисту, идеал мининицианства. Вот я и не сумел.

Скажем, минус-приём. При нём явно в тексте присутствует только одно из противоречий. Второе – отсутствует в тексте, но всеми подразумевается.

Например, вот эта колоссальность звёздного неба. «...седой от звезд, бездне» ведь не суждено быть увиденной огромным большинством читателей Рубиной. Возьмём, раз Рубина израильтянка, например, русскоязычных израильтян. В пустыне они не живут. А даже в сёлах (если их можно так назвать) такое обилие электрического освещения, –свидетельствую, – что видеть на небе можно только несколько самых крупных звёзд. А города в Израиле почти непрерывно перетекают один в другой. И освещены ещё обильнее. Так что практически никто седую бездну (то есть мириады крошечных звёздочек) в Израиле не видит.

То же и с европейской частью России. Только не из-за освещения, а из-за климата и влажности воздуха. Большинство россиян такого неба тоже не видит.

Так что экстраординарному у Рубиной небу противопоставлено небо ординарное. – Вот мне и текстовое

противоречие. Оно и ценностное, ибо соотнесено с ordinaryм мещанством и неordinaryм нищезанством. А их столкновение – это то самое мининищезанство.

Не ахти что, но всё-таки. Не всем же быть гениями. Есть же *«различие между композитором-мастером и композитором-творцом»* (Мазель. <http://littera.websib.ru/volsky/1380>). Если грубо – я скажу так: где больше противоречий, там больше художественности.

А не проверить ли ещё на чём-то из Рубиной?

Рассказ «Ральф и Шура».

Опять своенравная кошка. Как и дважды упомянутая в «Дороге домой» и являющаяся там образом свободолубивой девочки. Опять соответствующий ей мужчина. Там был позитивно окрашенный **«отец... господин не из компанийских»**, здесь **«дед, жестокий»**. Опять есть незлобно, но третируемый. Там была мама, тут пёс. Кошка его, любя, дразнила, дед тоже.

Не может Рубина не выражать своего разного отношения к разным? Ценностного противоречия нет.

Или и тут есть? Повествователь-то всех любит, не только своенравных.

Но.

«Как известно, у каждой кошки свое выражение ...лица».

Про пса, однако, так не сказано.

Всех-то всех, но кого-то – больше любит.

Так что всё-таки нет ценностного противоречия.

Рассказ «Душегубица».

Вот тут-то оно, казалось бы, явно есть. С одной стороны «душегубица» Берта, с приемлющей её в негативном качестве жизнеописательницей своей, девятиклассницей, повествователем-автором №1, любящей экстремы (и Берту без кавычек душегубицу: **«Моя тетя Берта была убийцей»**, - и феноменальное её оправдание присяжными, и из ряда вон выходящую расчётливость Берты, и **«горючую ярость, которая выиграла апрельской ночью 1966 года несколькими мощными толчками»** и вызвала соответствующее всем тутошним экстремам наказание Берте в конце жизни: **«брошенное бабкой: "Убийца!" — в Бертину сторону»**, - жить под одной крышей с непримиримой ежедневной обличительницей в убийстве). – Всё – по крайностям! **«Я пришла в неописуемый восторг. Представила хорошенькую растрепанную Берту в полицейском участке, обезображенный труп ее брата-**

возлюбленного на мостовой...» С другой стороны автор №2, нынешняя писательница, всё смягчающая.

Автор №2 схитрила, заставила и №1 написать правду, но незаметно: **«...подстерегла его с банкой серной кислоты и плеснула в лицо. Он страшно закричал, бросился за ней, упал и умер. Вернее, так: умер и упал — у него было слабое сердце».** То есть Берта своего соблазнителя не убила. А в конце, - как бы не для автора №1, - оказывается, что и про свойство серной кислоты ничего не знала. И прожила всю свою мещанскую жизнь вполне по-мещански. А только аберрация видения автора №1 заставила того сам бухгалтерский гений Берты воспринимать как такую же экстрему, что и убийство серной кислотой, и Берту-демоницу восхвалять. Тогда как подшучивающий над нищезанкой-автором-№1 автор № 2 показывает те же черты надзирателя в концлагере: **«— Мишу-го, Мишу угробила! — кричала бабка в коридор, — бедный, мерз всю свою жизнь, а она для него угля жалела! <...> печь топила зимой только в сильные холода, берегла копейку»,** - как тихое очарование непритязательного мещанства: **«Берта, единственная из всех пяти дочерей, каждый месяц первого числа — день в день <...> посылала родителям денежные переводы».**

Этот двойной, с противоположных точек зрения, одобрительный взгляд двух авторов на Берту (якобы нищезанский и якобы мещанский), казалось бы, чем не столкновение ценностных противоречий, во множестве рассыпанных по большей части рассказа и рождающий там миникатарсисы о мининищезанстве – тончайшую снисходительность мининищезанки Рубиной и к мещанству, и к нищезанству, а ещё и к самой себе:

«Тут [об убийстве в прошлом, XX веке, наверно, в начале его] важно представить культурное общество и уютную жизнь маленького городка, где разворачивается действие».

Вы понимаете? - это **«культурное общество»** в местечке Золотоноша и убийство...

Ну мило. Ну умилительно.

А ведь и тогда, в начале XX века, зрели, как и теперь в России **«Неслыханные перемены, Невиданные мятежи».**

Но Рубина – человек умный. Она ж в принципе против громадности:

«Ну, а теперь скажите мне: где тот Шекспир и кому он нужен?»

«...еще какого-то Яго подсовываешь!»

Что мучило Шекспира, когда Англия катилась в этот омерзительный капитализм, когда он писал «Отелло»? – Шекспира мучило, что человек изменяем, мир капитально плох, что нестерпимо, и поэтому когда-нибудь, когда-нибудь так не будет. Для того он с ювелирной точностью последовательно привёл совершенно доброго и доверчивого мавра к убийству любимой и любящей его жены, да такой, какая в принципе, кажется, не способна на измену. Вот на какую невероятность пришлось пойти Шекспиру ради выражения своего глобального несогласия с положением вещей. И нас – потрясает столкновение ТАКОЙ невероятности с ТАКОЙ ювелирной точностью перехода.

А у Рубинной и Берта не убийца, и... Так далее.

То не находятся противоречия, то находятся... Пусть я и не прав относительно Рубиной. Но. Всё как-то миллиметрово. Не по росту России.

А впрочем...

*И спросит Бог: «Никем не ставший,
Зачем ты жил, что смех твой значит?»
«Я утешал рабов уставших», - отвечу я.*

И Бог заплачет.

Губерман

28 января 2013 г.

Приложение

До чего доводит принципиальность.

На Англию наваливался капитализм. Тогда и слова такого не было. Но явление страшное и мерзкое, а главное, какое-то неотвратимое и непобедимое – было. Свои гробят своих, и ничего не поделаешь. И в категорическом неприятии этого и в невозможности противостоять Шекспир сломался. «Ромео и Джульетта» считается переломной в его творчестве, переходящем к великим трагедиям.

То же застал в СССР вернувшийся в него в 1932 году Прокофьев. Свои поедом едят своих на пути в, казалось бы, рай – в коммунизм. И он создал музыку к балету «Ромео и Джульетта» (1935-1936).

Теперь тоже старая для России история: западники и славянофилы. Поддаться России американскому глобализму или отстоять свою самобытность? И либералы, и традиционалисты говорят, что любят Россию и хотят её народу счастья. Только одни его видят в сытости и комфорте для себя, каждого, а другие – в личной недостижимости, как её определяют демократы, в материальной недостижимости во имя более высокого, потенциально приспособленного к спасению человечества от

смерти из-за перепотребления и перепроизводства, от капитализма, одним словом, - к спасению мессианским народом, русскими, а лучше – россиянами. Вот последние слова аналитического доклада института социологии РАН от 2012 года под названием «О чём мечтают россияне»: *«В целом, результаты проведенного исследования указывают на то, что в современном массовом сознании российского народа совершенно определенно имеются налицо все те компоненты, из которых «синтезировалась» русская мечта в прошлом. Это идея государства как «общего дела», это приоритет социальных прав над политическими, это сильно выраженное чувство справедливости, это приверженность социальному равенству и, наконец, это понимание свободы как «воли»».*

И те, и те считают себя единственно правыми, полными достоинства и гордости за такую свою цель.

И пронзительно значимым выглядит это противостояние. И чем-то подобным, кажется, воодушевился Башмет, в день своего шестидесятилетия выступив, в частности, с таким номером – исполнением марша Монтеки и Капулетти симфоническим оркестром под его управлением.

Я смотрел в молодости этот балет в Большом театре. И кроме 40-минутного скандирования залом: «Пли-сец-ка-я!» (а может и не 40-минутного, ибо пришлось уйти, так и не дождавшись конца этого ажиотажа), в памяти остался только этот марш Монтеки и Капулетти. То ли это самая красивая и запоминающаяся музыка во всём балете, попсовая, так сказать... Легко насвистеть её, напеть себе под нос... Но помнится слегка и интерьер сцены, и одежды артистов, нечто красно-бордовое. Претенциозно самодовольное и готовое к конфликту. И артисты выступали в плохом смысле театрально, показушно, напыщенно. И музыка из оркестровой ямы несла спесь, гонор, фанфаронство.

А переживания такого аж всеземного масштаба противостояния, как от звучания оркестра Башмета, не было.

И вот через два дня, на «Воскресенье с Владимиром Соловьёвым», этим провокатором идеологической драки ради, мол, примирения, с таким всегда подбором участников, чтоб верх одержала проправительственная сторона, Башмет собственной персоной отчитывался, почему он согласился стать доверенным лицом Путина.

- *А потом на вас набросилось целое сообщество и кричали: «Как посмел Башмет сказать, что ему нравится Путин, что он обожает Путина. Как имеет право Башмет не стесняться своих политических взглядов.*

- Я имею право. Я имею право, потому что я живу в своей стране, никуда не уезжал, и меня уважают именно за то, что пришли на мой концерт, допустим, в Нью-Йорке, в Карнеги-Холле, послушали, поаплодировали, а я уехал к себе домой. И я уважаемый человек и не претендую на какие-то социальные, там... я не забираю место у них. Что у меня есть моя любимая страна и мой уважаемый и любимый президент.

- И вы не стесняетесь этого чувства?

- А почему я должен кривить душой?

- Я не могу представить, чтоб вас могли купить. Ну, во-первых, хорошо вас знаю и представить саму идею, что....

- Послушайте, я играл Шуберта так же при Брежневе.

- О чём и речь... (смеётся. Аплодисменты. Все поняли, что Брежнев упомянут как противоположность правящемуся Путину) Причём, что интересно, что к Шуберту вы относились не так, как к Брежневу (оба смеются. Аплодисменты).

- Но Брежнев тоже был очень симпатичный, должен сказать. Хотя я с ним не был знаком.

- У вас всегда складывались хорошие отношения с властью или были разные периоды?

- У меня не было отношений, никаких. Пока... Я познакомился, по случаю, с Борис Николаичем Ельциным. А затем с Владимиром Владимировичем. До этого я не был знаком с нашими руководителями.

- Когда к вам подошли и сказали, может быть... давайте... в доверенные лица... Ведь здесь сразу начинаешь думать. Ну любой человек начинает думать. С одной стороны, конечно, это честь, когда к кандидату в президенты страны предлагают... А с другой стороны, понимаешь, как вокруг тебя начнут говорить. Вы учитывали эти факторы или это был вообще не вопрос?

- Я немедленно согласился. Потому что я и считаю себя единомышленником. Я люблю Россию. Он любит Россию. Я отстаиваю права российского человека. Он тоже отстаивает права, и каждого человека, и всей страны. Мне очень нравится его уличная, в хорошем смысле, такая позиция: наши. Нет, мы Россия, мы не прогнёмся. Я за это.

- Прямая позиция.

- Я за это».

И мне стало ясно, что двумя днями раньше именно это он выражал своей глобальной интерпретацией исполнения марша Монтекки и Капулетти.

Ведь у Прокофьева звучит гордость. Но я подозреваю, что из тех же нот состоит и тема любви и тема этого марша. Прокофьев – НАД всем. Он, как и Шекспир, - в сверхбудущем.

А Башмет присутствует при колоссальном всемирно-историческом провале России, наследника СССР. Что с того сохранившегося от СССР ракетно-ядерного паритета, когда его нельзя пустить в ход, а во всех остальных областях жизни – провальная отсталость, и снаружи и изнутри давят, чтоб прогнулись. И, хочется сказать, только Путин...

Башмет свою мечту о всестороннем паритете в том марше выразил. Почти «в лоб» - иносказательно. Он извратил Прокофьева. Дважды. Во-первых, исполнив концертно марш. Тот лишь земное нынешнее зло выражает. Может, даже можно сказать – иллюстрирует. Во всём произведении безграничной Гордыне противостоит неограниченная Любовь. Чтоб то и то взаимоуничтожилось ради сверхбудущей гармонии. Исполнив только одно из противостоящих – уже нарушаешь художественный смысл целого (если он тут художественный, а не просто иллюстративный, то есть уже не художественный, ибо заранее известный). А во-вторых, Башмет ещё и глобализовал звучание. Выразить свою чётко знаемую мечту образно – это создать произведение прикладного искусства.

Запись этого исполнения должна была б быть помещена в музей околоискусства, если б были приняты моих два предложения: 1) организовать такие музеи околоискусства и 2) помещать туда только то, что не отправляется в музеи искусства (предназначенные только для того, что выражает подсознательное).

30 января 2013 г.



Ася Лapidус Возле казармы в свете фонаря...



обственно этой песне я научилась у Бродского – а раньше не знала - не слышала, не замечала, но его перевод Лили Марлен как-то сам лег в память – вместе с ошеломляюще картавым голосом очень партикулярного поэта.

Сначала это было в Праге несколько лет тому назад. Злата Прага – красавица на всю Европу, но в сезон, переполненная туристами до отказа, базарно торговала цветным стеклом и прочей дребеденью на всех углах – мбчи не было ни малейшей, но мы терпели – как умели, несмотря на приклатненный лексикончик и небезызвестные замашки норовистого дикого племени новорусской волны, бесцеремонно затопляющей все и вся на своем пути.



Благотворным ее отливом нас вынесло на необитаемый остров экскурсии по пражским синагогам, где нас случилось всего шестеро. Молодая ортодоксальная пара из Флориды – он - любознательный доскональностью всезнающего ешиботника, внешности на удивление библейской, слегка припорошенной провинциальной запущенностью, задавал бесконечные, иногда

бесцеремонные вопросы, она - в темной долгой юбке с умным и красивым, несколько грубоватым лицом, вопросов не задавала, зато знала ответы на многое, если не на все. Еще была совсем юная и очень застенчивая, явно не женатая пара из Англии – он еврей, а она нет, они заметно робели и помалкивали в присутствии взрослых. Ну и мы с Джоном – я еврей, а он нет.

Нас всех мгновенно ошеломила экскурсоводша – по-тевтонски голубоглазая и строго прямая, тонкая, как струна и легкая, как осенний лист, абсолютно седая, и очень не молодая – за 80 – она держалась с той естественностью, которая дается аристократически – высокородным происхождением, не знавшем униженности и унижений. Английский язык ее был далек от совершенства, но понятен.

Мы двинулись в путь. Вели экскурсию двое – экскурсовод и флоридский Яков – который сумел тут же выяснить, что нордическая седая дама родилась в Праге, а детские годы провела в Треблинке, выжила, и вернулась, подобно многим, на родное пепелище - в безысходной надежде найти близких. Ей повезло – отец тоже выжил, но больше никого не осталось. Английский она выучила самоучкой – надо сказать – очень неплохо. Все это я услышала не от нее, а через Якова – он умел узнать все, а остальные заметно стеснялись... Она вообще говорила по существу – не отклоняясь-растекаясь мыслями-чувствами – очень сдержанно. Только о еврейских праздниках в теплой домашности не забытого раннего детства она вспоминала с как бы прорвавшейся очень личной ностальгической нежностью.



А потом в Пинкасовой синагоге на выбеленных стенах мы увидели имена – бесконечную вязь имен от пола до потолка – она предупредила, что фотографировать запрещено категорически, но потом почему-то сама предложила Джону снять, наверно

пожалела меня – казалось, навсегда остолбеневшую перед собственной, хотя слегка измененной, фамилией в тесном ряду других. Когда же, в ответ на настойчивость Якова, она повела разговор о Треблинке, меня ее рассказ вывел из оцепенения, поразив не просто будничностью, а тактичным умением, не выставляясь, благородно обойти ужасное – сводя все к житейскому – дети всегда дети, - сказала она, - ну и - мы там радовались пустякам, и по-детски - жизни. - Так, папа мой умел рассказывать – в одиночке давали книги, и было совсем неплохо – никто не мешал. А ведь он прошел еще и лагерь, и лесоповал, и цингу, и никогда никаких устрашающих подробностей. Может, это национальный характер, или бывает такая порода людей – не знаю, но я эту женщину забыть не могу.



Тогда же, уже в Мюнхене в букинистическом магазине толстый, по-местному слегка слоновый, владелец-продавец на негнущихся ногах поразил нас насмешливой недоброжелательностью, небывалой в книжном мире, где книжники всех стран и народов мгновенно чувуют-отличают родную душу, можно даже ничего не говорить и уж, конечно, не покупать – радость узнавания дороже денег. Но тут случилась осечка, хотя мы раскопали-распознали и тут же купили прелестно, очень по-немецки раскрашенный готический календарь на шероховатой, толстой и слегка увядшей бумаге - начала XX века, на обложке

издание - Регенсбург-Мюнхен. Не бог весть какой библиографический раритет – да разве в ценности-ценнике счастье. Как всегда, неприязнь взаимна – по-моему, ему бы больше подошла мясная лавка. Так или сяк, но мне все-таки кажется, его нескрываемая враждебность случилась из-за моей семитской наружности – похоже, Мюнхен не в силах забыть харизматического венца, хотя вполне возможно, априорно малограмотные американцы априорно невыносимы на изысканно-европейский взгляд.

А в конце прошлого лета мы неугомонно сели на пароход от Будапешта до Амстердама вдоль да по речкам, вдоль да по трехречью - Дунаю-Майну-Рейну. Бесконечность шлюзов сильно портила ландшафт серо-бетонной клаустрофобической обреченностью. И все-таки Германия волшебный край – никуда не денешься. Хотя не без капли дегтя - поражающей местными экскурсоводами. Все до одного они застенчиво повторяли одинаково безликую историю о том, как – из песни слова не выкинешь – было дело – депортировали местных евреев – почем сегодня эвфемизмы – недорого, можно сказать бесплатно. Пусть даже и пыль веков припорошивает, косметически припудривая неистребимое варварство племен и народов, иногда оно сильно ощущается.



По вечерам в каюте мы спасались замечательной американской агиткой – Нюрнбергским процессом, где под горькие маршевые звуки Лили Марлен, другая Марлен - Дитрих, отказавшись от кафешантанной победительности, рассказала о Германии все, умудрившись даже заглянуть в будущее, а Спенсер Трейси продемонстрировал самый что ни на есть исконно-

посконный американский менталитет – великодушие которого не встречается за пределами Соединенных Штатов. По поводу последнего утверждения можно спорить сколько угодно, но треть столетия, проведенного на благословенной американской земле, твердо убедила меня в этом – не переубедить.



Спасение безусловно требовалось. Пароходная командирша, главный наш экскурсовод – голландского, впрочем, происхождения – ухватками похожая на фельдфебеля или начальницу концентрационного лагеря – ей бы пару немецких овчарок – в морской униформе выглядела устрашающе, хотя больше всего лично мне она напоминала Ларису Трофимовну – нашу незабвенную учительницу литературы в старших классах общеобразовательной московской школы №1. Говорила с теми же запугивающими интонациями-паузами, жестко повторяя только что сказанное, не умеющие улыбаться твердые губы вверх вниз, с трудом разлепляются от избытка помады. От детских-подростковых воспоминаний никуда не деться.

Зато в прелестном западногерманском городке Вертхайм все получилось по-другому – очень грамотная и почему-то, как выяснилось, восточнонемецкая экскурсоводша, не по-нашему вкусившая черствый хлеб эмиграции, по-простецки без стеснения называла все своими именами, а потом – по паутине перепутанных улиц, потом я сунулась в магазин, а когда вышла – увидела странную картину – очень старый – я бы даже сказала, непрезентабельно старый человек (такое бывает) на лавочке – хулуший, в чем душа держится, поет Лили Марлен удушливо-хриплым голосом да на пару с Джоном, примостившимся рядом – я тут как тут, не могла не присоединиться. Пропев песню, старичок рассказал, что однажды был в Америке, где повстречался с ветеранами Второй мировой – я ведь тоже ветеран только по другую сторону – мне было 16, а сейчас 86 - я был поражен

американским дружелюбием – ты ветеран – я ветеран, а вот мы - немцы другие – как были врагами так и остались.



Между тем – не очень давно – было дело – дома в Нью-Йорке моя ближайшая подруга - по-американски Дороти, а по-немецки Гундель (она же Кунигунда) – в девичества Стайнер, а по мужу Миссис Сейф - родом из города Бамберга, где мы тоже побывали – плакала над моим довольно убогим английским подстрочным переводом с русского все той же Лили Марлен Бродского – у которого – насколько я это могу понять, и подлинности и безнадежности ей показалось больше, чем в немецком оригинале.

ИОСИФ БРОДСКИЙ

Лили Марлен

Возле казармы, в свете фонаря
кружатся попарно листья сентября,
Ах как давно у этих стен
я сам стоял,
стоял и ждал
тебя, Лили Марлен,
тебя, Лили Марлен.

Если в окопах от страха не умру,
если мне снайпер не сделает дыру,
если я сам не сдамся в плен,
то будем вновь
крутить любовь
с тобой, Лили Марлен,
с тобой, Лили Марлен.

Лупят ураганным, Боже помоги,
я отдам Иванам шлем и сапоги,
лишь бы разрешили мне взамен
под фонарем
стоять вдвоем
с тобой, Лили Марлен,
с тобой, Лили Марлен.

Есть ли что банальней смерти на войне
и сентиментальней встречи при луне,
есть ли что круглей твоих колен,
колен твоих,
Ich liebe dich,
моя Лили Марлен,
моя Лили Марлен.

Кончатся снаряды, кончится война,
возле ограды, в сумерках одна,
будешь ты стоять у этих стен,
во мгле стоять,
стоять и ждать
меня, Лили Марлен,
меня, Лили Марлен.



Виктор Гопман На крайнем Западе Европы



аберите в Гугле четыре слова: «самая западная точка Европы», и вы получите ответ: «мыс Рока, Португалия». То же самое утверждают и другие поисковые системы, а также различные географические справочники и путеводители, дающие долготу этого мыса как 9 градусов 30 минут. Правда, взглянув на карту, нетрудно убедиться, что все-таки ближе к Америке (и, соответственно, дальше от Гринвича) расположен омываемый волнами Атлантического океана берег Ирландии – причем в цифровом выражении это расположение определяется как 10°20' западной долготы. Но Ирландия – остров, и потому мыс Рока все равно имеет честь и счастье считаться крайним Западом Европы (строго говоря, Евразийского континента). Несправедливо, разумеется – ведь разница чуть ли не целый градус, но что поделаешь... Тем более, что ни Джонатан Свифт, ни Джордж Бернард Шоу, ни Джеймс Джойс ничего конкретного не говаривали о западном побережье своей родины – а вот португальский поэт Луис Камоэнс сказал о мысе Рока: «это место, где земля кончается и начинается море», причем сказано это было в 1572 году, то есть за 95 лет до рождения Свифта, самого старшего из названных классиков ирландской литературы. Вот он, мыс Рока.

Первую ночь на португальской земле мы с женой провели в Коимбре... Помните?

Коимбра, чудесный наш город,
Ближе нет тебя и краше.
Мы позабудем не скоро
Свет из окон старых башен...

Не помните? Значит, вы непростительно юны. Значит, вам не довелось испытать летом 1955 года, вместе со всем советским народом, сладостный шок, – когда в общесоюзный прокат совершенно официально вышел аргентинский фильм «Возраст любви». И когда имя исполнительницы главной роли Лолиты Торрес стало для советского человека, только-только начавшего

оттаивать от всех войн – мировой, отечественной, холодной и той, что велась властью против своего народа... так чем же стало ее имя? Если хотите, символом освобождения. Сильно сказано? Ну, разумеется, по значимости фильм несопоставим ни с главным событием этого времени – XX съездом КПСС (февраль 1956 года), на котором Хрущев разоблачил культ личности Сталина, ни, возможно, с приездом в Москву (в декабре 1956 года) звездной пары – Ива Монтана и Симоны Синьоре. Однако не будем забывать, что к 1955 году немецкие трофейные ленты, вроде «Девушки моей мечты», и вместе с ними кукольная мордаха Марики Рёкк, уже бесследно исчезли с послевоенного экрана Страны Советов. И вот – Лолита Торрес, во всей своей красе, а в некоторых эпизодах столь же полунагая, как и Марика; пока советский человек любит ее только на экране, но впереди 14 триумфальных гастрольных поездок по всему Союзу, с 1962 по 1977 год. И что бы ни пела Лолита на гастрольных площадках, восторженные зрители неизменно требовали заветных хитов (хотя и слова такого тогда еще не существовало) из «Возраста любви», – в их числе и две песни, посвященные старинным университетским городам – испанской Саламанке и португальской Коимбре.



Мыс Рока – самая западная точка Европы

Что мы знали тогда о Коимбре? Ведь о Португалии – и то не очень имели представление («ну, это рядом с Испанией...»). Надо было приехать в этот древний город, первую столицу Португалии, чтобы увидеть своими глазами расположенный на холме Коимбрский университет, основанный в 1290 году, старейший в стране и один из старейших в Европе, и понять, что

там нет «старых башен», а высится в университетском дворике только одна колокольня – действительно, заметная с любого места Коимбры, в том числе и с другого берега реки Мондегу, где была наша гостиница. Мы, естественно, решили, что до темноты надо постараться хотя бы глазком глянуть на университетский комплекс – тем более, что он вроде бы рукой подать, надо только перейти мост. Ну, перешли мост, новый, вантовый... Да только оказалось, что это был не тот мост, который (как мы ошибочно решили, глянув на карту) вел в центр города и к университету. Пока до нас дошло, что мы заплутали, на город уже стали спускаться сумерки. Оно, конечно,

Кто был хоть раз под сенью португальской ночи,
Тот позабыть ее не сможет, не захочет...

(это все из той же песни о чудесном городе Коимбре), но все-таки, согласитесь, как-то неуютно. Да к тому же народу на улицах практически никого. Смотрим, стоит одинокая машина, а в ней одинокий человек – наверное, ждет кого-то. Кинулись к нему... И вот это первое общение с произвольно взятым португальцем преподнесло нам два важных урока. Первый (невеселый и подтвержденный опытом последующих дней): английским среднестатистический португалец владеет также, как и его соседи по географической широте – испанцы, итальянцы, греки... То есть, практически никак. А вот выводы второго урока были куда как позитивны. Португальцы (и это тоже не раз подтвердилось на протяжении нашего почти десятидневного пребывания в стране) очень отзывчивый и душевный народ. Человек вышел из машины и повел нас куда-то через дорогу – по-видимому, в некое госучреждение, охранявшееся полицейскими (или просто людьми в форме – мы не поняли, да это и не важно для сюжета), попросил у них, как мы поняли, телефонный справочник (который человек в форме без звука принес ему), вызвал по своему мобильнику такси и... И простоял вместе с нами минут семь, пока машина не вывернула из-за поворота. Затем он убедился, что таксист сообразил, куда нам надо (собственно говоря, и таксист владел английским, в пределах круга своих профессиональных обязанностей, да и у меня в кармане была карточка гостиницы, которую я первым делом беру у портье – на всякий случай, а точнее, вот для таких случаев) – и лишь после этого мы сердечно распрощались с нашим благодетелем. «Спасибо» по-португальски, кстати, «обригадо» (заметим в скобках, жена постоянно путала его с японским «спасибо», то есть, «арригато» – но это уже не суть важно).

Сев в такси, мы решили не искушать больше судьбу и возвращаться в гостиницу – тем более, что денек выдался нелегким. Прямого воздушного сообщения между Израилем и Португалией не существует, поэтому мы летели сначала до Стамбула и уже оттуда до Лиссабона (что, согласитесь, утомительно само по себе). Из Лиссабонского аэропорта отправились автобусом в Коимбру (километров двести) и, одолев примерно треть пути, заехали в город Обидуш, где заодно и пообедали. В Обидуше мы впервые столкнулись с тем очевидным фактом, что португальский рельеф – он скорее горный, нежели равнинный. В переводе на язык практических советов путешественнику это означает, что желательно прогуливаться по улицам многих португальских городов (включая и Лиссабон, и Порту) в добротных кроссовках на ребристой подошве, а иначе... нет, шею не сломаешь, но лодыжку подвернуть – запросто. В Обидуше мы впервые увидели и знаменитые португальские изразцы – *азулежу*, которыми не только украшены интерьеры различных помещений, включая и музеи, и вокзалы, и рестораны, и магазины, но также выложены стены как церквей, так и зданий гражданской архитектуры, включая и жилые дома, и театры, и государственные учреждения.



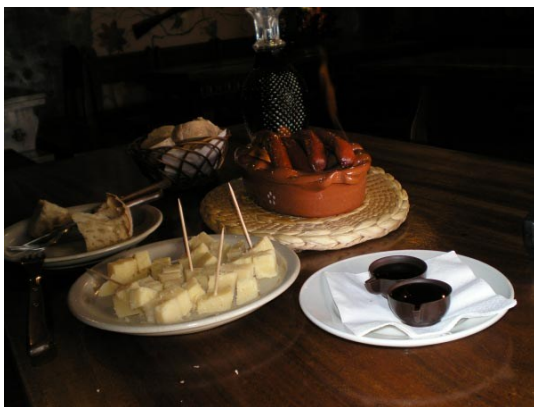
Португальские изразцы

А еще в Обидуше мы попробовали знаменитый местный вишневым ликер. Собственно говоря, сам ликер ничего особенного собой не представляет – все дело в том, что он подается в шоколадной чашечке, которая и съедается на закуску – мечта многих героев анекдотов про сумасшедших, да только в Португалии это повседневная реальность...

При этом заметим, что подают такое чудо и в самых простых забегаловках, вроде той, куда мы соблазнились заскочить, чтобы по-быстрому съесть сосиски (которые жарят в специальной

керамической посудине: всего-то дел налить на дно спирт и чиркнуть спичкой) и сыр, с куском "домашнего" хлеба.

Впрочем, сами понимаете, вишневый ликер, сколь бы экзотически он ни был сервирован, отнюдь не является наиболее прославленным напитком Португалии – по праву этот титул носит, разумеется, портвейн.



Вишневый ликер в шоколадной чашечке

Подчеркнем, что вино имеет право именоваться таким образом, лишь если оно изготовлено из винограда, выращенного на северо-востоке Португалии, в долине реки Дору, которая пересекает практически весь Пиренейский полуостров и впадает в Атлантический океан. В ее устье расположены два города – Порту (на правом, северном берегу) и Вила-Нова-де-Гайя (на левом, южном). Города эти соединены несколькими мостами, в числе которых железнодорожный мост, возведённый в 1876—1877 по проекту Гюстава Эйфеля и ставший одним из первых проектов, принёсших его автору всемирную славу; кстати, аналогичные инженерные решения Эйфель использовал при сооружении нью-йоркской Статуи Свободы (1884-1886) и самого своего известного создания, парижской Эйфелевой башни (1889). Порту, второй по величине и значимости город Португалии, дал свое имя и портвейну – очередной пример исторической несправедливости, поскольку знаменитые погреба, где производится это вино, расположены как раз на противоположном берегу реки Дору, в Вила-Нова-де-Гайя. Ехали мы из Коимбры, с юга на север, и потому еще до въезда в Порту, как бы по пути, посетили один из этих погребов, прошли по технологической цепочке,

полюбовавшись на бочки, где портвейн созревает и годами набирает все свои положительные качества.

Визит, разумеется, закончился в дегустационном зале, где нашему вниманию была предложена продукция как красного, так и белого цвета (кстати, белый портвейн мне понравился больше).

И еще кстати: Порту понравился нам больше, чем Лиссабон. Надо заметить, что поселение в пределах нынешних городских границ Порту существовало еще до прихода сюда римлян. Римляне дали городу название *Portus Cale* («Красивый порт») – откуда появился топоним *Portucale*, а уж отсюда недалеко и до современного названия всей страны, *Portugal* (напомним в скобках, что первой столицей Португалии все-таки была Коимбра). В Порту родился и принц Генрих Мореплыватель (1394-1460) – сын португальского короля Жуана I. Правда, ему самому не довелось ни сидеть на португальском престоле, ни принимать участие хотя бы в одном значительном плавании, а горделивое прозвище он получил в знак признания своих заслуг как организатора многочисленных португальских морских экспедиций вдоль западноафриканского побережья. В сущности, сверхзадачей этих экспедиций были поиски морского пути в Индию – чтобы взять в свои руки торговлю пряностями и стать благодаря этому владыками мира.



Портвейн в бочках

Первым, кто сумел обогнуть Африку с юга и выйти в Индийский океан, на финишную прямую к Индии, был Бартоломеу Диаш (ок. 1450 – 1500), открывший в мае 1488 года мыс Доброй Надежды. Впрочем, оптимистическое название «Добрая Надежда» – более позднего происхождения и принадлежит царствовавшему тогда Жуану II, а сам Диаш назвал

его мысом Бурь, в память о том страшном шторме, который чуть не погубил его экспедицию. Несмотря на все трудности, Диаш продолжил было двигаться в северном направлении, но когда его суда достигли залива Алгоа, доплыв примерно до нынешнего города Порт-Элизабет в ЮАР (33 градуса 57 минут южной широты), матросы начали роптать, и офицеры экспедиции приняли единодушное решение возвращаться домой, в Европу. Диаш доказал, что морской путь в Индию существует, но смог продвинуться по этому пути, от мыса Доброй Надежды (34 градуса 21 минута южной широты), меньше чем на полградуса – точнее, всего лишь на 24 минуты.

Первым европейцем, достигшим Индии морским путем, стал Васко да Гама (1460 или, по другим сведениям, 1469 – 1524); надо сказать, что руководить строительством судов для этой экспедиции было поручено Бартоломеу Диашу. Да Гама высадился в городе Каликут, на западном побережье полуострова Индостан, в мае 1498 года. Все эти мореплаватели, о которых шла речь, были португальцами – как, кстати, и Фернан Магеллан (1480-1521), хотя свое кругосветное плавание он совершал, состоя на службе испанского короля Карла I.

Португальцы по праву гордятся своими достижениями в славную эпоху великих географических открытий, и недаром на гербе Португалии изображена так называемая армиллярная сфера – астрономический инструмент, употреблявшийся для определения координат небесных светил, без которого не мог отправиться в дальнее плавание ни один капитан. Подвиги португальских мореплавателей воспеты в «Лузиадах», эпопее великого португальского поэта Луиша де Камозанса, созданной во второй половине 16 века.

Но вернемся в город Порту. Там надо посмотреть и величественный кафедральный собор, сооружение которого началось в XII веке, причем усовершенствования и украшения продолжались вплоть до XVIII века. И здание биржи, построенное в середине XIX века, в котором также заседал Суд по торговым делам. Проходя по рабочим кабинетам и залам заседаний, в полной мере начинаешь понимать смысл выражения «деловая роскошь» – все эти величественные письменные столы, покойные кожаные кресла и диваны, книжные шкафы, за стеклами которых загадочно мерцает потускневшая со временем позолота корешков, напольные глобусы с диаметром сферы не менее полутора метров... А еще в здании биржи имеется один зал, при отделке и оформлении которого прилагательное «деловой» было отброшено за ненадобностью. Его стены и потолок украшены

вызолоченными арабесками, и незачем обращаться к табличке у входа – и так ясно, с первого взгляда: это и есть прославленный во всех путеводителях зал «Тысячи и одной ночи».

И еще не забыть центральный железнодорожный вокзал города, все стены которого плотно изукрашены в стиле *азулежу*, с изображениями исторических сцен и городских празднеств. И еще надо прогуляться по набережной реки Дору, с видом на Вила-Нова-де-Гайя: по ту сторону реки вывески всемирно известных винных погребов, а по эту разноцветные домики, теряющиеся на фоне могучего епископского дворца; соединяет же оба берега арка железнодорожного моста (построенного уже не Эйфелем, а его учеником).



Мост, соединяющий Порту и Вила-Нова-де-Гайя

И зайти в один из многочисленных городских парков, известный своими изображениями... ну, скажем так: усердных потребителей портвейна (как там у Стругацких? «Общество усердных дегустаторов?»). Несколько скульптурных композиций, выставленных вдоль парковых аллей, наглядно демонстрируют, как потребители, усердно наупотреблявшись, валяются один за другим, под пьяные улыбки своих коллег.

Последние португальские денечки мы провели в столице страны, Лиссабоне. Город стоит на семи холмах, только склоны этих холмов куда более круты, чем привычные нам московские или иерусалимские. Перепады высот в некоторых районах города столь значительны, что для удобства пешеходов сооружены лифты, облегчающие подъем с одного уровня на другой, много более высокий. В Лиссабоне мощные улицы – и правильно, потому что по гладкому асфальту люди бы скользили и падали.

Лучшие времена города приходятся на годы португальского Золотого века, начало эпохи Великих географических открытий – конец 15 - начало 16 столетия. Но увы: нам не суждено увидеть тот блестящий Лиссабон – 1 ноября 1755 года страшное землетрясение буквально стерло город с лица земли. Это был День Всех Святых, и множество людей погибло под развалинами церквей, во время праздничной службы; в общей сложности подземные толчки, последовавшие за ними пожары и гигантские волны реки Тахо, на правом берегу которой стоит Лиссабон, унесли жизни пятнадцать тысяч человек. Современники считали, что это был не природный катаклизм, а проявление Божественного гнева; Вольтер в своей поэме, посвященной Лиссабонскому землетрясению, говорил о слабости и беспомощности человека перед силами зла.



Порту. Потребители портвейна]

Однако в Португалии нашелся человек, сумевший противостоять силам зла – это был министр короля Жозе I, вошедший в историю под именем маркиза Помбала. Предание гласит, что уже после полудня 1 ноября Помбал отдал свой первый приказ – «похоронить мертвых и накормить живых», после чего объявил всеобщую мобилизацию, раздал населению продовольствие из государственных запасов, распорядился развернуть полевые госпитали и установить палатки для временного жилья. И буквально на следующий день приступил к разработке планов по восстановлению страны, пострадавшей от

стихийного бедствия. Благодаря усилиям маркиза Помбала Лиссабон был практически заново отстроен, став одной из самых красивых европейских столиц.

Интересно отметить значительный вклад маркиза и в развитие португальского языка – именно он узаконил его статус как единственного официального языка на территории крупнейшей португальской колонии, Бразилии. Португальский в наши дни – второй по числу носителей романский язык, после близкородственного испанского, и один из самых распространённых языков мира – благодаря тому, что на нем говорят не только 10,6 млн. чел., живущих в Португалии, но и еще 198,7 млн. бразильцев, а также жители Анголы, Макао, Мозамбика и других бывших португальских колоний. Между письменным португальским и письменным испанским имеется заметное сходство, но фонетически эти языки различаются разительно, и потому португальская речь плохо воспринимается испаноговорящими. Многие путеводители при этом подчеркивают, что для португальцев их язык является предметом особой гордости, и потому обращение к ним на испанском может стать поводом для обиды. Кстати, широко известен прецедент, когда были перепутаны языки, на которых говорят жители этих двух соседствующих стран Пиренейского полуострова: географ Жак Паганель – у Жюль Верна, в «Детях капитана Гранта», – желая заговорить по-испански, взял с собой в плавание в качестве учебного пособия томик Камозенса, «Лузиады», и лишь попав в испаноязычную Аргентину, осознал, что все это время учил португальский.

Чудесным образом практически не пострадал от землетрясения лиссабонский район Белен, расположенный в самом устье реки Тахо. Отсюда отправлялись в свой дальний путь португальские каравеллы и сюда они возвращались, со славой и с грузом пряностей. Здесь стояла маленькая часовня, посвященная покровительнице моряков, Святой Марии Вифлеемской («Белен» – это и есть Вифлеем, в португальском произношении). Когда в конце 15 века домой вернулся Васко да Гама, открывший морской путь в Индию, король Мануэл I в честь этого исторического события заложил на месте часовни монастырь иеронимитов (Жеронимуш), а для охраны гавани была построена сторожевая крепость-маяк, получившая название Беленской башни и ставшая символом морского могущества Португалии. Здесь же, в Белене, в Розовом дворце (именуемом так по цвету его фасада) ранее находилась королевская резиденция, а сейчас – резиденция президента страны.

Находившись по крутым и узеньким улочкам Лиссабона, самое время присесть за ресторанный столик. Португалия – страна рыбных блюд, а главная рыба португальского стола – это треска, *бакаляу*, традиционный местный пищевой продукт. У берегов Португалии треска не водится, потому ее вот уже которое столетие добывают в Северной Атлантике и привозят в страну засоленной и высушенной – а потом вымачивают специальным образом и готовят по одному из 365 существующих рецептов (португальцы утверждают, что *бакаляу* можно питаться круглый год, и при этом каждый день есть что-то новенькое). Вот так выглядит *бакаляу*.



Треска – португальская еда

Желающие могут ограничиваться рыбной диетой в постные дни, а остальные дни недели не отказываться от мяса – впрочем, можно это и совместить: существует, к примеру, такое блюдо, как форель, завернутая в ломти ветчины и зажаренная до золотистого оттенка. Благо, что вино *верде* бывает и белым, и красным, то есть, существует выбор для всех случаев. В буквальном переводе *верде* означает «зеленый» – разумеется, прилагательное относится не к цвету напитка, а к его юному возрасту. Вино *верде* чуть-чуть игристое, с кислинкой, и прекрасно утоляет жажду; подается оно в бутылочках по 385 миллилитров, и потому одна бутылка на двоих к обеду – самое оно: и запить еду, и сохранить свежую голову, поскольку впереди ведь еще полдня упорного и нелегкого туристического труда. Портвейн же и белемские пирожные с заварным кремом, секрет выпечки которых строго хранят в одной-единственной кондитерской с 1837 года, лучше оставить на вечер.

А после обеда можно отправиться по лиссабонским музеям. Мы, например, начали с Национального музея старинного искусства. Именно здесь выставлен оригинал триптиха Иеронима Босха «Искушение Св. Антония» – ведь в Мадридском Прадо висит копия, кисти художника школы Босха. Еще одна жемчужина музейной коллекции – «Святой Иероним» Альбрехта Дюрера; с Лиссабоном связана также история известной гравюры на дереве Дюрера «Носорог». Носорога привезли из Индии португальскому королю, а после того, как жители Лиссабона налюбовались диковинным для европейцев животным, его отправили в дар римскому папе. Но во время этой второй, уже недолгой, перевозки животное, впав в бешенство, выпрыгнуло за борт. Сделанные в Лиссабоне зарисовки носорога попали к Дюреру, и он создал свою классическую гравюру, причем так и не увидев животное, только по этим материалам и рассказам очевидцев. В числе других сокровищ музея – «Саломея» Лукаса Кранаха Старшего, «Мадонна с младенцем» Ганса Мемлинга, работы Яна Брейгеля Младшего, Ганса Гольбейна Старшего, Пьеро делла Франческа, Андреа дель Сарто, Тинторетто, Диего Веласкеса, Франсиско де Сурбарана, Антониса ван Дейка... список этот, вообще-то говоря, можно и продолжить.



Эса де Кейрош и его муза

В том же районе, Байро Альто (что означает Верхний квартал – см. выше, о рельефе португальских городов),

обязательно отыщите памятник одному из первых европейских писателей-реалистов, чье творчество высоко ценил Эмиль Золя и которого звали Жозе Мария Эса де Кейрош (1845-1900).

Может возникнуть вопрос относительно той более чем скромно (или, скорее, нескромно) одетой дамы, которая разделяет место с писателем на пьедестале. Путеводитель утверждает, что это его муза. Кстати, с аналогичной загадкой столкнулся и драматург Максудов (см. «Театральный роман» Булгакова), увидев на «большом, масляными красками писаном портрете» Аристарха Платоновича «воздушную белую девицу или даму, держащую в руке прозрачное покрывало. Эта загадка до того меня мучила, – признается Максудов, – что, выбрав пристойный момент, я спросил об этом. Произошла пауза, во время которой Поликсена остановила на мне свой взор, и, наконец, ответила, но как-то принужденно: «Это – муза». – «А-а», – сказал я».

Лиссабон – вообще город загадочный. Взять, например, такое заведение, о котором хозяин откровенно говорит «Неправильный магазин». Или же «Не тот магазин».



Загадочный магазин

Увы, был выходной, потому не удалось зайти туда и узнать, что же таится там, за решеткой и черной дверью. А вдруг там продается «неправильный мед»? Или же и вовсе «неправильные пчелы»?

К числу мест, несомненно заслуживающих посещения в Лиссабоне, относится и музей Гюльбенкяна. Калуст Гюльбенкян, армянский предприниматель, нефтяной магнат, коллекционер и меценат, в 1942 г. переехал в нейтральный Лиссабон, где и провел последние 13 лет своей жизни. В музее, носящем его имя, выставлены предметы старины, достойно представляющие египетскую, греческую и римскую цивилизации, а также богатейшее собрание произведений восточного прикладного искусства. Европейская коллекция музея – это средневековые иллюминированные рукописи, живопись и скульптура 15-19 веков, гобелены эпохи Возрождения, полотна французских художников-импрессионистов (Коро, Мане, Моне, Дега, Ренуар). Особое место в коллекции занимают шедевры, некогда составлявшие славу Санкт-Петербургского «Эрмитажа» и распроданные в 20-е годы советским правительством; в их числе «Портрет старика» Рембрандта и «Святая Катерина» Рогир ван дер Вейдена.



Королевские кареты

И не пропустите расположенный в Белене Национальный музей карет, коллекция которого заслуженно считается лучшей в Европе. Там представлены работы каретников Португалии, Италии, Франции, Австрии и Испании, работавших по заказам португальского королевского двора, причем возраст некоторых экспонатов насчитывает более трех веков. Есть кареты, просто поражающие воображение – пятитонные махины, украшенные аллегорическими фигурами из позолоченного дерева, в человеческий рост, и непонятно, как лошади справлялись с этой тяжестью.

А небольшой городок Синтра, в тридцати километрах к северу от Лиссабона, куда в летнюю жару обычно перебирались португальские короли и знатные особы – сам по себе город-музей. Синтру воспел Байрон в своем «Паломничество Чайлд Гарольда», назвав ее новым райским садом; в письме другу он сказал, со всей определенностью: «Повидать мир и обойти вниманием Синтру может только слепой. В ней есть красота на любой вкус – дворцы и сады, поднимающиеся среди скал, водопады и обрывы, монастыри на огромной высоте».

Несомненно, чудесна Синтра, и ее видами следует любоваться – как по завету лорда Байрона, так и по зову своего сердца. Но все-таки – повторюсь – первое и самое сильное впечатление от Португалии – это Коимбра, изначально возникшая перед нами летом 1955 года, на черно-белом экране под звуки вот этой песни:

Коимбра, чудесный наш город,
Ближе нет тебя и краше...

А кто по молодости лет не слышал эту песню – не поленились, зайдите по ссылке. Оно, как говорится, того стоит.

<http://video.mail.ru/mail/likinas/1416/6417.html>

Если же возникнет желание обратиться к первоисточнику и посмотреть «Возраст любви» полностью – то, пожалуйста:

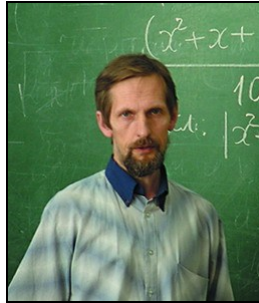
<http://filmix.net/muzkl/32808-vozzrast-lyubvi-la-edad-del-amor-1954.html>



Об авторах



Моисей Каганов – профессор, доктор физико-математических наук.



Игорь Чубаров - доцент кафедры высшей алгебры механико-математического факультета МГУ.



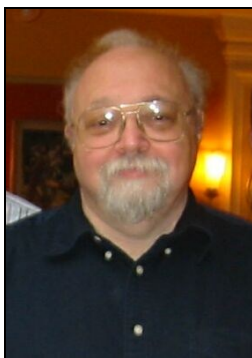
Елена Матусевич-Мазур – писатель, художник, филолог.



Игорь Ефимов – писатель, философ, издатель.



Эстер Пастернак – поэт, журналист, прозаик.



Борис Тененбаум – автор исторических очерков и книг.



Семен Талейсник – врач, литератор.



Александра Куликова - специалист по связи с общественностью.



Лев Мадорский – музыкант и учитель музыки, автор статей и книг на темы русскоязычной иммиграции.



Анатолий Зак – профессор кафедры педагогической психологии Московского городского психолого-педагогического университета.



Светлана Богданова - журналист.



Артур Штильман – скрипач, автор книг о музыкантах.



Надежда Кожевникова – писатель.



Тимур Раджабов – поэт.



Лариса Миллер – поэт, прозаик, эссеист, член Союза Российских писателей и Русского ПЕН-центра.



Лорина Дымова – поэт, прозаик, переводчица.



Игорь Гельбах – писатель, переводчик, журналист.



Евгений Брейдо – математик, программист и филолог.



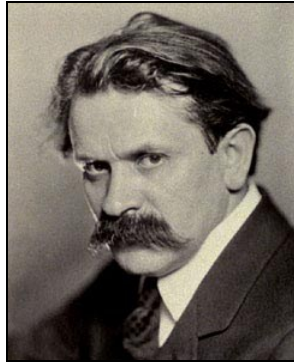
Борис Суслович – поэт и прозаик.



Зоя Мастер – музыкант, журналист, литератор.



Эзра Бускис – сценарист и литератор.



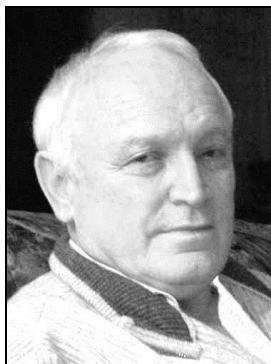
Конрад Берковичи (1882-1961) – известный американский писатель.



Марк Авербух – публицист.



Франсуаза Саган (1935-2004) – французская писательница, драматург.



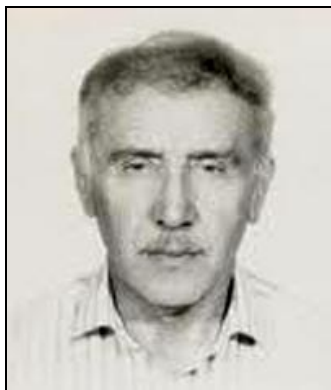
Эдуард Шехтман – переводчик.



Илья Корман – литератор.



Михаил Юдсон – писатель, литературный критик.



Соломон Воложин – литературовед.



Ася Лapidус – математик, литератор.



Виктор Гопман – переводчик.

Журнал «Семь искусств», февраль 2013
ред.-сост. Евгений Беркович
изд-во «Общества любителей еврейской старины»
Ганновер 2013, 362 стр. 16,05 а. л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)
© Дорота Белас (оформление)

Компьютерная верстка и техническое редактирование
Изабеллы Побединой

Ганновер
Общество любителей еврейской старины